

Ассоциация «Лермонтовское наследие»
Ханты-Мансийский банк
Литературный фонд «Дорога жизни»

Ежегодный альманах

ДЕНЬ ПОЭЗИИ XXI век

2011 год

300-летию Михаила ЛОМОНОСОВА
225-летию Фёдора ГЛИНКИ
125-летию Николая ГУМИЛЁВА
125-летию Владислава ХОДАСЕВИЧА

посвящается

Москва
Издательство журнала «Юность»
2011

УДК

ББК

Д34

Редакторат, редколлегия и попечительский совет альманаха «День поэзии — XXI век. 2011 год» от лица всех авторов благодарят Ханты-Мансийский банк за содействие в выпуске издания

Некоммерческое издание

День поэзии — XXI век. 2011 год: Альманах:
Д34 Стихи, статьи. — М.: Издательство журнала «Юность»,
2011. — 208 с.

ISBN 978-5-7282-0268-4

В этом выпуске альманаха представлены образцы творческого поэтического как профессиональных, знаменитых литераторов, так и начинающих любителей. Это дает возможность пытливому читателю составить некое представление о передвижениях современного стиха в пространстве России и за ее пределами в 2011 году. В рамках этого скромного лироэпического гербария собраны произведения как присланные по почте, так и доставленные в редакцию авторами лично. Издание дополнено литературоведческими наблюдениями о классиках-юбилерах и высказываниями самих классиков, недоступными ранее. Книга будет интересна ценителям российской словесности.

УДК

ББК

ISBN 978-5-7282-0268-4

Редакторат:

Наталья ГРАНЦЕВА (Санкт-Петербург)

Валерий ДУДАРЕВ

Сергей МНАЦАКАНЯН

Андрей ШАЦКОВ координатор

Составитель:

Ольга РЫЧКОВА

Редакционная коллегия:

Лев АННИНСКИЙ

Сергей КОЗЛОВ (Ханты-Мансийск)

Галина НЕРПИНА

Аршак ТЕР-МАРКАРЬЯН

Валерий ШАМШУРИН (Нижний Новгород)

Иван ЩЁЛОКОВ (Воронеж)

Попечительский совет:

сопредседатели:

Михаил ЛЕРМОНТОВ

Дмитрий МИЗГУЛИН (Ханты-Мансийск)

Евгений БОГАТЫРЁВ

Виктор ЛИННИК

Юрий РЯШЕНЦЕВ

Александр СОКОЛОВ

Компьютерная верстка: Н. Горяченкова
Корректор Ю. Сысоева

Подписано в печать 24.02.2012
Формат 60×88 1/8. Бумага офсетная.
Гарнитура OctavaC. Печать офсетная.
Печ. л. 27,5. Тираж 1500 экз. Заказ №

Издательство журнала «Юность»
125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 8, стр. 1
Тел.: +7(499) 251-31-22, 250-83-98
Тел./факс: +7(499) 250-40-74
E-mail: unost-contact@mail.ru
Сайт издательства: <http://unost.org>

Отпечатано в ГУП Академиздатцентр «Наука» РАН,
ОП «ПИК «ВИНИТИ»-«Наука».
140014, Люберцы, Московская обл., Октябрьский пр., 403

Издательство зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране памятников культурного наследия

© Коллектив авторов, 2011.

© Составление. Ассоциация

Рег. ПИ № ФС77-25467 от 25 августа 2006 г. «Лермонтовское наследие», 2011.

© Оформление. Издательство журнала «Юность»



Белла АХМАДУЛИНА



В 2012 году Белле Ахатовне Ахмадулиной исполнилось бы 75 лет.

10 апреля 1937 года родилась Белла Ахмадулина. Её стихи читаемы, любимы, желанны, и воспринимаются они сегодня с нотой боли, с интонацией печального просветления и нового открытия. Поэта нет в живых. Но через истинную поэзию всегда пробивается радость воскресения.

Имя Беллы Ахатовны Ахмадулиной крепко-накрепко связано с журналом «Юность». В редакции сохранились записи разговоров с Беллой Ахатовной, которые вёл с ней в конце прошлого века главный редактор «Юности» поэт Валерий Дударев.

Из этих бесед мы выбрали ахмадулинские размышления «о времени и о себе». Это поможет любознательному читателю дополнить портрет непревзойдённого лирика нашей эпохи.

О рождении

Год моего рождения — 1937-й — принято считать наиболее кровавейше-кровопролитным, хотя годы-соседи предшествующие и последующие тоже не похвалишь, но, родившись, я, видимо, этого не знала. Впоследствии мысль о том, что

я родилась, а другие погибли, и даже те, кто был ненамного старше меня, уже хлебнули страданий, — вот эта мысль меня как-то снедала... Потом была война, были бомбёжки, обстрелы. В бомбоубежище бабушка мне читала «Вия». И странно, казалось бы: страшно, но в бомбоубежище меня это не пугало, а, наоборот, отвлекало от более жизненного — земного страха. А ещё бабушка читала сказки, причём сказки братьев Гримм по-немецки.

О поэзии

В то, что поэзия иссякла или что ей предстоит иссякнуть, я никогда не смогу поверить. Для меня это пророчество бессмысленно!

Я всегда с радостью повторяю слова Пушкина: «Поэзия должна быть глуповата». Источник поэзии не есть мысль, не есть соображения, не есть нравоучение. Это что-то другое...

Я всегда строго следила за своими художественными возможностями. Мне кажется, что мне дано больше, чем то, что я сумела воплотить.

А если говорить о спаде интереса к поэзии, то меня лично это не коснулось. Дело в том, что, может быть, и круг моих читателей не столь широк. Он не изменился, это не настолько широкий круг, чтобы меня можно было заподозрить в совершенной лёгкости чтения...

Самыми счастливыми периодами и местами для сочинительства в моём случае были все возможности уединения.

Когда в моей жизни возникали разного рода опалы, то это было для меня удачей в творческом смысле. Никто мною не интересовался. Я себе тихо жила в Тарусе, скажем. Годы и годы так проходили... Но только не надо преувеличивать значение моих опал — по-настоящему это что-то другое!

О родине

Единственное мне принадлежащее сокровище — это русская речь. Это русский язык. Лишь этим определяется принадлежность человека



к определённом месту земли, которое он величает Родиной. Я русская, хотя во мне разные крови присутствуют. Я русская по чувству и устройству, по матери, по бабушке, по паспорту, по прапрабабушкам и дедушкам, но и в них текла, постепенно мельчая, итальянская кровь, освоившаяся в России в первой половине девятнадцатого века. Мой отец — казанский татарин, ко времени моего рождения обрусевший под влиянием среды и отсутствия соплеменников и собеседников.

Я родилась в Москве и с ней нерасторжима. Я — москвичка, горожанка, но меня всегда влекло к деревне. Близость к деревне очень утешительна, особенно в северных местах.

Вологда, Ферапонтово — вид и говор тех мест родимы моим зрению и слуху. Я слушала, слушала, как говорят те бабушки, которые чудом дожили до наших дней.

Всё это в мои зрелые лета, как в младенчестве, вскармливало мою речь, хотя я никогда не пыталась воспроизводить речь вологодскую, подлежа её воздействию. Это было счастливое состояние слуха.

Когда умерла не моя, но и моя бабушка из деревни Усково — тетя Дюня, Евдокия Кирилловна Лебедева, — я тоже осиротела и не смогла больше ездить в те места.

О патриотизме и сострадании

Хотя моя вотчина — российский пейзаж, но я любовалась всяким, по мне — всякий хорош, как и всякий народ любим мною и вызывает моё обожание. Всякая страна достойна моего восхищения. И никогда моё русское чувство, которое, конечно, заглавное, и питающая его почва души не помешают моему преклонению перед культурами других народов, перед их географией, перед их историей. Это преклонение — совершенно подлинное чувство, оно даже в крови пульсирует. Нет ничего бездарней, чем патриотическое чувство, направленное в сторону ущерба других народов, других национальностей. Это приводило к страшным преступлениям. Это ещё и признак необыкновенной тупости, безграмотности, страшной косности того, кто похваляется чувствами такого рода. У меня очень много друзей в Прибалтике. Я нежно люблю и Эстонию, и Литву, и Латвию. Какая крошечная страна Эстония, а сколько эстонцев Солженицын встретил в ГУЛАГе. Но если взять всё пространство России,

то Россия непоправимо пострадала от уничтожения и истребления. Всякая страна вольна считать себя вольной в языке и в обычаях, в вероисповедании, соблюдая национальное и религиозное достоинство сострадания к другим народам, к человечеству и каждому человеку, вообще к живому существу.

О доброжелательстве

Если водятся во мне целебные источники, пусть слабые, по чьему-то предусмотрению мне данные, источники доброжелательства — посылание души в пользу другого человека, если это есть, то я живу не напрасно. Это во многих людях, очень во многих людях есть, но иногда не действует или иссякает по вине жестоких обстоятельств. Мой пример скромный, но у меня были удобные случаи это заметить на сцене или при получении писем и приветов.

О связи с великими поэтами

Посвящения великим поэтам — это жизнь моя, это не умозрительно литературный опыт. Это живые, родные жизнь и смерть — подлинный человеческий опыт, то есть как бы Пушкин мне не дальше, чем явный мой сосед. Присутствие Пушкина — утешительно.

О любимых писателях

В детстве я очень любила Диккенса. Любила Лескова. Лесков и теперь один из первейших любимцев моих. Нечаянно соотношу Лескова и Платонова: их язык обширней, ярче, выпуклей ведомого нам (иногда даже — Далю!) русского языка. Самотворный, сам себя множачий, плодородный язык этот всегда питал, воспитывал, нянчил, понукал и лелеял мою мысль о слове.

О цензуре и о «Юности»

Стихотворений мне немало попортили — корёжили не в ущерб совести — в ущерб гармонии. Вот в «Родословной» есть маленькая главка, которой я стыжусь, потому что её хором сочиняли в «Юности». Сидели всем журналом и сочиняли.



«Юность» не могла без этой главки напечатать. Хотя главка ничтожная, появляется в поэме угол между веком и веком и какой-то симбирский гимназист. Когда в журнале это придумывали — все смеялись, думали, что даже смешно, а потом прошли годы — и мне не смешно!

Я себе этого не простила и за придуманную главку разлюбила «Родословную».

О стремлении печататься

Я никогда не спешила печататься, у меня такой страсти не было. Здравомыслящие коллеги меня убеждали, что человек не может вот так не желать печататься, некоторые упрекали чуть ли не в отсутствии профессионализма.

О Рубцове

У Рубцова был редкостный по чистоте талант. Близкие мне люди были дружны с Рубцовым. Андрей Битов — человек другого художественного склада — очень давно стал понимать и ценить драгоценный дар Рубцова. Мне пришлось знать многих замечательных людей. Рубцов — пробел в этих встречах и дружествах, восполненный его образом и творчеством.

Я видела Рубцова однажды, но не могла обратиться к нему, не будучи в знакомстве. Я прошла мимо, мы мельком и внимательно глянули друг на друга.

Об Ахматовой

С нежностью преклоняясь пред Ахматовой, могу предположить, что Анна Андреевна с некоторой иронией относилась к моей фамилии, как бы неуклюже подражающей её величию. В этой дерзости я не виновата. Отец Ахматовой — Горенко, мой — Ахмадулин.

О Некрасове

Сейчас очень многие не принимают Некрасова, а я его совершенство очень люблю! Мне кажется, ошибка его невоспринимателей в том, что, совпавши по времени с поколением почитателей чистой лирики своим гражданским настроением,

убеждением и так далее, они не умеют разглядеть души поэта. Но если бы всё сотворённое Некрасовым не было освещено гармонией, не прошло через его душу — это не представляло бы для нас никаких ценностей, потому что боролись многие, а художественных первооткрывателей единицы.

О Тютчеве

Я не знаю случая, когда бы Тютчев был не прав.

О Бунине

Россия для меня — это Бунин. Когда я читаю Бунина — я там живу. И мне иногда кажется, что из бунинского мира, из вотчины моей, меня похитили злые кочевники.

Об Анастасии Ивановне Цветаевой

Столь любимая мною Анастасия Ивановна Цветаева всегда молилась за всех — за близких, за друзей, за людей, за животных. Она всем животным говорила «вы». Детям, даже грудным, тоже говорила «вы». И всем собакам говорила «вы». И кошкам тоже говорила «вы». За всё живое молилась она и меня просила молиться. Я это делаю. Но как! Я же не прилежный прихожанин, к моему горькому сожалению...

О письмах

Может быть, лучшее, что от меня останется, — это письма читателей. У меня их целый сундук. Есть великие письма, которые смогут изменить мнение о наших современниках и соотечественниках в лучшую сторону.

Ценимое в людях

Моя любимая добродетель... Так, одним словом — оно, по-моему, достаточно просторно и объёмно, — я бы назвала простодушие! Простодушие, а расшифровывать можно по-разному: неспособность к лукавству, к хитрости, к зависти. Простодушие — даже если это иногда на грани со слабым, как было с моей бабушкой. Кстати, вот



часто упоминают слова Библии: блаженны нищие духом, ибо их есть царствие небесное... И я всегда думала, что здесь какая-то ошибка — не в Библии, а в переводе, в правильности перевода. И потом, конечно, я спрашивала знакомых священников, некоторые сказали, что это всё равно канонический текст, некоторые — которые свободнее — рассказали, как они читают... Но пока меня снедали какие-то сомнения, я спрашивала, они правильно истолковывали. А однажды древний старец мне открыл, что в Священном Писании имеются в виду люди, как бы душою приведённые к какому-то нищему обитанию... Вот такие люди... Это о простодушии.

О прощении

...У меня был обрыв, я выживала... но я мало опекала собственную сохранность... На земле меня держало исполнение какого-то долга, который я ощущаю. Но поскольку никто не живет, один, я близко к сердцу очень принимаю напряжение жизни, я его тоже ощущаю... Это напряжение — оно, несомненно, действует, например, на здоровье людей... И вот когда я это ощущаю... плохое... я думаю, что помочь может... жалость... Это для всех может быть утешением, потому что ожидать прямых звездопадов, благоденствий не могу — оснований нет! Слова эти могут показаться обречёнными... Но надежда даже не на себя — сколько на тех, кто ближе к истине.

Во всяком случае, все слабости человеческие, мне кажется, достойны прощения... Особенно если человек сожалеет!

О настроении

Моё настроение всегда возглавлено и определено моим художественным состоянием, моей способностью к художественной жизни...

Никогда

Я никогда не пробовала, скажем, баллады писать...

О смерти

Если пережила смерть Пушкина, то свою-то уж как-нибудь.

О главном

Главное для поэта — звук указующий. «Звук указующий, десятый день я жду тебя на паршинской дороге...»



Ирина АЛЕКСЕЕВА

Запрудня



Океан «Печаль»

*Желаю вам всегда
находить в себе силы преодолевать печаль.*

Белла Ахмадулина

Преодолеть печаль...

Суметь. И перебраться
через пространство горя...

Океан-печаль
не затихает и зовёт остаться,
перекрывает радостную даль...

Преодолеть...

И вновь ступить на сушу,
где лишь покой и радости цветы...
Там волны горя не достигнут душу,
не растворят старанья и мечты.
Там тихий берег заповедно-нежен,
трава забвенья ластится к ногам...
Но океан, неистов и безбрежен,
в затылок дышит, гонит по волнам...

И ты опять летишь в его глубины
и тонешь в его тёмных облаках,
и ждут на дне отчаянья долины...

Но держишь ты спасение в руках —
свой стебелёк доверчивого слова...

Живая ветка тянется к лучам...
И ты полёт свой продолжаешь снова —
и снова — к свету,
к берегу,
к дождям...

Преодолеть печаль...
И жить, пренебрегая
величием океанской глубины...
Вот так и жить, стихом опровергая
всесилье безвозвратной тишины.

Сент-Женевьев-де-Буа

Блаженны изгнанные за правду.

Цветёт глициния на Самтьер-Рюс...
Не сад здесь — кладбище...
не радость — грусть...
И слёзы старые как будто пыль,
и притча новая — не притча — быль...
Лежат изгнанники моей страны,
далёкой Родине навек верны.
По ним страдала ли среди снегов?
Иль вместо изгнанных звала врагов?
А тем — отверженным — лишь зов цепей?
Ведь нет у мачехи родных детей...

Цветёт глициния... Летят года...
Ушли не надолго, а навсегда...
Россия — матушка на Самтьер-Рюс.
Чужая Франция. Родная Русь.
Да все мы — русские, один нам зов,
одна нам общая мелодия снов —
как нам над русскою землёй парить,
жалеть, надеяться, корить, любить...
Да хоть бы душами обняться нам!
В пути, не пройденном к родным домам,
словами русскими молить, шептать...
Да хоть бы рядышком в земле лежать.





Николай АЛЁШКИН

Москва



Карьеры

Светлой памяти Николая Дмитриева

Тревожное время недобрых людей.
 Заиллилась речка, и нет пескарей.
 Карьеры, карьеры к селу на пути,
 И клевер с ромашкою трудно найти.
 А летом прошедшим — жара, суховей,
 Где зарослей нет, не поёт соловей.
 В саду на ветвях засыхают плоды,
 Ежике с детьми — ни еды, ни воды.
 Всё больше безлесья в сторонке родной.
 А лес, что в завалах, уже не грибной.
 Живые тропинки оставлены нам,
 А мы оставляем карьеры и хлам.

Касание головы жены Людмилы

Слабое сердцебиенье,
 И в ушах болезни звон.
 Рядом образ. Просветленье.
 И давленье будто вон.

Богородицы касанье,
 Слышно, заструилась кровь.
 Это чудо врачеванья,
 Это помощь и любовь.

Турникет

Что такое турникет?
 С языка летит «запрет».
 Турникеты ж — не замки.

То прыжки, а то нырки.
 К турникету — часовой.
 Деньги из казны — метлой.
 Истуканами стоять —
 Это антиблагодать.
 И купившему билет —
 Унижение — турникет.
 Человеку — турникет —
 Это зло на зло ответ.

Слово

Часто в беседе бывает,
 Слово не в лыко. Не в ряд.
 Люди же не унывают.
 И говорят, говорят...

Голову надо морочить,
 С грустью открывши тетрадь.
 Грустное слово — «короче».
 Грустно слова подбирать!

* * *

Солнечный пригрев —
 Ярче свет дерев.
 Сквозь окно припёк.
 На плечо прилёг,
 Как улыбка, блик.
 Я к окну приник.
 В белом январе
 Жарко на дворе.





Анатолий АВРУТИН

Минск, Беларусь



* * *

Поля и лес... И снова лес и поле...
Да божьим глазом — молния вдали.
Здесь помнят этот клич: «Земля и воля!»,
Хоть вышло, что ни воли, ни земли.

Так испокон. В мечтах — «Отцы и дети»,
Онегин от любви к Татьяне пьян.
А в станционном гаденьком буфете
Прекрасной Даме жаждется стакан.

Наивный Достоевский... Боже, боже,
К чему пришли мы и куда идём,
Коль вовсе не Раскольников, но тоже
Старухе в темя метит топором?

А дедка бабке шепчет: «Слёзы вытри,
Потянем репку, это — по уму.
Не то, глядишь, потопит Лжедимитрий
Россию, что похожа на Муму».

* * *

По пыльной Отчизне, где стальные дуют ветра,
Где вечно забыты суровой судьбины уроки,
Бредём и бредём мы... И кто-то нам шепчет:

«Пора!

Пора просыпаться... Земные кончаются сроки...»

Алёнушка-мати! Россия... Унижен и мал
Здесь каждый, кто смеет отравной воды
не напиться.

Иванушка-братец, напившись, козлёночком стал,
А сколько отравы в других затаилось копытцах?

Здесь сипло и нудно скрежещет забытый ветряк
И лица в окошечках — будто бы лики с иконы:
Морщиночки-русла от слёз не просохнут никак
И взгляд исподлобья, испуганный,
но просветлённый.

Здесь чудится медленным птицы беспечный
полёт.

Светило в протоку стекает тягуче и рдяно.
Поётся и плачется целую ночь напролёт,
И запах медвяный... Над росами запах медвяный.

Дорога раскисла, но нужно идти до конца.
Дойти... Захлебнуться... И снова начать
с середины.

Кончается осень... Кружат золотые сердца...
И лёт лебединый... Над Родиной лёт лебединый...

* * *

Оступившись на собственной тени,
Тихо вскрикну... И вновь оступлюсь.
И целую Отчизну в колени,
И обидеть при этом боюсь.

Встану... Искрами цвета металла
Смачно брызнет роса из-под ног.
Где Отчизна меня целовала,
Там на теле то шрам, то ожог.

Не стону, не гляжу с укоризной,
Ничего не прошу, наконец.
Столько раз поцелован Отчизной,
Что всё тело — огромный рубец.

Знаю, бьют и не блудного сына —
Не виновен, а это вина.
Но Отчизна ни в чём не повинна,
Потому, что Отчизна она.

* * *

М.

Слились, мой ангел, даль и близь
На узком фланге.
И горечь с горечью слились
Опять, мой ангел.

А я не ведал, что кричать
Не вправе души,
Когда, мой ангел, тьма опять
И в горле сушит.



Когда стораёт, не взойдя,
В ночи светило.
Когда, мой ангел, тень дождя —
Мои чернила.

И зря шепчу во тьме сквозной
Судьбе-обманке:
«Все это было не со мной...»
Со мной, мой ангел...

* * *

Не закрыта калитка...
И мох на осклизлых поленьях.
На пустом огороде
разросся сухой бересклет...
Всё тревожит строка,
Что «есть женщины в русских селеньях»...
Но пустуют селенья,
и женщин в них, в общем-то, нет.

У столетней старухи
Белесые, редкие брови,
И бесцветный платочек
опущен до самых бровей.
Но осталось навек,
Что «коня на скаку остановит»...
Две-три клячи понурых...
А где ж вы видали коней?..

Поржавели поля,
Сколь у Бога дождя ни просили.
Даже птенчику птица
и та не прикажет: «Лети!..»

И горячим июлем
Всё избы горят по России,
Ибо некому стало
в горящую избу войти...

* * *

Среди снегов, средь мертвенного гула,
Что кровь и стон являют напоказ,
Вдруг опустилось вскинутое дуло,
И я увидел нечто вроде глаз.

И посреди растерзанной юдоли,
Где уж стрелять — так весело стрелять,
В зрачках мелькнуло нечто вроде боли,
Чтобы смениться яростью опять.

И вскрикнул он... Неверные колени
Вспороли снег нахраписто и зло.
Качнулась даль... И нечто вроде тени
Навек легло на грубое чело.

Курился дым... Тропа вилась отлого.
Ненужный выстрел треснул наугад.
Погас огонь... И некто вроде Бога
Всё это знал столетия назад.

* * *

День солнечно светел, но есть увяданья печать
В чуть никнувших кронах, где в гнёзда свилась
укоризна.
Неужто Отчизна дана, чтоб над нею стонать,
Неужто без стонов Отчизна — уже не Отчизна?

Зелёные вспышки пронзают полночную хмарь,
В моей Беларуси о них говорят «бліскавіцы».
И что-то тревожит, как предка тревожило встарь,
И выглядит дивно, хоть нечему вроде дивиться.

Всё спутало время... У времени странный отсчёт —
Его понимают лишь старцы да малые дети:
Грачи прилетели... А им уже скоро в отлёт...
Ребёнок родился, чтоб юность свою не заметить.

Вот так и ведётся... Так истинно... Так искокон.
Я тихую тайну в душе заскоружлой лелею,
Чтоб голос Отчизны услышать сквозь сумрак
времен
И, охнув, уйти навсегда, не замеченным ею...





Александр АНАШКИН

Москва



* * *

Что делать нам с удельным весом птиц,
с изгибом крыльев, с перьями навывнос?
В пустом пространстве ты иным бы вырос,
мой город мимолётных колесниц.

Что делать нам с молчанием небес?
За каждым звоном — колокол и купол.
Лишь синева в глазах у смертных кукол
готова на полёт причины без.

Что делать нам с остатками огня?
Кому отдать мерцающие угли?
Пожарник-Прометей играет в куклы,
как будто нас без кукол не понять.

Зверёк

Настоящие звери на ветках сидят или в норках.
Управляют хвостом, жёлтым глазом умеют
светиться.
Называются словом простым, незатейливым:
«птица»,
«рыба», «змея» — тут и герб, и печать
ненароком.

Ну а ты — непонятный зверёк, экземпляр
единичный.
Слишком нервный в полёте и плавать не очень
умеешь:
коль накроет холодной волной неприятная
мелочь,
расстаёшься со мной и уходишь к себе
на больничный.

Я охотников спрашивал, в книгах искал
и журналах,
приставал к пионерам, вожатым и просто
красивым.
Но никто не ответил, надолго ли ты убежала
и насколько смертельно меня в этот раз укусила.

Медведица

долги ли коротки руки над родиной
чёрные вторники в белых намордниках
светлые сёстры в палатах погашенных
вырастут лопасти лучше не спрашивай
станешь винтом самолётом начальником
выпьешь вина из небесного чайника
в лапах большой заповедной медведицы
многое колетса многое светится

Космонавтика

Когда-нибудь солёная планета
раскрутит нас и выбросит наружу,
как мелкую прощальную монету
бросает город нищему на ужин.

И, принимая милостыню эту
в одну из низкоорбитальных кружек,
пространство превратит нас в форму света,
в ползущий огонёк на небе южном.

Зависнув там на несколько столетий
и выслушав молчание вселенной,
мы обнаружим, что за всё в ответе,
что сами по себе и по колено
себе самим...

Так из ночного плена
выходят утром маленькие дети.

* * *

...И выходит — нельзя в остановленном времени
жить:
ни в передней его половине, ни в комнатах
задних.
Без часов и минут — поезда ходят вне опозданий,
и зеркальные лифты пронесются сквозь этажи.
Лишь на маленькой кухне по-прежнему телу
тепло,
и кофейник стоит на огне, никуда не взлетая.



В остановленном времени нет ни стиха,
ни Китая.
И от этого холодно в небо смотреть сквозь стекло.

Можно двинуть рукой, разгоняя густые слои,
повседневный сироп, муравьиное варево буден.
В остановленном времени — день невесом
и нетруден,
и как птица над пропастью — более неуловим.

* * *

Выходи, погуляем, посмотрим кино
на гранёном стакане. Не всё ли равно,
с кем теперь развлекаться, кого умолять?!
На гранёном стакане опять двадцать пять
перевернутых кадров, и лучик дрожит,
словно речь на перроне да в поезде жизнь.

Бросим слово на ветер, рукав беребя.
Представляешь, недавно я встретил себя.
Не узнали друг друга — а кто бы узнал?
Лишь позднее, минуя безлюдный квартал,
вспомнил хмурую личность. Намёки судьбы,
как сама, — прозаичны. Представь, если бы
всё случилось иначе, как в зале торжеств:
с перезвоном бокалов, вставанием с мест
и холодной закуской к шипящей воде...

Нет, уж лучше стаканы гранёные, где
есть лучу преломиться, разбиться строке
и единым в трёх лицах казаться себе.

Апрель

Это и есть апрель — верба издалека,
геомагнитный хмель, и ничего пока.
Воздух внутри и вне горной величины,
пики далёких дней солнцем освещены.

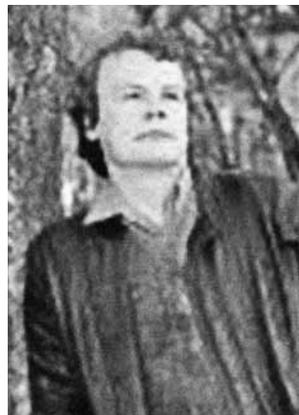
Ляжет лицо в ладонь, пальцами вдоль висков.
Камешки над водой, пущенные с мостков.
Сложится цепь прыжков, чёрные точки птиц, —
нам по воде пешком, по небу без границ...

Равновеликий март. Тайные города.
К сердцу не принимай, не говори, когда.
Это секрет, апрель нам не принадлежит.
Холод сырых земель. Первые этажи.



Юрий БЕЛИКОВ

Пермь



* * *

Я — Божий. Но не раб.
И, хоть не вышел рожей
и на беспутства слаб,
но я — не ваш. Я — Божий.

Не Сын. Но и не раб.
А вы меня — за что же? —
пинком под свой масштаб.
Но я не раб. Я — Божий.

А вы — зелёной лбы,
подставившись под дуло.
И — в Божии рабы
под камнем, чтоб не дуло.

Но соляным столпом
я встану между вами:
вы Господа — рабом,
не Он же вас — рабами?

Ваш Бог, как бык, века
на синих глинах пашет,
и верою в быка
крепки молитвы ваши.

Но Тот, кто пролил Свет,
сам мается без Света.
Бог — тоже человек.
Ему бы — человека.

И я не на этап
приду к Нему, поддатый.
И, ежели я — раб,
скажу: «Не Бог тогда ты!»



* * *

Придут друзья, готовые предать.
И не заметят, что предать готовы.
А я чинить их помыслам вреда
не стану и скажу: «Отдать швартовы!»

И отплыву... В печали... Ведь моим
друзьям такие предстоят печали!..
Я предан ими, но я предан им,
не распознавшим даже, что предали.

* * *

...и зрит Господь: внизу, не достигая
Его, спадают столбики молитв.
Одна иссякла, выдохлась другая,
а третья остальные умалит.
А там, где я, — там нету даже права
и шанса на молитвенный столбец..
И Дьявол улыбается коряво,
как без опоры мается Отец,
подначивает снизиться, ужаться,
и сам Господь бы снизился давно,
поскольку больше не на чем держаться,
но Господу и это не дано.

* * *

Моя молитва всё же достигала
надмирного натруженного слуха,
коль чья-то воля предостерегала,
когда во грех ступал — и шла непруха.
Как пишут «Мины!» на земле сапёры,
так на небе, сгустив ультрамарин,
выводят крупно ангельские хоры:
«Намолено! Ты сам же намолил!»

Господь играет с нами в поддавки,
покуда мы играем с Богом в прятки.
Легко находит! Но Его повадки —
застукать через подворот ноги
родимой матушки, что на восьмом десятке?..

Как я не почитал своей заслугой
тревожить Богородицу в мольбе,
чтоб достучаться, Господи, к Тебе, —
вот так и Ты в грехе меня застукай,
спрямив свой гнев. Давай уж по-мужски.
Я разве против? Чистую рубашку,
гляди, надел. Иль снова дашь поблажку,
пока не встал я с пяток на носки?..

Ангел по ошибке

Е. С.

Ангел мой с подбитой ножкой,
кто в тебя пальнул?..
Ты ступал своей дорожкой,
да ко мне свернул.

Не за тем, чтобы причислить
или отлучить, —
дабы пёрышки почистить,
ножку подлечить.

Ты — не падший, ты — подбитый
и, на взгляд иной,
из чужой ты, ангел, свиты,
но ты ангел мой.

Не воспеть ли ту рогатку,
глупую вполне,
что сподвигла на посадку
ангела ко мне?

Тот, кто пульки-бумеранги
мечет в божество, —
не его подбитый ангел —
мой, а не его.

Буду ангелу хранитель.
Вдруг и он, храним,
тоже станет — не взыщите! —
ангелом моим?

Весь засветится в улыбке,
примет кроткий вид.
Может, так вот, по ошибке,
дни мои продлит?

Сердце-сапоги

Ты не знаешь, кто сердце моё обул?
Не сезонные, чай, сапоги.
Отчего этот бульк, этот хлюп, этот гул,
как в залитом тоннеле шаги?..

Уж не ты ли сердце обула моё,
чтоб не хлопотно было в аду
грешных душ на ходу собирать мумиё,
где я в сердце твоём не пройду?..



Или всё же сам я себе нагадал
сердцебой колокольных частот?
Только книгу «Пульс птицы» мой врач не читал
и навряд ли уже прочтёт...

Будет мышцу рукавчиком чёрным душить,
как повязками всех панихид,
чью длину и давление если сложить —
зачастит, зачастую, зачастую...

Может, так вот и Бог, сколотивший миры,
ударяется в некий торец,
чтоб затем убедиться: до этой поры
не был равен творенью Творец?..



Сергей БЕЛОРУСЕЦ

Москва



* * *

Пару дней тому — здесь было даже мрачно.
(Тучи с дачами — набычившись — молчали...)
А теперь — дневная жизнь почти прозрачна.
(Как-то буднично лишённая печали...)

...Человек идёт навстречу
(Справа — поле,
Слева — лес...) —
И — видно (при осеннем свете):
То ли — дольки жёлто-красных яблок, то ли —
Сыроежки — в целлофановом пакете...

* * *

Человек Эпохи Вырождения —
С жизнью ты опять играешь в прятки,
Вампиризмом самоутвержденья
Занимаясь вместо физзарядки...

А — другой энергии, похоже,
Неоткуда взяться в этом теле...
Ведь довески прежние — не гожи.
(Раньше были — гири да гантели...)

* * *

И — проволочки с визюю,
И теребят законники...
И лето красно-сизое
Сидит на подоконнике...

И небо над священником
Уже вовсю распарено,
Идущим в баню с веником —
По площади Гагарина...



Зазеркалья

1.

Ты от гуру (пьяного) узнал
 (Взятого в метро за хулиганство),
 Что пространства вогнутых зеркал
 Изменяют время и пространство...

...И — как вид природы городской —
 Сморщенно-безликой папироской —
 Бабочка (дневная) на Тверской —
 Тычется в лицо витрины броской...

2.

Зеркальная болезненная мгла.
 Бесплотные слои астральной пыли...
 Прикинь:
 В Средневековье зеркала —
 На всякий случай —
 Под запретом были...

Вот — зеркало.
 А — смотрит из него —
 Незнамо кто,
 С какой незнамо целью...
 От Зазеркалья можно ждать всего.
 Прими.
 Но — знай:
 Оно подобно зелью...

3.

Примерно в первом веке нашей эры —
 Задолго до стекла —
 Пространственные вогнутые сферы —
 Возникли зеркала.

Зеркальная поверхность, ты неволишь
 Любого — видит Бог...
 А раньше — было небо — и в него лишь
 Глядеться каждый мог...

Слово и число

1.

Небесная основа.
 Земное ремесло.
 Вначале было слово.
 (В конце придёт число...)

Продолжим описанья.
 (Ведь мир — не оскудел...)

Но — где — предел познания.
 (Коль скоро — есть предел?..)

2.

Не шире вечности, не уже —
 Точь-в-точь — бери
 Из жизни длящейся — снаружи
 (Сиречь — внутри) —

Твоя последняя опора
 (И ремесло) —
 Гармония от Пифагора,
 Её число...

3.

Всё исчислено, измерено и взвешено
 (Что на слове было некогда замешено...)
 Впрочем, практика — другая арифметика
 (С точки зрения иного теоретика...)

* * *

Дни — сквозь пальцы — проходят.
 Но — и скопом, и врозь —
 Что-то в этом находят
 Проходящие сквозь...

Дни проходят — сквозь пальцы
 Остающихся здесь...
 Мы с тобой — постояльцы
 От рожденья —
 Не весь

Срок осилили —
 Если
 Длим смертельную связь.
 (Или — часом — воскресли,
 К жизни — вновь — пригвоздятся...)





Любовь БЕРЗИНА

Москва



В Тобольск

Проеду сквозь топи и хляби,
Сквозь запах волнующий трав,
Взлетая на каждом ухабе
И в каждую яму попав.

Сквозь туч набегающих сети
И мелких дождей невода
Пройду, и меня не заметят,
В глуши не найдут никогда.

Мне ветер дорогу укажет,
Луч солнца осветит мой путь,
Тропинка мне под ноги ляжет
Клубком, что легко развернуть.

Гудит комариное войско,
Листва золотая летит.
Я скоро дойду до Тобольска,
Где дед мой безвестно зарыт.

Где собственной жизни утрату,
Дрова заготовив сполна,
Погибшей страны император
Провидел сквозь прорубь окна.

Когда же его увозили,
То вслед, через ночи провал,
Пронзая пространства Сибири,
Как сахарный, Кремль сиял.

То громче звучали, то глуше,
Как сонмы бесщётные войск,
Замученных узников души,
Прошедшие через Тобольск.

Они из пространства воззвали,
И дед мой средь них на беду.
Разбитой дорогой в печали
Я к ним через время иду.

Нырнули дороги России
В столицы Сибири нутро.
Тобольска кресты золотые
В душе моей выжгли тавро.

* * *

Восток, где воздух весь дрожит
От страсти томной, тёмной, пряной
И месяц лодкою лежит
На глади неба первозданной,

Где, завывая, муэдзин
Призывно стонет с минарета,
Поверх домов сутулых спин
Горчичного, густого цвета,

Где от дыхания пустынь
Горит лицо, сгорают веки,
Руины рухнувших святынь
Здесь дремлют в каждом человеке.

Маслины глаз, как солнце, жгут,
На теле оставляя раны,
И гордо головы несут
Верблюдов жёлтых караваны.

Кальян заката, как струна,
Затлел вдали неторопливо.
Как кровь людская, солона
Вода Персидского залива.

Уже он потемнел на треть,
И скоро солнце в море канет,
И тёмных лиц литая медь
Опять песком и камнем станет.

* * *

Прощайте, прощайте, берёзы!
Отчалил последний паром.
Блистают высокие грозы,
Гремит набегающий гром.

Собака далёкая лает,
Клубятся вверху облака,



И как в колыбели качает,
Качает, качает Ока.

Качаются сосны и ели,
Качается луг заливной,
Где травы давно пожелтели
И больше не пахнут весной.

На золото цветом похожий,
Сверкает прибрежный песок,
И палуба рыбьею кожей
Блестит, уходя из-под ног.

И жизнь моя — словно в начале,
Бескрайни её берега,
Пока в своём лоне качает
И не отпускает Ока.

А после на твёрдую землю
Мне будет ступить нелегко.
И это качанье, наверно,
В груди у меня глубоко.

В ней всё — и леса, и разливы,
Паром в середине реки,
Сверкание гроз торопливых
И кровь голубая Оки.



Дмитрий БОБЫЛЕВ

Серов, Свердловская область



* * *

Я живу в этом городе,
Одурманенном трением
Шелестящих троллейбусов
О фасады домов.
Я живу в этом городе,
Выходя в воскресенье
Поглядеть на собравшихся
Под грибком стариков.
Я люблю в этом городе
С ледяными карнизами
И проваленной кнопкою
В лифтовой пустоте...
В неозлобленном холоде,
Молодой и расхристанный,
Как стеклянные шарики
На промокшем листе.

* * *

«Ну, ладно, давай!» — «Да, давай!»
Пока, до счастливого повода!»
На улице стонет сарай
От первого сильного холода.
Раскрывши проём дверей,
Хрущу на крылечке снегом.
Месяц застрял с разбегу
В простынях на дворе.
Как бы остаться здесь!
Хоть в уголке, за тенью...
Мимо кривых поленьев —
Медленно, как в узде.



* * *

Рассыпались звёзды горохом
На медную лапу осени.
Мёрзнут грибы, засыпает кроха,
В глазах зацепилась просинь.

Шорох скребёт мышами,
Зыбко роняю ложку.
Стужа придёт за нами —
Ты подожди немножко...



Алексей БОРЫЧЕВ

Москва



Осенние фантазии

Песком золотым сквозь небесное сито
На Землю осыпалась осень
И небо — до звона покоем разбито —
Ударами гулкими оземь.

Оно, рассыпаясь на тысячи лужиц,
Пронзило уснувшие чащи
Острейшей стрелой ноябрьской стужи
И снегом, печалью блестящим.

Избушка лесничего, старясь, ветшая,
Неспешно отправилась в вечность.
Никто в этом странствии ей не мешает.
Скребутся лишь мыши за печкой...

Блуждая по первому снегу, по бликам —
По огненным пятнам — увидишь:
Гуляет бывшего двойник бледноликий.
К нему не захочешь, да выйдешь...

Леса и сады улыбаются грустно
Багряной густой тишиною.
Молчание — это, конечно, искусство
Почувствовать осень живою.

Подвал

Никакого намёка мне никто не давал
На простое сравненье: время — это подвал.
Не скользящая лента неудач и потерь,
На которой — и «завтра», и «вчера», и «теперь» —
Словно кадры на плёнке чередой пронеслись



Через кинопроектор под названием «жизнь»,
Не предмета над тенью превосходство, и не
Вертикали над плоским превосходство вдвойне,
Не блестящие грани многомерных пространств,
Не побед над случайным неизменная страсть...

Время — это лишь погреб, на полу в нём лежат:
Кукла детская, компас... и какой-то ушат,
Два набора для шахмат и один — домино,
Мячик, детский конструктор и билетик в кино...
И ещё — в виде пыли — мысли, мысли одни...
Мне их жалко, поскольку позабыты они,

Или вовсе их нет там? да и быть не должно?
Ведь в подвале хранится, что хотелось мне, но
Не сбылось, не случилось... Даже в памяти нет!

Время это ещё и — в неизбежность билет...

Но, минуя сознание, пролетают года,
Оседают в подвале,
не оставив следа
На окраине тихой, где стоит некий дом,
На стенах и на крыше, да и в доме самом.

Тишина

Горячим воздухом июня
Обозлена, обожжена,
По чаще, пьющей полнолуние,
Волчицей кралась тишина.

В неё стреляли детским плачем
И гулким рокотом машин,
И солнце прыгало, как мячик,
На дне её глухой души,
Когда был день...

От гула, шума
В колодцах пряталась она
И в корабельных тёмных трюмах...
На то она и тишина!

Пугаясь дня, пугаясь солнца,
Стремясь на волю,
Не смогла
Таиться долго в тех колодцах,
Где луч — как острая игла! —

И из последних сил под вечер
Пустилась в чащу, в темноту,

Чтоб не страдать, чтоб не калечить
Густую волчью красоту...

Но гвалтом воронов на кочках
Настиг её рассветный залп,
И — две звезды,
две тусклых точки —
Погасли искрами в глазах.





Юрий БОЧКОВ

Москва



Напутствие

Верьте химерам, зовущим в надзвёздные дали,
Верьте мечте, отнимающей сон и покой.
Верьте, что вера приносит не только печали;
Стисните зубы — и верьте, и будьте собой.

Верьте, что чистая совесть сильнее наживы,
Что в человеке — душа, а не просто нутро.
Верьте, что всё-таки люди добры и красивы —
Может быть, вам и ответят добром на добро.

Верьте в любимых, прекрасных, как добрые феи
(Даже когда они походя могут предать).
С каждым ударом в лицо становитесь добрее,
Не уставая любить, понимать и прощать.

Верьте, что сказка мудрее «житейской науки»,
Верьте, что клёны цветут и в конце ноября...

Ну а когда потускнеют глаза и опустятся руки —
Всё же попробуйте верить, что жили не зря.

Снег

Кружение, движение
Снежинок-мотыльков —
Как будто отражение
Придуманных миров.

Воздушные, послушные
Мелодиям и снам,
Такие равнодушные
Ко всем земным делам;

Парящие, горящие
Под светом фонарей,
Такие настоящие
В волшебности своей,

В падении, в парении
Летят из темноты,
Как звёздные скопления,
Как белые цветы;

И чудится, что сбудется
Слияние времён,
И всё вокруг забудется,
Вплетаясь в зимний сон...

Сбивается, теряется
Минут привычный бег,
И всё преображается...
А это просто снег.

* * *

День ушёл
В суматохе обыденных дел,
В ожидании чуда, которого не было.
Отболело «хочу» — и осталось «хотел»,
И неважно — искал, или ждал, или требовал.

На чуть-чуть
Стало больше морщинок у глаз,
И осталось чуть меньше у вечности времени.
Этот день обещал — и, не сбывшись, погас,
Промелькнув, словно блик, растворившийся
в темени.

Просто дверь
Неприкрытую ветер рванул,
А за дверью оставили что-то стеклянное.
Если ты босиком по осколкам шагнул —
Виновата одна лишь душа окаянная.

Наливай,
Если стало совсем невтерпёж.
Проводи этот день, безвозвратно потерянный.
Их осталось немного, но если живёшь —
Принимай же без паники всё, что отмерено.

Потерпи,
Если больно и нечем дышать.
Не пристало от ветра лицо отворачивать.
Если хочешь найти, то не бойся терять
И щедрое завтра на то же растрачивать.



Владимир БОЯРИНОВ

Москва



* * *

Дремучий сон глубокий
Полуночью слепой.
Не катится клубок
Неведомой тропой.

Схоронится под ель,
Задремлет на меже —
За тридевять земель
Не катится уже.

Боишься заманить
На скользкие пути?
Оборванную нить
В чащобе не найти.

Я шарю по траве
Ослепшею рукой:
Не ёж ли на тропе?
Колючий-то какой!

А нить свернулась в жгут,
Вся — узел на узле —
И жгут они, и жгут,
Как уголья в золе!

* * *

Так случится, что даст петуха
Запевала небесного хора, —
И в гнездовье земного греха
Разразятся Содом и Гоморра!

И начнётся такой тарарам,
От которого смерть не спасает!

И по всем параллельным мирам
Разбрасает нас. Ох, разбрасает!

Я очнусь у высоких ворот,
Посреди мировой круговерти:
Свет — не свет, и народ — не народ,
И не люди вокруг, и не черти.

Разомкнётся живое кольцо
Незнакомому отроду люда.
Промелькнет нечужое лицо.
И воскликну я: «Здравствуй, Иуда!»

«Мы одни, — скажет он, — мы одни!
Непонятны мне все остальные.
И родней не бывает родни,
Потому что мы оба земные».

Он вздохнёт: «Я устал призывать
Всех, кто знал о дрожащей осине.
А теперь есть кого предавать
И скорбеть о тебе, как о Сыне».

Взвою я от зелёной тоски:
«Сгинь, изыди, нечистая сила!»

...Что за жизнь, если даже доски
Гробовой — про тебя не хватило!

Калики перехожие

Я стихи не пишу уже целую вечность,
Я из дома безжалостно выгнал стихи,
И они, позабыв слепоту и увечность,
В эту вьюжную ночь разбрелись по степи.

Но похмелье пришло. И завыл я белугой!
И в падучей забился! И окаменел.
И уверился: позамерзали под вьюгой
Те, которых я смертно обидеть посмел.

Долго ждать мне исхода? Я выверну душу
Наизнанку, как дедовский старый тулуп.
Я себя погублю! Я смогу! Я не струшу.
Уж на это я смел и достаточно глуп.

Никакие меня лебединые клики
На заре не вернут из провальной ночи.
Но стучат. «Эй, вы кто?» — говорю.
«Мы — калики.



Мы пришли, — говорят, — по твои калачи.
По твои калачи, по блины, по оладьи,
По ржаные горбушки твои со слезой.
Только ты не гони нас, калик, бога ради,
Только ты не пугай нас козой-дерезой».

Распахнул я ворота тесовые настезь!
«Проходите! — шепчу.
— Вот ваш дом! Вот ваш хлеб!»
Что ты, туча, сияние горнее застишь?
Я узнал их и так. Я не глух и не слеп!

Хорошо, что нашли. Хорошо, что вернулись.
Хорошо, что простили меня, подлеца.
Хорошо, что взошли на крыльцо, не запнулись,
Долгим взглядом на степь оглянулись с крыльца».

Пальцем в язве сердечной не стану копать,
Но себе не прощу, не прощу никогда —
Как ходили по свету они побираться,
У казённых порогов сгорать от стыда.

* * *

Падают, падают звёзды во тьму.
Падают и умирают.
Это зачем они, это кому
Гроб убирают?

Белым венцом в изголовье лежат
Звёзды былые.
Чёрные ангелы в небе кружат,
Ангелы злые.

Плачься давидски и Бога моли —
Не подobreют.
Что им горючие слёзы мои?
Ангелы реют.

В чёрные трубы трубят и гудят,
Роем кружатся.
Пристально в стылые окна глядят,
В двери стучатся.

Поздно хватились! Страшай, не страшай —
Дом уже в горе...

Матушка милая, свет мой, прощай!
Встретимся вскоре.

* * *

То ль ковыль разметался в бреду,
То ль головушка клонится долу.
Тридцать лет... Тридцать лет я бреду
Заплутавшими тропками к дому.

Через речку студёную вброд
Перейду. Так быстрее! Так короче!
Что за странный встречает народ?
Почему так потуплены очи?

«Где же мать, где отец дорогой?
Я пришёл успокоить их старость».
«Вот те крест, — говорят, — вот другой.
Остального, прости, не осталось».

Открываются веки с трудом.
Ах, какая клубится пылица!
Где стоял мой родительский дом —
Чернокрыло лежит пепелище.

Только воеет печная труба.
Только сажа глаза разъедает.
«Не судьба, — говорят, — не судьба.
А другой у людей не бывает».





Станислав КУНЯЕВ

Москва



ПИЛИГРИМЫ

*К 75-летию со дня рождения
Николая Рубцова
и к 15-летию со дня смерти
Иосифа Бродского*

I

На рубеже 50–60-х годов прошлого века в Ленинграде встретились два молодых поэта, известных всего лишь узкому кругу своих друзей и поклонников. Оба они с разницей в несколько лет написали по стихотворению, каждое из которых постепенно становилось знаменитым и делало «широко известными в узких кругах» своих создателей.

Оба стихотворения быстро обрели в читательском мире самостоятельную жизнь, а за полвека стали символами двух глубоких мировоззрений и очертили два пути, по которым до сих пор шествуют и человеческие толпы, и люди одиночки.

Имена этих поэтов-провидцев сейчас известны всем — это Иосиф Бродский и Николай Рубцов, сочинившие стихи о пилигримах, бредущих по земным дорогам.

Впрочем, сам образ дороги традиционен для русской поэзии, если вспомнить о том, что «не одна во поле дороженька пролегала», или пушкинские «Дорожные жалобы», или «Выхожу один я на дорогу»... Да и вся русская поэзия пронизана некрасовскими, тютчевскими, блоковскими, есенинскими дорогами... И вообще в русском сознании слово «дорога» означает слово «судьба». И в стихотворениях Бродского и Рубцова присутствует редкое слово «пилигрим». Я уверен, что, живя в одни и те же годы в Ленинграде, они встречались в узком кругу ленинградской богемы, где рядом с ними были Евгений Рейн и Глеб Горбовский, Виктор Соснора и Борис Тайгин, Константин Кузьминский и Леонид Агеев, Нина Королева и Анатолий Найман, Лидия Гладкая и Эдуард Шнейдерман.

Все они дышали одним воздухом, но Рубцов и Бродский дышали им глубже других. И, по мнению Евгения Рейна, опубликовавшего в «Литгазете» (№ 20, 2010 г.) к семидесятилетию Бродского одну из самых точных и честных статей о его судьбе, настоящая слава к поэту пришла сразу после «Пилигримов».

Я помню, как однажды, в 1960 году, меня навестили муж и жена — составители книги словацкого поэта Ладо Новомесского, принесли подстрочники для перевода, мы засиделись, выпили по рюмке, и слависты под гитару с яростным вдохновением исполняли «Пилигримов» Бродского. Я был поражён мрачной энергией и музыки, и самого стихотворения, которое, как мне показалось, тогда уже стало чуть ли не гимном для небольшой, но пассионарной части «оттепельной» интеллигенции, восхищённой судьбой героев стихотворения.

Впоследствии я понял, что гимна из этого стихотворения не получилось, в основу гимна легло более понятное для либеральных масс рифмованное сочинение Булата Окуджавы «Возьмёмся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке».



ПИЛИГРИМЫ

*Мои мечты и чувства в сотый раз
Идут к тебе дорогой пилигримов.*

В. Шекспир

*Мимо ристалищ, капищ,
мимо храмов и баров,
мимо шикарных кладбищ,
мимо больших базаров,
мира и горя мимо,
мимо Мекки и Рима,
синим солнцем палимы,
идут по земле пилигримы.
Увечны они, горбаты,
голодны, полуодеты,
глаза их полны заката,
сердца их полны рассвета.
За ними поют пустыни,
вспыхивают зарницы,
звёзды встают над ними,
и хрипло кричат им птицы,
что мир останется прежним,
да, останется прежним,
ослепительно снежным
и сомнительно нежным,
мир останется лживым,
мир останется вечным,
может быть, постижимым,
но всё-таки бесконечным.
И значит, не будет толка
от веры в себя да в Бога.
...И значит, остались только
иллюзия и дорога.
И быть над землёй закатам,
и быть над землёй рассветам.
Удобрить её солдатам.
Одобрить её поэтам.*

Поистине в большом познании много скорби. И если вспомнить, что стихотворение написано восемнадцатилетним человеком, то неизбежно придёшь к выводу, что Иосиф Бродский никогда и не был молодым поэтом, он как будто бы и родился или стариком, или вообще существом без возраста.

Пилигримы Бродского из последних сил бредут в неведомую даль, как дети несовершенной и враждебной им цивилизации, созданной их же руками, как вереница искалеченных и обездоленных её детей, вернее, изгоев человеческого гетто. «Увечные», «горбатые», «полуодетые», «голод-

ные», «палимые синим солнцем». Так и хочется спросить: «Сколько их? Куда их гонит?»

Их дорога в «никуда» или неизвестно куда оглашается хриплыми криками то ли древнерусских ворон, то ли древнегреческих гарпий, внушающими странникам, что мир жесток и «лжив», что он «останется прежним, да, останется прежним, ослепительно снежным и сомнительно нежным», то есть несправедливым и немилосердным, что он не изменяется так, как им этого бы хотелось. А от сознания этой несправедливости лишь один шаг к отрицанию Бога и человека как его подобия.

*И значит, не будет толка
от веры в себя и в Бога...*

А что же остаётся? Брести подобно зомбированному неведомой волей стаду к неведомой цели, подчиняясь фатуму, слепому инстинкту, подобному тому, который гонит рыбы стада на смертельный и неизбежный нерест. Так полчища крыс повинуются дудочке могущественного и лукавого крысолова.

В какое время и по какой земле движутся пилигримы, словно колонна военнопленных, без охраны, сдавшихся врагу добровольно, — это не имеет значения. Словно послушные овцы, бредут они по организованным и расчерченным дорогам цивилизационного, рукотворного ада, созданного, видимо, их же руками. Разве что одна конкретно-историческая примета есть в стихотворении: они бредут «мимо Мекки и Рима», то есть две самые великие мировые религии чужды этим избранным толпам.

Вечные протестанты, потомки Агасфера, закосневшие в своей отверженности и своей гордыне... И Бог их не слышит, и солнце их жжёт, и птицы над их шествием «хрипло кричат» что-то погребальное, и с каждым шагом остаётся всё меньше и меньше от великой иллюзии, которая дала пилигримам толчок много веков тому назад — для начала этого рокового, но безблагодатного шествия.

Вот каким апокалиптическим откровением — апофеозом похода пилигримов была поражена душа молодого Бродского, и этот ожог души остался у него на всю жизнь.

Иллюзия цели. Иллюзия жизни. Иллюзия спасения. Но утрата иллюзий не проходит бесследно. Лучше и точнее всех угадал драму Бродского один из самых близких его друзей Евгений



Рейн, пронизательно заметив, что «пилигримы» были важнейшей точкой в мировоззренческом становлении Бродского. Рейн нащупал все дальнейшие нити, протянувшиеся от этого старта: «*Описываемый им мир — это мир сумеречный, пессимистический, не оставляющий никакой надежды*»; «*Бродский становится мизантропическим и как бы одноцветным поэтом, каким мы его знаем*»; «*Шутки довольно саркастичны и злы, и никакого просвета в этих стихах нет*»; «*Негативный философский взгляд, сопряжённый гениально отточенной метафорикой*»; «*Видимо, в нём был и момент моральной опустошённости*»; «*Именно это нагромождение изысканных тем...*» И это при всей любви к своему младшему брату и ученику... Ну как тут не вспомнить мысль нелюбимого зрелым Бродским Александра Блока: «Оптимизм, как и пессимизм, — признак плоского и пошлого мировоззрения. Только понимание жизни как трагедии даёт цельную картину мира».

Самые сильные из «пилигримов» неизбежно скатываются к богоборчеству. И не случайно я вспомнил, что у меня на полках где-то стоит книга Хаима Нахмана Бялика, которого отцы-основатели сионизма считали великим поэтом. Книга эта издана в 1914 году в переводах и с предисловием Зеева Жаботинского.

В ней всё как по заказу — и предисловие, и стихи, и поэмы — о «пилигримах». «*Всё, что есть роскошь жизни, было изгнано из национального обихода: изгнана любовь, изгнана радость, изгнано творчество, изгнано всё то красивое, сверкающее, полнокровное, что Бялик объединяет в символе женщины, женского начала. Жизнь стала подобна пустынному каменистому острову. Только этой ценой мог безземельный бродяга сохранить остаток того, что есть высшее сокровище каждого племени, — остаток своей самобытной личности, последнюю прядь от догоревшей “гривы Огненного Льва”*». За стенами гетто, у чужих людей, искрилась и переливалась всеми красками Божией палитры свободная полнота жизни — для узников пустынного острова порыв навстречу этой жизни означал бы исчезновение вечного народа «в волнах реки Аввадон, чьё имя — Гибель».

Одна из сцен поэмы Бялика «Мертвецы пустыни» рассказывает о том, как проводник-араб путешествует с героем поэмы по Синайской пустыне и приводит его в места древнего захоронения, где, полузасыпанные песками Синая, лежат

громадные остовы падших ангелов-пилигримов, которые, согласно «Книге Бытия», в доисторические времена «входили к жёнам человеческим». Так Хаим Нахман Бялик, тоже путешествовавший «мимо роскошных кладбищ», нашёл самое древнее из них.

Да и сам Иосиф Бродский упокоился тоже, как знатный пилигрим нового времени, на одном из самых «шикарных кладбищ» мира — в Венеции, в сказочном городе, где жил еврейский ростовщик Шейлок и где рождались в средневековой Европе «ристалища», «капища», и «бары», и «банки», и «большие базары». Мимо которых несколько веков спустя, как вечные тени легендарного Агасфера, проходили пилигримы Иосифа Бродского...

Но пилигримы Бродского могут иметь не только метафизическую сущность, как некое агасферово братство, но и вполне реальные исторические очертания. Их можно себе представить как ополчение, бредущее под руководством монашеско-рыцарских орденов — тамплиерского, францисканского, бенедиктинского — на заре раннего Средневековья для «освобождения гроба Господня от неверных», а заодно и для завоевания земель и богатств Ближнего Востока... Первые крестовые походы, первая попытка фанатичной европейской черни покорить племена и народы Третьего мира.

Озлобленные на судьбу «протестанты» всех времён и народов, они могут принимать обличие европейского пуританского спецназа, предавшего огню и мечу цветущий животный, растительный и людской мир Северной Америки; они могут воплощаться в испанских конквистадоров, разрушивших до основания несколько естественных в своём величии земных цивилизаций; они похожи на солдат чёрного интернационала иностранных легионов, державших в рабстве тех африканцев, которым удалось спастись в своих джунглях от североамериканских работоговцев.

Помните гимн этих пилигримов: «*День-ночь, день-ночь, мы идём по Африке, день-ночь, день-ночь, всё по той же Африке, и только пыль, пыль, пыль от шагающих сапог, и отдыха нет на войне солдату...*»? Но это не просто солдаты. Это хорошо обученные наёмники.

Пилигримы Бродского не имеют отечества; они не знают, что такое вечность потому, что находятся в плену у времени; они, пожиратели пространства, всё время в походе, а это значит, что явления и картины жизни, сквозь которую



они проходят, остаются для них чужими и непознанными. У них нет ничего кровного, родного. Это механические супермены цивилизации. Они не молят Бога о милости, но требуют поддержки от него, торгуются с ним («а значит, не будет толку от веры в себя и в Бога»), не понимая того, что, как сказал один мудрец, «с Богом в карты не играют».

Где только не побывал за свою короткую жизнь пилигрим Иосиф Бродский: в Англии, в Мексике, в Скандинавии, в Испании, в Голландии, в Каппадокии, в Ирландии, в Прибалтике, в Италии, в Америке... И, конечно же, в Венеции. И везде отмечился громадными полотнами однообразных, но блистательно зарифмованных скептических впечатлений!

II

Старая дорога

*Всё облака над ней,
Всё облака...
В тени веков мгновенны и незримы,
Идут по ней, как прежде, пилигримы,
И машет им прощальная рука.
Навстречу им июльские деньки
Идут в нетленной синенькой рубашке,
По сторонам —
качаются ромашки,
И зной звенит во все свои звонки,
И в тень зовут росистые леса...
Как царь любил богатые чертоги,
Так полюбил я древние дороги
И голубые вечности глаза!
То полусгнивший встретится овин,
То хуторок с позеленевшей крышей,
Где дремлет пыль и обитают мыши
Да нелюбимый филин-властелин.
То по холмам, как три богатыря,
Ещё порой проскачут верховые,
И снова —
глушь, забывчивость, заря.
Всё пыль, да пыль, да знаки верстовые...
Здесь каждый славен —
Мёртвый и живой!
И оттого, в любви своей не каюсь,
Душа, как лист, звенит, перекликаясь
Со всей звенящей солнечной листвою.
Перекликаясь с теми, кто прошёл,
Перекликаясь с теми, кто проходит...
Здесь русский дух в веках произошёл,*

*И больше ничего не происходит.
Но этот дух пройдёт через века!
И пусть травой покроется дорога,
И пусть над ней, печальные немного,
Плывут, плывут, как мысли, облака...*

Где и когда написал Николай Рубцов это стихотворение? Попытаюсь представить...

Юный нестеровский отрок вышел с берега Сухоны на старую дорогу через Усть-Толшму до Николы. Тридцать километров лесом, лугами, распадками по влажным, наполненным тёмной водой глубоким колеям от когда-то буксовавших здесь телег и машин. Мимо заброшенных починков, почерневших прошлогодних зародов, серебристых от старости столбов телеграфных. Сколько раз, пока дойдёшь до Николы, присядешь то у заброшенного овина, то на лесной земляничной опушке, то возле древнего погоста, то у кустов дикой малины. Я представляю его себе усталого, в промокшей обувке, с фибровым чемоданчиком, где немудрёное бельишко, да сборник Тютчева, да ворох черновиков. Он бредёт, покачиваясь от усталости, а вокруг «зной звенит во все свои звонки», но зато вглубь зовут «росистые леса», качаются белые ромашки, и, куда ни глянь, всё трогает и волнует душу — и «филин-властелин», и верховые, «как три богатыря», проскакавшие куда-то к дальней кромке горизонта, и тишина.

Здесь каждый славен — мёртвый и живой!..

Редко-редко бывает, если какой-то грузовик догонит студента-пилигрима, шофер высунется из кабины и спросит: «Далеко ли идёшь?»

*Я шёл, свои ноги калеча,
Глаза свои мучая тьмой...
— Куда ты?
— В деревню Предтеча.
— Откуда?
— Из Тотьмы самой.*

Он садится в кабину и едет дальше, радуясь, что отдыхает усталое тело, и в то же время смутно понимая, что теряет нечто, не успевая взглянуть в небо, надышаться ветром, распахнуть душу воле, синеве, зелёному простору. А потому, не доезжая несколько вёрст до родного села, просит шофёра притормозить и выходит из кабины.



*И где-то в зверином поле
Сошёл и пошёл пешком.*

В отличие от пилигримов Бродского, идущих сквозь безымянные, безвременные и безнациональные пространства, пилигримы Рубцова бредут по русскому, российскому, хотя и запущенному саду с радостной душой, сквозь лесные и травяные райские кущи, в которых нет ни «баров», ни «больших базаров», разве что мелькнут руины архаического быта — «полусгнивший овин» да «хуторок с позеленевшей крышей», да — «знаки верстовые» попадают-ся одне, поставленные, может быть, во времена Разина и Пугачёва. Пилигримы Бродского проходят мимо «роскошных» ухоженных и архитектурно выстроенных мемориалов Западного мира, пилигримы Рубцова — мимо безымянных, уходящих в землю могил («каждому памятник — крест»), о которых со смирением можно сказать лишь одно: «Здесь каждый славен — мёртвый и живой», то есть повторить другими словами извечную истину: «Для Бога мёртвых нет». Да и сам пилигрим Николай Рубцов, всю жизнь бродивший по русскому православному белому свету, вернулся на своё вологодское кладбище, отнюдь не «шикарное», что явствует из стихотворения Анатолия Пердреева, посетившего в 70-х годах могилу своего друга:

*Лишь здесь порой,
Как на последней тризне,
По стопке выпьют... Выпьют по другой...
Быть может, потому,
Что он при жизни
О мёртвых помнил, как никто другой!
И разойдутся тихо,
Сожалея,
Что не пожать уже его руки...
И загремят им вслед своим железом,
Зашевелятся
Мёртвые венки...
Какая-то цистерна или бочка
Ржавеет здесь, забвению сродни...
Осенний ветер...
Опадает строчка:
— Россия, Русь, храни себя, храни...*

...А ведь некогда обе эти дороги вышли из одной точки Бытия, но, потянувшись по историческому пространству к горизонту, с каждым

витком всё круче и круче расходились друг от друга...

Народы, как сказал один православный мудрец, «суть мысли Божий». Две дороги, избранные двумя великими народами, воплотились в две Божьи мысли, тайну которых можно будет разгадать лишь в последние времена.

Пилигримы Николая Рубцова — это калики перехожие, облик которых запечатлён в русских былинах и народных песнях... Это люди святой Руси, персонажи не от мира сего, бредущие отмаливать грехи и свои, и своего народа в Киевскую Софию, в Оптину пустынь, в Дивеево к Серафиму Саровскому, а кто и на Святую землю.

Это некрасовский Кудеяр, ставший молитвенником и строителем Божьих храмов, это очарованный странник Лескова, это князь Мышкин Достоевского и Касьян из Красивой Мечи Тургенева, это босяки Горького, и герои из чеховской «Степи», и богомольцы из стихов и поэм Сергея Есенина, это семейство Аввакума, бредущего в ссылку.

Это люди не времени, а вечности, о которых с такой проникновенной силой написал Алексей Константинович Толстой в одном из лучших своих творений:

*Благословляю вас, леса,
долины, реки, горы, воды,
благословляю я свободу
и голубые небеса,
и посох свой благословляю,
и эту нищую суму,
и степь от края и до края,
и солнца свет, и ночи тьму,
и в поле каждую былинку, и в небе каждую звезду...*

Такая вселенская широта души непонятна и не нужна пилигримам Бродского.

III

С будущим нобелевским лауреатом я познакомился через несколько лет после знакомства с Рубцовым в середине 60-х годов прошлого века, когда в редакцию журнала «Знамя» зашёл рыжеволосый молодой человек, отрекомендовался, пожаловался на гонения, которым он подвергается в родном городе, и попросил меня прочитать его стихи.

Собственно, это были не стихи, а длинная поэма... Я прочитал её при авторе, поскольку он то-



ропился с отъездом, и сказал ему, что как версификатор он весьма поднаторел в сочинении стихов, но поэма явно несамостоятельна, поскольку написана под сильным влиянием Пастернака и Цветаевой, и посоветовал ему никогда не публиковать её.

Но одновременно мне стало жалко его, почти юношу, за все наветы, вылитые на него ленинградской прессой. А обвинения в «тунеядстве» вообще возмутили меня, поскольку я незадолго до того получил письмо из деревни Никола Вологодской области, где Коля Рубцов тоже жаловался на своих деревенских земляков: *«Я проклиная этот Божий уголок за то, что нигде здесь не подработаешь, но проклиная молча, чтоб не слышали здешние люди и ничего обо мне своими мозгами не думали. Откуда им знать, что после нескольких (любых, удачных и неудачных) написанных мной стихов мне необходима разрядка — выпить и побалагурить»*.

Чтобы хоть как-то утешить нервного рыжеволосого юношу, я подарил ему свою книжку «Метель заходит в город» с какой-то душевной надписью, которую забыл (как забыл и сам факт дарения книги), о чём при случайных обстоятельствах вспомнил лет через сорок после этой встречи и лет через десять после его смерти.

Однажды Володя Бондаренко сказал мне: «Ты зайди на Фонтанку в музей Ахматовой, в нём есть экспозиция “Американский кабинет Иосифа Бродского”. На выставке лежит твоя книжечка “Метель заходит в город” с твоим автографом». «Ты прочитал его? — спросил я Володю. — Интересно, что я написал Иосифу почти полвека тому назад!» — «Нет, не прочитал, книжка была под стеклом в стеллаже, запертом на замок...»

Мы вскочили в машину и помчались на Фонтанку. Но опоздали. Музей уже был закрыт, и охрана, конечно, не пустила нас в залы, а вечером Володя уезжал.

Однако я взял у охранника телефон музейной сотрудницы Нины Ивановны Поповой и, возвратившись в Москву, позвонил ей:

— Нина Ивановна! Прошу вас, возьмите из экспозиции книжек, которые у Бродского были в Америке, мою книжечку «Метель заходит в город» и прочитайте, пожалуйста, какие слова я написал ему на память почти полвека тому назад...

Через минуту приятный женский голос ответил мне:

— Слушаете? Я читаю вам вашу дарственную надпись Иосифу Александровичу: «Иосифу Бродскому с нежностью и отчаяньем, что эта книга будет совершенно чужда ему».

Я уже тогда понимал, что моя книжечка о России (странно, что он сохранил её для себя) будет чуждой ему так же, как мне со временем стали совершенно чужды его знаменитые «Пилигримы». Странно, что я до сих пор помню их.





Виктор БРЮХОВЕЦКИЙ

пос. Кузьмолово,
Ленинградская область



Март

Прибавляются деньки. Красота.
Обнажаются такие места!..

И закаты с каждым днём голубей,
И слышней любовный хор голубей!

Лес темнее. От зари до зари
Хоровают на бору глухари.

С расстановочкой куют и куют.
Вот не скажешь, что поют, но — поют!

Бородатые! Скупую капель
Переводят с февраля на апрель.

А сосульки и длинней, и острей,
И вращается земля всё быстрее!

Всё быстрее и быстрее. Вот беда,
Что и сам спешу, не зная куда.

А в Неву под синим льдом прямоком
Рыба корюшка идёт косяком!

У Стикса

Вот здесь и сядем около куста,
Где есть ещё свободные места
И солнечных лучей не очень густо.
Пусть нам с тобой нальют вина в сосуд
И каждому по драхме принесут,
Чтобы во рту не оказалось пусто.

Покой и свет. Медвяный запах лип.
Издалека — уключин мерный скрип...
Поговорим. Мы не наговорились.
Мы просто были, хлопали дверьми,
И, хлопаньем довольные вельми,
В соку своём кипели и варились.

Оглянемся... — Ах, эта колея!
Супонь, гужи, потёртая шлея,
Возницы брань, и кто-то лает, лает.
Как будто ты не ради жизни жил,
А занят был вытягиваньем жил
Своих, а для чего — никто не знает.

Теперь им нас назад не заманить.
Слабее пульс, почти незрима нить...
Пора! Пора... Старик всё ближе, ближе.
Сейчас он нам засунет пальцы в рот
И, ухмыляясь, драхмы заберет,
И мы увидим: не седой он — рыжий.

А это — солнце. Он седой. Седой.
Он столько лет работает с водой!
Тяжёлая! На омутах играя,
Она несёт. А мёртвые идут.
Садятся здесь и переправы ждут.
Когда ж конец? Но ни конца, ни края.

* * *

Третий день беркута уплывают в туманы...

П. Васильев

Третий день!..
Третий день, как нахлынувший стих,
На развёрнутых плахах широких своих



Кружит беркут под облаком чёрным костром,
И земля пахнет солнцем и птичьим пером.
Здравствуй, осень!
С крыльца выхожу на простор —
Отцвели иван-чай, кукушка умолкла.
Скоро ветры, кружась, упадут с белых гор
И поземкою чиркнут гусиные горла.
Будут бабы крылами пимы обметать,
Будут маслить крылами блины и пампушки,
И нагретой водой снеговой из кадушки
Будут живность поить и детей умывать.
Снеговеи!
Заблеют стада под кнутом...
Но ещё не пора, и над степью ковыльной,
Обжигая мой глаз белопёрым хвостом,
Кружит беркут.
Высокий.
Распахнутый.
Сильный.

* * *

Проезжая Урал, засмотрюсь на дома.
Я не знаю, как выглядит сбоку тюрьма,
Но, похоже, что так... Полустанок, тулуп.
Я люблю тебя, стрелочник, — вечный Колумб!
Дом — барак на версту. Дым — согнутый в дугу.
И сохатый, плывущий в глубоком снегу.

Проезжая Урал, прикипаю к стеклу.
Всё меняю — пружину, пластинку, иглу...
Ярый камень на склонах. Ступенчатый лес.
И в тоннеле состав, как в штанине протез,
Прогрохочет и гарью наполнит вагон,
И опять на простор — за закатом вдогон.

Я не знаю, как выглядит сбоку тюрьма...
Серый цвет этих брёвен, белья бахромы,
Нежилые огни слеповатых окон
Мнут пространство, как скатерть, и ставят на кон
Для игры с январём под вечерней звездой
Фонаря одинокого нимб золотой.

Но грохочет на стыках шальной подо мной
Малахитовый ящер на сцепке стальной.
Задержись на мгновенье! Дай глянуть игру!
Всё равно мы успеем на место к утру,
Потому что любое — в такой белизне,
В этой нищей, богатой снегами стране —

Нам к лицу. Но летим по уральской зиме
Мимо изб, что притихли (себе на уме!),

Протопились, поди, ни дымка из трубы,
Занавесили окна, катают бобы,
И не знают, что рядом, под сипы колес,
Едет некто, который их любит до слёз.

Потому что он сам из такой же избы,
Потому что в эпоху сопливой губы
Он в ночах подсмотрел сквозь кружочек в стекле,
Как видения бродят в заснеженной мгле
И луны азиатской осколок скулы
Крошит воздух и делает резче углы...

Здесь и брошу мой стих. Посредине стиха.
Посредине страны. Горностаем в снега...

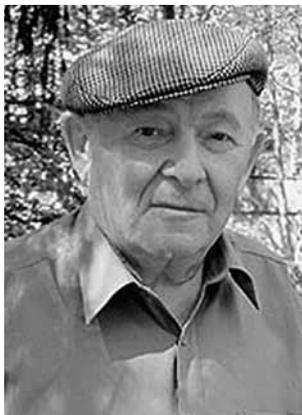
Закружат, заморочат луга и стога
Голубые следы голубого зверька!
Утром выйдет парнишка из сонной избы —
Всё крылечко в следах голубой ворожбы,
Весь присад-палисад, все дорожки-пути,
Ни «куда» отыскать, ни «откуда» найти.





Константин ВАНШЕНКИН

Москва



Дебют

Ничего себе дебют!
(Да ещё в партере мама).
Ведь они его добьют —
Эта публика упряма.

Зал был холоден и зол,
Но при помощи студентов
С верхних ярусов сошёл
Оползень аплодисментов.

Девочка и собака

Из большого числа
Выделяясь однако,
Чинно девочка шла —
Рядом с нею собака.

От обычных зевак,
Как наш взгляд отмечает,
Благородных собак
Кое-что отличает.

Но и та в свой черёд
На короткой прогулке
Нечто вдруг придаёт
Юной женской фигурке.

Проступает ясней
Безупречно и строго
Силуэт рядом с ней
Долговязого дога.

Воспоминание о Внукове

Слегка покачивался клён
С ухваткой старого атлета.
Печалилась со всех сторон
Земля, уставшая от лета.

В окне бежали дни, резвы,
Всё очевидней были дачи,
И с шумом роща от листвы
Отряхивалась по-собачьи.

* * *

В. С.

Зайти Ахматова приглашала,
Когда у Ардовых здесь жила.
Но словно что-то ему мешало,
Во всяком случае, не дела.

Писал стихи, вечно жил в азарте,
Но без участия громких фраз.
Играл блистательно на бильярде,
Тушил торфяники прошлый раз.

По сути, жизнь его шла слоями,
Дороги сами его вели.
Легко влюблялся. Кутил с друзьями.
Снимал Цветаеву из петли.

Десять дней

Мир был безжалостно одинаков,
Когда раздумываешь о нём.
Мир тех землянок или барачков,
Где затруднительно быть вдвоём.

Мы сняли комнатку на десяток
Ничтожных дней, что нашлась окрест.
Сие позволил нам наш достаток
Да и хозяев ещё отъезд.

Но ведь запомнился не напрасно
Хотя и крохотный тот отсек,
И как задумчиво и прекрасно
Жить отгороженными от всех.



В приёмном покое

Слыша крови смутный гул,
Исходя из общих правил,
Ртуть в термометре стряхнул,
Снова градусник поставил.

На приёмном этаже
До того набрался страху,
Что немедленно уже
Был готов лечиться с маху.

И как будто бы в залог
Предстоящего здоровья,
Вмиг на коечку залёг
В направленья изголовья.

Укол

Был готовый к делу шприц,
Сломанная ампула.
Вообще-то у сестриц
Пальцы — как у ангела.

Боль

Ощущаем себя зачастую,
Будто мы перекатная голь.
Я давно уже не протестую
Получать эту смутную боль.

Этой болью без всяческих споров,
А уже до конца и всерьёз
Заразился от белых просторов,
Зарядился от жёлтых берёз.

* * *

— Зачем я сюда зашёл?
Ага, за очками.
Такое бывает со старичками...
Нашёл, нашёл.

— Зачем я забрёл сюда?
Никак за лекарством.
Сказать, что нашлось оно, было б лукавством...
Нигде ни следа.

— Зачем вообще я здесь,
К щемящей в окне равнине
С младенческих дней донине
Причастен весь?

Лариса ВАСИЛЬЕВА

Москва



Она

Она пройдёт за мной
и прянет от меня,
рождённая весной
от сумрачного дня.

Она укажет путь
и заметёт пути,
и буду как-нибудь
одна сквозь лес идти.

Она зажжёт огни.
Она погасит свет.
И будут в полночь дни
Искать пропавший след.

Она,
она,
она —
любовь,
мечта,
судьба —
неверием сильна,
доверием слаба.

Скажи наоборот —
и тоже будешь прав,
такой уж мы народ;
не можем без забав.

* * *

Ветка голубой сирени
от ствола оторвалась
и упала мне в колени,
и в стакане принялась.



Я с утра меняла воду,
чтоб опять её сменить,
в процветанья несвободу
нежно ветку заманить.

* * *

Василию Казанцеву

Голубая песня лета
прозвенит и отлетит.
Птица в гуще бересклета
лёгким пёрышком блеснит.

Столько горечи и крови
проливает человек
на простом земном покрове,
где трава сменяет снег.

Лишь на этом удобренье,
пробиваясь сквозь ветра,
поднялось стихотворенье
как предчувствие добра.

В нём то пушкинская воля,
то ахматовский укор
сохраняют силу поля
и тревогу дальних гор.

Миром или в одиночку?
Легкомысленно?
Всерьёз?
Кто из нас поставит точку
под отчаянный вопрос?

* * *

Голосом лучшего друга
мне напевала пурга.
Стихла колючая вьюга,
смолкла — и вся недолга.

Что же мне слышится это
дикое, злое до слёз
в отзвуках лёгкого лета,
в песенном звоне берёз?

Может быть, эта тревога —
эхо минувших обид?
Может быть, гордо и строго
время со мной говорит?

Может быть, тайны в природе
водят беседы вольно?
Может, не всякой породе
слышать такое дано?

Чем отозваться на звуки
явственно слышные мне?
К солнцу протянуты руки,
что обгорели в огне.

Над летописью

...мирно было...

Повесть временных лет

Отшумят наши бури, отшутят
бубенцы пролетающих лет,
а надежды метели окрутят,
заметья убывающий след.

Даже строки, коль ссудит им время
послужить для грядущих времён,
станут вовсе не теми, не теми,
обретя нарастающий звон;

прояснят горевую эпоху
недосказанной правдой своей
и случайно, подобные вдоху,
разлетятся меж чуждых людей.

Так и я с осторожностью смелой,
отодвинув свой день, как засов,
замираю пред тайною белой
отшумевших отчётливых слов.

* * *

Люблю прощанья миг,
в нём острота и боль,
души дремучий крик,
слезы сырая соль;
отчаянье и страх,
но — резкий поворот —
и птица на ветрах
весёлое поёт.
Чужой, певучий взгляд,
и речь — рекой, ручьём —
так много говорят
неведомо о чём.
Из плена — на простор!
На волю — из тюрьмы!



Я тосковала?
Вздор!
Лечу на свет из тьмы!

* * *

Здесь всё моё.
И даже горе,
которому я суждена.
Здесь шапка, что горит на воре,
моею спицей сплетена.

Здесь на трудах восходят злаки
и на волне растёт молва,
и никакой пускай собаке
мои не надобны слова —

здесь я своя. И право это
отнять не в силах человек,
пусть завтра не увижу света,
землёй покрытая навек,

я знаю, что её равнина
мой гулкий голос сохранит,
и он, как эхо, в сердце сына
в свой срок и возраст зазвенит.



Дмитрий ВЕДЕНЯПИН

Москва



День прозы

Мама смотрит в шкаф — там ночует свет.
Под землёй шумит поезд.
Время держит речь, но не слышно слов,
И тогда — сейчас — что-то происходит.

И, вообще, слова — жухлая трава,
Мутная река — тонешь.
Помнишь солнце, дверь, подоконник, снег,
Мама смотрит в шкаф — слов не помнишь.

А теперь того, не пойми чего:
Рюмки, что твои слёзы,
Тенькают, лучась, — добрый КГБ
Отмечает День прозы.

Говорят слова — горе не беда,
Буквы говорят, звуки...
Мама смотрит в шкаф — свет, который там,
Освещает ей руки.

* * *

В такой — какой? — то влажной, то сухой
Траве-листве на бледно-сером фоне
Небес, колонн, ступеней, на газоне
Стоит безносый пионер-герой.

Акива Моисеич Розенблат,
Начитанный декан второго меда,
Вообще решил, что это Андромеда,
И Анненского вспомнил невпопад.
Мол, как сказал поэт в порядке бреда,
Вон там по мне тоскует Андромеда.



— Гуд бай, Ильич, большой тебе привет, —
 Профессор раскудахтался глумливо, —
 Не умерла традиция... Акива,
 Ты настоящий врач! Живи сто лет.

Карельская элегия

Тридцать лет не был. Приехал — дождь.
 Всё ржаво, серо.
 На причале в рифму кричат: «Подождь,
 Кинь спички, Серый!»

А приятель (выпил? характер — дрянь?),
 На ходу вправляя в штаны рубаху,
 Тоже на всю пристань пуляет: «Сань,
 Пошёл ты на х..!»

Всё похоже: проза (слова), стихи
 (Валуны и вереск, мошка и шхеры,
 Комары и сосны, цветные мхи,
 Серый).

Просто тот, кто раньше глазел на бой
 Солнца с Оле-Лукойе,
 Не был только и ровно собой,
 Как вот этот, какой я.

* * *

— *It's a nice, warm evening*, — сказал Бернард
 Хартли Питеру Вайни.
 Автобус уехал; мы остались у входа в парк
 В ответах тайны.

Описания бессмысленны — даже стручков
 Акации, даже ступеней
 В бликах, даже сучков
 И задоринок, света и тени.

Это поразительные места:
 Море, сосны...
That was the last bus home... Деталь пуста —
 Вывернись наизнанку, пока не поздно.

* * *

Автобус уехал, мы остались у входа в лес.
 Было тихо, пахло цветами.
 По шоссе процокал всадник — неужто без?
 Так и есть! — улыбаясь плечами,

И пропал... И опять закружилось: чык-чык,
 фьють-фьють,
 Зазвенело, ожило.
 Мимо поля и луга идти было сорок минут,
 Через лес — двадцать, тридцать от силы.

Мы пошли по шоссе мимо луга с далёкой козой.
 Описанья бессмысленны — это понятно,
 Как, допустим, Шаламов в Монтрё, а Набоков
 в СИЗО.
 Завтра едем обратно.

* * *

Снег выпал и затих.
 «Нет, весь я не умру»,
 Немножко грустный стих
 Кружится по двору...
 Вот Лёва Бромберг, вот
 Мы с ним хохочем, лёд
 Блестит, и жизнь идёт...
 Идёт, идёт и — ах,
 И — оорс, и в ямку — бух
 Под фонарём в слезах
 Над вымыслом из букв.





Владимир ВИШНЕВСКИЙ

Москва



* * *

...Сколько же лет — ужаснись — пронеслось.
Все-то мы слушали Баха поврозь —
Не при свечах — обесСвеченно.
Видишь, и жизнь мне отдать пришлось
Совсем за другую женщину.

После всего

что было чего не было
между нами
господи как нелепо
так вот столкнуться в городе

* * *

На Востряковском кладбище
евреи
пока что узнают меня, когда
с цветами и лопаткою в ведёрке
бреду я к 41-му участку.
Ну улыбнутся, ну переглянутся.
И максимум «Ой, здрасьте!» — и не боле.
Все понимают эту грань и место.
...Но вдруг нарисовался человек,
который громко распахнул объятия:
«Я вас узнал!.. (“Ну вот”, — напрягся я.)
Ведь вы гравёр!.. (Он в этом был уверен.)
Маргойты мы — вы делали нам надпись!..»
И не разбился я, а рассмеялся.
Реальность скорректировала крышу.
«То Жизнь сама...» своё сказала слово
насчёт *недомедийности* лица.
(Не зарывайся в самоменьях, Вова.)

Ну вот и байка есть для интервью,
история для телепосиделок.
А можно, кстати, — р-раз! — и в пафос впасть,
вот тут бы и пойти на обобщенье:
«Будь сам себе бесспорен, как гравёр.
Останься хоть строкою на граните!..»
А между тем мне надпись суждена —
«И в том строю есть промежуток малый...» —
здесь, а не где-то, не в стене ж Кремлёвской.
Здесь мама с папой под одной плитой.
Сюда пролёг прижизненный маршрут.
Где мальчики из неплохих семей,
успевшие порадовать родителей,
имеют шанс столкнуться неслучайно.
На Востряковском кладбище еврейском.
Какая география имён,
и этот пир фамилий — карта мира...
Семитская история России.
Где всё-таки любой погост — кладбище,
И что ни день, пока что посещения, —
то самое «у гробового входа» —
денёк, в который «вновь я посетил...»,
так представляет своё время года,
весенний, зимний, летний (как последний —
с крапивою, стерегущею малинник!)
особенно по го ж, так пробирает.
А уж осенний...
Самое с е г о д н я .

Стихи не отсюда

Здесь, по-моему, что-то случилось.
Только что. Но ещё не схватилось.
И затицал иной временной.
Здесь повисло и воцарилось.
И всё дело в объекте вниманья.
Но из всех в мизансцене немой
Я единственный не понимаю:
Что случилось — случилось со мной.

Запись в ежедневнике

...И в обманчивом вялотечении
обозримого настоящего
не утрачивать ощущения
чрезвычайности происходящего.





Владимир ВОЛКОВЕЦ

г. Советский, ХМАО



В октябре

Вьюга деревья намылит —
Дождик промоет листву.
Птица прострелит навывлет
Там, где пройти не рискну.

Рябь просверкает погоже,
Чтобы продлиться уже
Острым ознобом по коже
И благодатью в душе.

Радует бодрая пёстрость
Свежих берёз, что тишком
Густо присыпали пропасть
Под опрокинутым пнём.

Вижу сквозь тонкие ивы
Дальше, чем месяц назад,
Ели над взлобьем обрыва
Тёмной короной стоят.

Слева в болотистой чаше
Озеро, справа — сквозь лес
Вьётся дорога...

А дальше? —
Край облаков и небес.

* * *

Февраль на припёке подмок,
Но вьюжен на лютых раздольях.
И снег, komponуясь в комок,
Приятно прохладен в ладонях.

Дымится облитый стеклом
Хрустарник в оранжевой рани.
А солнце под острым углом
На пол проецирует рамы.

С газетной грязью в колеях
Дорога зальдела до блеска.
Бледнеет в пустых небесах
От старых бессонниц таблетка.

Скривило теплом на столбах
Слоистые башенки снега.
И бродит в древесных потьмах
Весна, от восторга яснея.

И вербы раскрылись свежо,
И капает с крыш яркодробно,
И стало вдруг так хорошо,
Что перед людьми неудобно.

* * *

Ливнями прилизанные травы,
Вылиняв до мягкости льняной,
Серыми морозными утрами
Пахнут боязливой белизной.

Осени ольховые запястья
В перехвате тоньше, чем твои...
Господи, избавь меня от счастья
Первым разувериться в любви.

И хотя от радости и боли
Я немел и слеп, бывало, но
Не молил, чтоб жизнь перемолола
Золотое время в толокно.

Окрыляла и любовью крепла
Воля, неподвластная огню.
Я тебя в золе моей и пепле
Угольком мерцающим храню.





Лилия ГАЗИЗОВА

Казань



Плач ребёнка

Я часто думаю о том,
Какие мысли в голове
У толстого ребёнка.

Я думаю о том,
Что толстого ребёнка
Обижают чаще, чем худого.

Ещё я думаю о том,
В каждом из нас
Плачет толстый ребёнок.

Всё слева

Левая бровь удивляется выше, чем правая.
Кожа на левом локте грубее...
На левую руку люблю
Водружать подбородок свой,
Когда долго на что-то смотрю
Или слушаю сосредоточенно...

Левой глажу собак и рисую.
Слева — четырёхкамерное.
И лёгкое слева,
В него, как и в правое, впрочем,
Дым сигаретный
Без устали втягиваю.

Слева — всё, что мне нужно для жизни.
Быть хочу левой своей половиной!
Слева ложись от меня, мой любимый!
И я прошепчу нежно-нежно на ушко
Слова свои левые...
Самые левые...

Не ревнуй!

Я буду с тобой,
Пока не нужна тебе.
Стану нужной — уйду.
Так много дорог на земле,
И по всем я пройти хочу:
Каменистым, песчаным, суглинным...
И погладить всех встречных собак.
И взглянуть в глаза всем мужчинам...
Не ревнуй!
Никому из них не удержать меня.
И тебе не удержать меня.
Но я буду с тобой, пока не нужна тебе.
Стану нужной — уйду.

Я не муза

Не посвящай мне стихов!
Не пиши обо мне.
Не хочу жалкой доли —
Стать музой поэта...

Не нарушай моих авторских прав
На несовершенства мои...

Не кради треугольную родинку
Над правой ключицей моей.
Чтобы в подлинность чувств
Читатель поверил...

Пусть никогда не сверкнёт
В стихах твоих мой браслет,
Пусть даже тобою подаренный...

Не рифмуй моё имя с идиллией!
Моя жизнь далека от неё...

Отчайся создать образ мой!
Не сотвори меня дважды...
Я тебе говорю это
Здесь и сегодня...
Другой меня нет!
И не будет...





Наталья ГАЛКИНА

Санкт-Петербург



* * *

Коринфяне, сегодня Петр и Павел, но в Тире
и в Твери
всё норовим мы жить противу правил, что нам
ни говори.
Теперь сними мужской наряд, Омфала, всем
одиночествам, знать, лет по сто,
так много зноя, а любви так мало, что мы почти
никто.

У воздуха подплавлен каждый ярус
над незадачливым мирком вещей,
а мы плывём, раз поднят белый парус дневных
ночей.
Плывём куда придётся, как придётся, в Саратов,
в Сан-Хосе;
но, уроженцы или инородцы, неисправимы все.

Акустикой лазури говорит нам: «Коринфяне!» —
бескрайний небосвод.
Залив цветёт, а звёзд почти не видно, к тому идёт.
Апостольские дни бредут по лугу, их календарь
отложим на потом,
но что ни строй, дворец или лачугу, выходит
мёртвый дом.

И, интегралы превзойди иль дроби, нескладной
жизни комната тесна.
Коринфяне, ещё раз час нам пробил очнуться
ото сна.
Непостижимых крыл летят пушинки, и ночь нежна,
а белая и жёлтая кувшинки — две девы
из псалма.
Где затаились Веспер и Стожары, мы все как
суховей.

О смысле выспреннем хвалы и славы
задумались мерцающие главы
ночных церквей.

* * *

Так не говори мне, хоть ты не Кошей,
что жизнь — не иголка,
ей в стоге теряться в порядке вещей,
как этот оркестрик твердит нам ничей
балканского толка;
ему дирижер то цыган, то Харон,
забудь о бельканто,
играют в день свадьбы и в день похорон
его музыканты.

Пурга, обеляя Европу, как встарь,
цивильность откатит,
в метели пусть бронзовый спешится царь,
поводья ухватит.
Циклон с женским именем — новый д'Эон,
вот только без шпаги;
трещотка с флюгаркой настроилась в тон,
а с ветром, влетевшим в корнет-а-пистон, —
дворцы, и овраги,

и ясли, где сено хранит про запас
преданье о луге.
Завьюжен амбар, и овин, и лабаз,
пропала Ткачиха, исчез Волопас
беззвёздной округи.
Стебельчатым швом нынче сметан простор,
в нём стало просторней,
к сугробам прислушались жители нор,
глубокие корни;
дороги как не было, тропка крива,
подбита бураном накидка волхва,
и снег на валторне.

Из цикла «ПОРТРЕТЫ»

7. Темпера

Мелисса, Милица,
прелестная птица,
любимица лет.
Твои попугаи
сбиваются в стаи,
почуяв рассвет.



Прекрасная дама,
старинная дива,
немое кино.
Два профиля разных,
две туфельки красных,
витражная рама,
ночное окно.

Столетье огромно,
но образ твой в нём промерцал,
Мелисса Колонна,
Милица Коломна,
красавица прошлых зеркал.

Накидка лилова,
а ока зрачок голубин,
Мелисса,
Милица Хилова,
одна из былых Коломбин.

Не Яннинг, так Кторов,
не Фейдт, так красавец другой;
в пыли коридоров
все напоминали актеров
в соседстве с тобой...

Ах, фотомодели из блица,
с любым визажистом делиться
парсункой, готовой румяниться или белиться,
и гримом, и Римом, и домом не прочь;
а ты белолица,
Милица,
как белая ночь.

Тут сбивчивым стуком твоих каблучков
ещё мерят эпох чехарду околотки,
и ты не чета ни одной из толпы щеголих:
здесь помнят ограды и знают решётки
узор крепдешиновых платьев твоих.

* * *

В светцах люминофора
волна голубовата
от берегов Босфора
до берегов Евфрата;
слегка сменив окраску,
и лодочке, и зыбке
волна лепечет сказку
о рыбаке и рыбке.
Провал и гребень мчатся
привычную стезёю,

готовые разъяться
на жемчуг с бирюзой.
Потворствуя прибою,
с волною за волною,
бегу я за тобою,
как ты бежишь за мною.
Любовь не виновата,
что капля точит горы
от берегов Евфрата
до берегов Босфора.





Галина ГАМПЕР

Санкт-Петербург



Даниил

I

Даниил, мой брат Заточник,
Я, как ты, заточена.
Книжник ты и полуночник,
Обручила нас луна,
И от солнца отлучила,
И затеплила свечу...
Тень, прильнувшая к плечу,
Ночь и вечность совместила
И продлила голос мой
Эхом в бездну временную.
Тем и смерть свою миную,
Что не сделаюсь немой.

II

Во всю силу ума вострубим —
Заточён — значит, Богом любим,
Сир, калечен... тем паче, вдвойне.
Будто чувство шестое во мне,
Возгораются память и слух,
Ибо нас оживляющий Дух,
Видно, истинно свят и един —
Наших мыслей и чувств господин.

III

Княжий «милостник» Даниил
Князю, коего прогневил,
Излагает свои печали,
Ибо лихо ему в опале.
За судьбу свою он в тревоге,
Ако дерево при дороге.
Не остаться ему пригожим,
Беззащитным перед прохожим.

Всё по ветке — в костёр да в печку,
Так спалят его, будто свечку.

IV

**Моление Даниила Заточника,
написанное им своему князю
Ярославу Владимировичу**

Об оковах сердца моего
Расскажу с таким ожесточеньем,
Будто разобью их сим реченьем,
Как о камень горя моего.

Княже, я как чахлая трава
Под стеною — ни тепла, ни света,
Чёрств мой хлеб и тело не одето,
Набухают горечью слова.

Каплями дождя, как тьмою стрел,
До сердца пронзён, и нет приюта.
Пусть здесь Боголюбово кому-то,
Мне же горя лютого предел.

Кто-то Белым озеро нарёк,
Для меня ж оно смолы чернее.
Как я ночью, княже, коченею,
Если б только ты почуять мог.

Пригоршнями соль никто не ест.
Княже, кто благоразумен в горе?
Кому Новый Город на угоре,
Мне же смерть средь этих чуждых мест.

Ибо дома, как Адам в раю,
Я бы не восплакался рыдая,
Только здесь, как изгнанный из рая,
Я к тебе, о княже, вопию.

Те, кому распахивал я дверь,
С кем тянул в одну солонку руку,
Те меня и предали на муку,
Помни, княже, и друзьям не верь.

Кто богат — и на чужбине чтим,
Бедному — и дома нет почтения,
Хоть и впрямь его взрастило чтенье,
Мёд познания в книгах собран им.

Княже, мя от нищеты избавь,
Выпусти овцу из лвиной пасти,
Оленёнка — из когтей напасти,
Птицей в поднебесье, рыбой вплавь.



Моего убожества земля
Жаждет, о великий княже, тучи,
Мои ветви горькие плакучи,
Беззащитны тощие поля.

Груз мой, княже, тяжек для двоих —
Без зари, надеждой позлащённой,
Ибо жалок я, не защищённый
Страхом гнева грозных уст твоих.

Соломон премудрый неспроста
Не желал ни нищеты, ни злата,
Ибо роскошь гордостью чревата,
Так же, как разбоем нищета.

Хоть снаружи я и непригож,
Но богат умом и зорок глазом.
В голову безумца сеять разум —
Аки на меже посеять рожь.

Глупых ведь не сеют и не жнут,
Сами вырастают, как осока.
Даже в спорах умных больше прока,
Чем в советах, что глупцы дают.

Что я глуп, не говори, пока
Не увидишь неба из холстины,
Не увидишь солнца из лучины,
Мудрости в поступках дурака.

Право, княже, нет на том греха,
Кто дурным советом свергнут в горе,
Ибо ветры топят челн — не море,
В кузне раздувают жар меха.

Храму крест — глава, а муж — жене,
Так апостол Павел поучает.
Добротою дом свой увенчает,
Злобой — дверь откроет сатане.

Вот что значит мужняя жена —
Добротой спасёт, а злом источит,
В грех тебя введёт и опорочит,
На пути к спасению — стена.

Что лютее меж зверей, чем лев,
Чем змея среди ползучих гадов?
Только злой жены характер адов,
Её ядом напоённый гнев.

Изгнан был из-за жены Адам,
Ввергли в ров пророка Даниила,

Но господня власть его хранила,
Львы ему лизали ноги там.

Я на крыльях мысли воспарил.
Молод я, а мысль моя созрела.
Многословьем утомлять не дело,
Ибо скучен, стало быть, не мил.
.....

Тьма... Да есть ли у тьмы края?
Низок чёрный беззвёздный свод.
Как смоковница, проклят я,
Мне не дан покаянья плод.
Слово к слову, за часом час...
Пленный инок, холоп, пиит...
Сердце — будто лицо без глаз,
Ум, как ворон ночной, не спит
На вершинах ночных дерев.
Щёку юную подперев,
Слепо смотрит мой брат во тьму,
Беззащитен, — спаси, убей...
И, не видимая ему,
Я тяну эту цепь скорбей.





Александр ГОЛУБЕВ

Воронеж



Копают картошку

Заходится мальчик плачем.
Над поймой ленивый дождь.
Он сеется на удачу,
Откуда — не разберёшь.

Дымок от ботвы сгоревшей
устало струится ввысь.
Так вот где из тьмы крошечной
однажды мы родились!

Плывут над землёй столетья.
Суров их холодный лик.
И вряд ли с небес заметят,
услышат наш жалкий крик.

Так было и вечно будет:
один на земле итог,
копают картошку люди
и сыплют её в мешок.

А мальчик исходит плачем.
В вечерней лиловой мгле
ручонкой,
от слёз незрячей,
всё ищет тепло в золе.

* * *

В затишье у плетней тепло.
Гудит под вишней старый улей.
И во дворе пока светло
от полыхающих петуний.

Сегодня, от обид остыв,
я, кажется, впервые понял,
что этот медленный разрыв
с тобою сам я узаконил.

По улице, среди осин,
по жёлтой лиственной метели
идёшь, светясь, как с именин,
сияя новеньким портфелем.

Проходишь мимо у окна,
не глядя в стёкла, как когда-то.
И стала тягостней вина
и невозможнее расплата.

* * *

Всё, наверно, с той самой поры,
когда верится в чудо и сказки.
Снова Дон. У обрыва костры
и весны половецкие пляски.

Снова месяц точёный, как серп,
поднырнув из полночного плёса,
норовит стае девушек-верб
отхватить шаловливые косы.

Я ведь тоже когда-то любил
дёргать юных казачек за локон,
но скатились года, и уплыл
чудный месяц далеко-далёко.

Подарив на прощание сны
золотой, несказанной окраски.
Лунный Дон. У обрыва костры
и весны половецкие пляски.





Глеб ГОРБОВСКИЙ

Санкт-Петербург



Ничей

По утрянке, лучше по утрянке —
под игру рассветную лучей,
не по долгу, но и не по пьянке,
на момент я делаюсь — ничей.
Не для славы, даже не для корма,
не стирая мысли в порошок —
не творю, не выполняю норму:
извлекаю из башки стишок.
Нет, не как зубастую занозу
и не как из раны — нож тупой:
как благоухающую розу!
...А шипы? Останутся с тобой.

* * *

Под осень сплошняком желтеют листья,
но есть, которые до срока — мертвецы.
Так и меж нас: так только ветер свистнет —
и чаще гении, меж прочих, — не жильцы.
Речь не о листьях-людях, речь о сроках,
не о тюремных сроках, о судьбе.
О равенстве судеб! Не о пороках,
не о дарах, отпущенных тебе.
А значит, люди, даже перед Богом
и перед алчной пастью сатаны,
не в чём-то малом, а увы — во многом —
неповторимы сплошь и не равны.

Брань

На поле брани — брань звучала:
не матюгальные слова,
а звон секущего металла,
взмахнул! — и где ты, голова?
Когда не помогали латы,
отваги дерзкая броня,
то выручала слов заклятых,
слов бронебойных трескотня!
Мы все бранимся, кто как может,
вплоть до могилы, с детских лет.
...Но стих мой пусть не искорёжит
словцо, в котором Бога нет.

Две семёрки

Лидии Гладкой

Две семёрки — не вино.
Это возраст — зрелый, трезвый.
Но не каждой быть дано
в эти годы — яркой, резвой!

Быть разумной, быть не злой,
заводной — дано не каждой,
да и просто быть живой
и, к тому же, — быть отважной.

А тебе, любовь моя,
всё доступно... И при этом —
быть, возможности тая,
непридуманным поэтом!

27 июня 2011 г.

Фотограф

Нет, он — не с фотоаппаратом,
не с «Лейкой» старенькой в руке,
а со своим всеядным взглядом —
весь в хлопотах, не налегке.
Нет, он — не лица, не предметы —
он ищет новь, он ищет ложь,
он тянет дым из сигареты
и ощущает в сердце дрожь.
Церквушка, люди-человеки,
над тихой речкой — ивы плеть...
Он хочет сущее навеки —
не зачеркнуть — запечатлеть!



Тишина

Вокруг — ни души.
Тишины захотел, недотёпа?
Вот и ешь её, и дыши
тишиной — была бы утроба.
Иногда прошуршит авто,
иногда — ругнётся ворона.
Вот и пей тишину. А что?
Будешь трезвым до слёз, до стона.
Днём и ночью забота одна:
не напиться и не откусать,
а чтоб сгинула тишина
и не стали мёртвыми уши.

Жизни шум

Шумят соседи через стенку,
шумит полночная гроза,
шумит деяний пересменка,
шумит вертушка-стрекоза...

А днём и вовсе шум несносен,
но я к нему давно привык.
Тебе приятнее шум сосен,
мне — выхлопной машинный крик.

Шум — это выхлоп нашей жизни,
и пусть он — в уши! — сквозь невроз.
Желаньям поперёк капризным —
шуми, Земля, наш сердцевоз!

Крест

Носить на шее медный крестик,
как бы продляя крестный путь
Христа, пропавшего без вести...
И не прожечь распятым грудью?

Через Христа мы верим в Бога,
а через крест — зовём Христа.
И нам Он — вера и подмога
от входа в явь и — в навсегда...

Но далеко не все в народе,
крестясь на лик, вникают в суть:
кто носит крестик так — «по моде».
...А есть и те, что крест — несут...

Берег

Всего лишь берег над рекой,
на нём — сосновая опушка,
а над опушкой — свет-покой:
золотоглавая церквушка.

К такому берегу пристать —
как бы испить глоток надежды,
как бы отведать благодать
и сострадательную нежность.

К такому берегу прильнуть —
что радость вывернуть наружу...
Плоть осенить крестом — и в путь,
для светлых дум очистив душу!

Ода смерти

Я видел смерть... Но — не свою.
Я разминуться с ней — не мыслю.
Но я ей оду сотворю,
пока мыслишки не прокисли.

Привет, костлявая, я — твой,
но дай побыть чуть-чуть на свете,
под новогодней вьюги вой
дай пробубнить ещё куплетик!

Присядь, покуда я стою,
защёлкни челюсти стальные...
Тебе я песенку спою
про те «фонарики ночные»...

Муравейник

Не убоясь, откроем карты:
мы строим храм для душ и тел.
Я — муравей. Нас миллиарды.
И копошиться — наш удел.
И всяк — чужак и соплеменник —
пусть по хвоинке, по зерну
неся — возводит муравейник,
осуществляя цель одну:
построить умными руками
Храм бытия, несущий свет, —
дабы навеки в этом храме
избавить сущее от бед!





Сергей ГОРБУНОВ

Тюмень



Первый ссыльный

(Исповедь колокола)

За несколько веков от жажды
 Не опочить хватило сил...
 Хоть вырван был язык однажды,
 Чтоб я покой в себе хранил.
 АЗ ЕСМЪ. Я бит плетьюми. Отныне
 И присно — во веки веков
 Мне приписали дух гордыни
 И в АД сослали с облаков.
 Но всех сослать нельзя, покуда
 Мы сохраняем прежний вес.
 Доро-о-о-огу углицкому люду!
 В сибирский город Тоболеск...

Когда развеются потёмки
 И к Богу я вернусь один,
 Кого на щит поднять потомки
 Посмеют из мирских глубин?

Вот так Тюмень!

...Ловлю глазами солнечные блики
 От «чешуи», блестящей за окном...
 Всё правильно — уходит дама пики,
 И надо прибирать себя кругом...
 Кругом весна и птичьи пересвисты
 И парочка под окнами туристов,
 Которые по-русски ни бом-бом.
 По их морфологическим обрывкам
 Придумаю себе, что это финны,
 Потомки Рюрика иль шведы, значит, мимо
 Мне их по всем понятиям не пройти.

Ведь с ними Русь рождалась не без дыма...
 Зато Тюмень всегда была хранима
 Татарами и русскими людьми,
 И со времён ещё Чимги-Туры
 Горела, но была неопалима.
 Как куст терновый около горы...
 Хорива, Божьим промыслом хранима.
 Поэтому не будем гнать тоску:
 Сам Тохтамыш, ходивший на Москву,
 Был ханами тюменскими зарезан.
 И похоронен с почестями — факт.
 Когда сосуд для духа бесполезен,
 То он закономерно терпит крах.
 Но тот найдёт, кто что-то в жизни ищет.
 Восточным духом пахнет городище,
 В астральных юртах временный уют
 И гордые верблюды не плюют
 Ни на кого, но овцы страшно блеют,
 И с минарета тянет муэдзин
 Пять раз на дню священные до сдвига...
 Алиф лам Ра — знаменья мудрой книги.
 И на Югру нацелен Третий Рим.

Здесь, через Камень путь пройдя, Ермак
 Появится. Уткнутся струги в берег,
 И казаки на твердь (да будет так!)
 Поставят крест,
 Как зримый образ веры.
 На стрелке зазимуют. По весне
 Вниз по Туре, открыв «Врата Сибири»,
 Они уйдут на стругах, как во сне,
 И выйдут сквозь космические дыры...

Ледоход

Е. К.

Только щука ударит хвостом
 И уйдёт субмариной под воду,
 Мы возникнем опять под мостом
 И начнётся пора ледохода.

Мы витаем сейчас в облаках,
 А ЯЗЫК утекает за модой,
 Потому что проснулась река,
 Ледяные сломав переходы.

Там не знавших ни страха ещё,
 Ни свободы не нюхавших толком...
 Нас течение на небо несёт,
 И летим мы туда на осколках...



Сказочное путешествие

Если правильно подпрыгнуть —
 Можно много достигнуть,
 Можно много избежать,
 Если правильно лежать.
 Если правильно смотреть —
 Можно многое успеть.
 Потому я, потому
 Не в стакане потону...

В удивительных лесах
 На зелёных парусах
 Хорошо по ветру мчаться
 И качаться на усах.
 И свистеть, и удивляться
 Небу в птичьих голосах.
 И на землю возвращаться
 С облаками в волосах.

* * *

Там, где жизнь превратилась во прах,
 Где как свечи — засохшие рощи...
 На расшатанных, скользких мостках
 Много лет как бельё не полощут.

Там, где птицы гнезда не совьют,
 Там, где лешие живность пугают,
 В полнолуние русалки поют
 Так, как будто ветра завывают.



Надежда ГОРЛОВА

Москва



Грешница Рая

На Суд пришла грешница Рая
 И Богу держала ответ:
 «Черна и горька, как земля, я,
 И лишь поглощала я свет,
 И трудно найти человека,
 Который со мной не блудил.
 Я думала: прах я от века.
 Я землю мешала могил.
 Душой не сливалась с мужами,
 Но только телесной землёй
 С червями, корнями, ужами
 Смешалась я в яме одной.
 Ты милостив, но справедливость
 Хочу на себе испытать.
 Ты людям отдай Свою милость —
 Я правду хочу себе взять.
 Суди же меня справедливо,
 Без всяких поблажек суди.
 Я буду в Геенне счастливой,
 С заслуженной мукой в груди.
 Другим же яви всепрощенье,
 Как я отдавала свой прах,
 Мой грех успокоит волнение
 На Рая и Ада весах».
 Господь справедливо судил
 Желавшую правды суда.
 С тех пор среди райских светил
 Всех ярче одна звезда.
 Самой яркой звездой рая
 Стала блаженная Рая.

...И ад опустел в том году,
 Как гроб в Гефсиманском саду.



Китайская слива

Жизнь моя, ты и не должна быть счастливой,
Дни мои ничем не обязаны мне.
Помню сухую сливу
На Великой китайской стене.

Миллиарды китайцев и монголов,
Песком просыпавшиеся сквозь пальцы камней,
Видели иероглифы её ветвей голыми,
Помнили её, забывали о ней,
Но был ли хотя бы один, кто её не заметил,
Серебряную с чернью от колкой ласки дождей,
Словно обледенелую — летом,
Словно обугленную — среди снежных полей.
Изогнутую, как лук и китайская скрипка,
Как пара сплетённых древесных струй.
Как два языка, для предсмертного крика
Прервавших поцелуй.

Сливы живые толпятся в горах.
О, плодоносная суета!
То, что цветами зовёте, — прах.
Перегною достанется их красота.

Слива великая у Великой стены,
Как ты звенишь, когда осыпает ветер
Крошку кирпичную с западной стороны
Прямо на грудь тебе... Но засмеются дети —
И заскрипишь, и застонешь. А почему —
Знать не угодно сухому уму моему.

* * *

Сентябрьский дождь всё длится, длится,
Как жизнь моя, судьба моя.
Успеет ржавый бак налиться —
Тем паче чаша бытия.

Слежу, как прибывают воды,
На хляби мутные гляжу.
Как овощи взрастают годы,
Роняют головы в между.

Утопший мотылек в корыте —
Вот неземная красота!
Ведь с мотылька дождями смыта
Пыльца, как с сердца суета.

А жизнь стоит и ждёт поэта.
А дождевые воды ждут
Когда же их кончиной света,
Когда потопом назовут.

Александр ГОРОДНИЦКИЙ

Санкт-Петербург



Памяти Беллы Ахмадулиной

Через реку времен устало
Гонит лодку Харон седой.
Мы Ахматову помним старой,
Ахмадулину — молодой.
Старость так к ней и не пристала,
Не коснулась её лица,
Хотя было ей лет немало
В год, когда она умерла.
Разрушаются пьедесталы
Окружающею средой.
Мы Ахматову помним старой,
Ахмадулину — молодой.
Этот взгляд из-под чёрной чёлки,
Опьяняющий без вина,
Эта стать озорной девчонки
Без оглядки на времена!
В ожидании ледостава
Чайки кружатся над водой.
Мы Ахматову помним старой,
Ахмадулину — молодой.
Этот стих, неизменно звонкий,
Чья не мерена глубина!
Этот голос высокий, тонкий,
Как натянутая струна!
И покуда рокочут струны
Над серебряною водой,
Ахмадулина будет юной,
Не стареющей, молодой.



Прощание с Питером

Михаилу Спиридонову

Полночь бьёт на часах истории, пока вы спите.
Надоевшим речам не верю я — к чему слова?
Нам сегодня для града стольного не нужен Питер,
Распадающейся империи нужней Москва.
Обещает шторма восьмibalльные голодный ропот.
Одевайся надёжно на зиму — в тепло не верь.
Если прежде и пробивали мы окно в Европу,
Мы сегодня обратно в Азию открыли дверь.
Нам другие пути неведомы — войдём без стука,
Узнавая родные запахи, лица гимна.
Для того ль воевали шведа мы, а после турка,
Чтобы нынче моря на Западе отдать другим?
Как державу нашу странно мы раскроили,
И при этом позорно трусили всякий раз!
Потеряли Балтийские страны мы с Украиной,
Потеряем потом Белоруссию и Кавказ.
Нас забытые ждут обители и полати.
Мы в леса, что снегами скованы, уйдём опять.
Слава нашим руководителям, исполать им,
И тебе, сторона Московская, исполать.
Подготовить себя нам надо бы к другому горю —
Над Петрополем утопающим сойдётся круг,
И сомкнётся седая Ладога с Балтийским морем,
Как считает профессор знающий, мой старый друг.
Ты над этой не плачь потерю, российский житель:
На деревне мы станем первыми, гуляй, братва!
Распадающейся империи не нужен Питер —
Распадающейся империи нужней Москва.
Мы пройдем полосу унижения, скитанья розного,
Убиваться напрасно нечего — пора придёт:
Калиту возьмём на княжение, на царство Грозного,
На Литву опять и Туречину учиним поход.
Будет птица двуглавая перьями шевелить в зените,
Вступят сталины вновь и берии в свои права.
Распадающейся империи не нужен Питер —
Распадающейся империи нужней Москва.

Нефть

Продолжим российское поле
Туда, где арктический мрак.
Поставим на Северный полюс
Трёхцветный немокнувший флаг!
Не зря мы так громко трубили,
В высокие двери стучась,
Что это — российской Сибири
Водою покрытая часть.
Осваивать нам не впервые

Полярные эти моря.
Поставим на шельф буровые,
На берег опять лагеря.
Не слушая Божьи заветы,
Которые нынче не впрок,
Поделим на части планеты
Слоистый и жирный пирог.
Свои завершившие сроки
В витке мироздания крутом,
Лежат в ней уже диплодоки,
Рептилии, рыбы, планктон.
Её мы старательно душим,
Земные богатства беря,
Убив радиацией сушу
И нефтью загадив моря.
Ухватимся крепко за случай,
Забыв ненадолго о том,
Что жидкостью этой горючей
Мы станем и сами потом.
Качая её неустанно,
Мы сгинем неведомо где,
Всплывём пузырьками метана
В холодной болотной воде.
И став упомянутым зельем,
В пока что неведомый час
Вернёмся в ту самую землю,
Которую грабим сейчас.

* * *

Летите прочь, румяные амуры,
Идея демократии пуста.
Россия жить не может без цензуры,
Чтобы срамные не казать места.
Обдумывайте действия толково,
Иначе не сносить вам головы,
Назавтра вы получите Баркова,
Но никогда не Пушкина, увы.
Всё то, чему учили прежде в школе,
Перекроили нынешние дни,
Поскольку вседозволенность и воля
Понятию «свобода» не сродни.
Осознаешь, хоть и не слишком быстро,
Что открывают громкие слова
Возможность для открытого убийства,
Насилия, обмана, воровства.
Не немцы, не французы мы, не янки:
Свободой считает молодежь
Возможность для безделия и пьянки,
И право бить того, кто непохож.
И понимаешь вдруг, УК листая,
Безрадостными мыслями влеком, —



Не может быть свободы в волчьей стае
И в обществе преступном воровском.

* * *

И в наши годы, и в иные лета,
Какая бы ни длилась полоса,
Политика — не тема для поэта,
Слышны ему иные голоса.
История спешит расставить точки.
Торопятся империи на слом.
Но гневные недолговечны строчки,
Пропитанные горечью и злом.
И не об этом пишутся поэмы,
Отобразив жизни торжество.
Лишь две на свете существуют темы:
Любовь и Смерть, и больше ничего.
И вечны, как Медина или Мекка,
Сближая отдалённые края,
Всё так же не смолкают век от века
Серебряные трели соловья.
Обрушатся великих храмов стены,
И города обуглятся в огне.
А эти две неубиенные темы
Вернутся, как зелёнка по весне.
Десяток лет или столетье минет.
Утихнут страсти, и умолкнет бой.
Любовь и Смерть, две вечных героини,
Поэзию уводят за собой.



Наталья ГРАНЦЕВА

Санкт-Петербург



* * *

Живи в истории своей, как жил Иван-дурак.
Умри в истории своей, она — твой саркофаг.

Она стоит как льда ушат в пылающих кустах.
Её тритоны сторожат на водных блокпостах.

Она ни мёртвой ни живой молчит в крови зари,
И обороной круговой крепки её цари.

Испей историю свою, в безлесный лес входя.
Открой у света на краю стеклянный дом дождя.

Там были римлянин и грек, сармат и черемис.
Там строил печи печенег, татарин пил кумыс.

Там сицилиец жил и скиф, богемец и литвин,
Троянский конь летел сквозь миф, персидский
спал павлин.

Там вод живых и мёртвых вод не кончен разговор
И освещает смерти ход недвижимый метеор.

Там между туч висят мосты и, словно сад большой,
Цветут трофейные цветы с погибшею душой.

* * *

Былое лжёт налево и направо,
Как шулер, не меняется в лице,
Колоду карт, как кладбища державы,
Тасует и рубашкою кровавой
Скрывает куш, полученный в конце
Большой игры с опустошённой кассой.



И снятся войску голых игроков
Жетоны из раскрашенной пластмассы
Под властью бронированных замков.

Под третьим дном незримого колодца
Подмостки веры, жизни чудеса...
Былое лжёт, фиглярствует, смеётся,
Шуткует и мышкует, как лиса,
Кружится, словно обод колеса,
Следы хвостом горящим замечает
К пустотам, корневищам, мертвецам...
В норе её лисёнок подрастает,
Чтоб выгрызть печень маленьким бойцам.

Былое лжёт, как старая гадалка,
Держа в руках магический предмет,
На чёрный стол — подобье катафалка —
Ссыпает, как на мусорную свалку,
Червивый блеск и ржавый лом побед,
Плоды гнилые — рухлядь сожалений,
Потерянные кольца и кресты,
Мешки бумажных рваных удивлений,
Надежд вощёных павшие цветы.

Былое лжёт — стозевно и облыжно,
Всё отрицает, валит на немых,
Хоронит жертв в трясинах неподвижных,
В зыбучих страхах, в безднах земляных.
...И ходит мельник поступью неслышной
Среди миров священных неземных.
...И время спит, как в небесах Всевышний,
Под шум далёких мельниц ветряных...

* * *

Поэт отчизне руки целовал
И смертным боем бил её по пьяни,
Женой и потаскухой называл
И шил ей тьму преступную деяний.

Поэт не чах над золотом-серебром,
Служил буянства гордого примером:
Поэт ходил на веру с топором
И присягал соблазнам и химерам.

Поэт в подземных выработках брёл
Среди пустот и туч мышей летучих.
Поэт искал божественный глагол
В циррозах духа, в пенисных падучих.

Поэт с ножом на милость нападал,
Глушил моря и реки динамитом,

Весь век о всемогуществе мечтал
И хохотал над треснувшим корытом.

Он принял все явления естества
И в плоть загнал воздушный мир творений.
Поэт нашёл слова, слова, слова...
И умер в единицах измерений.

* * *

Лето — сокровище, буйное царство!
Фрукты, пломбир, сигареты, напитки...
В белых рубахах речные кибитки
Плавают в венах речных, как лекарства.
Розово-серый плитняк государства
Вывесил видов цветные открытки.

Лето — любви театральное действие,
Страсти, наркотики, жажда соитий,
Встреч, путешествий, опасных событий,
Птиц перелётных святыне семейства,
Гимны поющие эпикурейству.
Лето безумств, заблуждений, наитий.

Жизни нашествие — вспышки и снасти
Вечнозелёных иллюзий кудрявых,
Поступь дождей в мокроступах дырявых,
Жидкое золото солнечной власти,
Лето — атлет, всемогущее счастье,
Молодость вещая, слово и слава!

Дай же и мне поцвести хоть немного,
Помыслы жадно вспоить хлорофиллом,
Кроной шатровой, растительной силой
Спрятать любви золотую дорогу,
Речку зеркальную, тракт длинноногий,
Вольности рой мотыльков белокрылый.

Дай же и мне раствориться в незнание,
Плоть опечатать сургучным загаром,
Сердцебиениям и бас-гитарам
Смехом ответить и эхом дерзання,
Дай же и мне позабыть о сиянье
Века, отдавшего жизнь мемуарам,

Лето всеильное! Шар и корзину,
Воздухоплавания бога и веру
В искристых квантах, в слоях стратосферы
Дай разглядеть в вышине негасимой
Или на миг посветлеть парусиной,
Вытканной жизнью на ветхой шпалере.



Дай же и мне отменить циферблаты,
Календари и архивы забвенья,
Стать первоходным ключом вдохновенья,
Речью мгновенья, воздушной цитатой,
Облаком перистым, сахарной ватой,
Белою ночью и белой сиренью!

* * *

Восемнадцатый век — заповедник идей,
Век строительных бумов, публичных смертей,
Хор имперских побед, золотое собрание
Древнегреческих грёз, древнеримских затей.

Восемнадцатый век — просвещенья парад,
Генеральский апрель, фаворит-маскарад,
Легион страстотерпцев и гвардия магов,
Поединок гордынь в звездопаде наград.

Ты к богам обращался и верил Христу,
Ты стоял часовым у страны на посту,
Ты высаживал розы и двигал границы,
Мерил небо аршином и спал на лету.

Восемнадцатый век, ты забыт, как старик,
Девятнадцатым веком убийств и интриг,
Сдан в архивную пыль ты, как в дом престарелых,
Твой мундир обветшал, старомоден язык.

Ты повержен во лжи эротический чад,
Твой Гомер и Вергилий по-русски молчат
И по Лете плывут, как алмазные льдины,
В свите маленьких ангелов и арапчат...





Геннадий КРАСНИКОВ

Москва



«В СЛЕПЫХ ПЕРЕХОДАХ ПРОСТРАНСТВ И ВРЕМЁН...»

К 125-летию Николая Гумилёва

Страшное время. Аминь, аминь, рассысья!

Борис Зайцев

Вначале как бы не о литературе.

Только равнодушием к отечественной истории или полным её незнанием можно объяснить тот странный факт, что при современной тоскливой бесцветности и убогости сюжетов кинематограф (тем более такой прыткий и падкий на сенсации, как голливудский) до сих пор не обратился к биографии и судьбе русского поэта Николая Гумилёва. Из всего поколения Серебряного века, пожалуй, только у него одного (если говорить о внешней, видимой, стороне) — поистине «по-голливудски» закрученная история жизни. Можно было бы даже сказать — лихо закрученная, если бы не её сугубо русская, как всегда трагическая, подкладка (что и губит нас во все времена и делает непохожими на всех остальных!). Но — сюжет!.. Хватило бы на несколько захватывающих приключенческих лент. И не какой-нибудь убойный тупо (труп)-американский сю-

жетец с сентиментальной фальшью на гарнир, но — героический, интеллектуально насыщенный и напряжённый, от пышного барочного романтического эстетства легко и гармонично эволюционирующий к жёсткой эстетике реальных чувств, к красоте и глубине христианской этики.

Всё, буквально всё, начиная с рождения, ложится в канву необыкновенной интриги, называемой — «жизнь Николая Гумилёва». Здесь и попытки юношеского самоубийства, и преодоление природной физической слабости, и неукротимое самолюбие, и рискованные путешествия в самые экзотические и опасные уголки земного шара, и донжуанские победы, и выдающиеся литературные учителя, и взаимная любовь и женитьба (с разводом!) на самой великой поэтессе XX века, и храбрость офицера, и предполагаемая тайная работа за рубежом на военную разведку России, и войны, и революции, и дуэль из-за женщины, и вхождение на вершину литературного мастерства, и создание собственной (блестящей по именам!) поэтической школы, и вражда-соперничество с конгениальным ему поэтом-антиподом, и Бог, и нескрываемый даже в пору большевистского террора монархизм, и гипотетическое (вполне допустимое!) участие в контрреволюционном заговоре, и арест, и инквизиторски изощрённые допросы, и мужественная легендарная гибель — без креста и могилы. И всё это — в удивительно волевым и очень цельном устремлении, достойно, смело, динамично, без рефлексий, без привычного для нас самосжигания и самораствления в злосчастных надрывах «Москвы кабацкой» и петербургских «трактирных строек».

В сущности, это история русского европейца и европейства, что так мощно, с сохранением национальной самобытности, начиная с Петра и Ломоносова, вызревали в Пушкине, Лермонтове, Достоевском, Толстом и которые, как теперь уже очевидно, могли стать фундаментом жизни России XX века, но сначала были бездарно загублены в либеральном затмении и предательстве, в коих повинна столь боготворимая нами российская интеллигенция, а затем и с кор-



нем выкорчеваны после русского апокалипсиса 17-го года...

Он родился в Кронштадте в штормовую весеннюю ночь — 3 (15) апреля 1886 года. И в этой тревожной страшной непогоде старая нянька из дома Гумилёвых простым и добрым сердцем почувала то (пусть умники цинично смеются над словами «народ правду знает»), что оказалось невольным пророчеством: «У Колечки будет бурная жизнь». Да и как ей не быть бурной, если уже в родовом древе будущего поэта переплелись корни не просто издревле тянущихся двух линий, но двух определяющих, главных для судьбы и истории России векторов, духовного и ратного — это священническая, церковная линия и военная, офицерская, преимущественно морская. Как писал сын Гумилёва Орест Николаевич Высотский, «предки поэта по мужской линии жили в Рязанской губернии. Священник Прокопий Гумилёв имел сына, Григория Прокоповича, который с 1790 года тридцать лет был настоятелем Христорождественской церкви в селе Желудёве...». Дед Гумилёва Яков Федотович был дьячком, а его сыновья священник Александр и Григорий преподавали в Рязанской духовной семинарии, куда четырнадцати лет отдали и третьего брата, Степана, отца будущего поэта, в надежде, что и он станет священником. Но Степан Яковлевич после окончания семинарии поступил на медицинский факультет Московского университета и в конце концов стал морским врачом, дослужил до офицерских чинов и получил орден Святого Станислава 3-й степени.

По материнской линии двоюродным дедом Николая Гумилёва был капитан 1-го ранга Лев Иванович Львов. О других предках Львова известно (по родословной, составленной О. Высотским), что некий Лев Васильевич Львов 1 мая 1770 года «шестилетним ребёнком был увезён из родительского дома и отдан в Сухопутный шляхетский Кадетский корпус... Через пятнадцать лет, в феврале 1785 года, юный Львов был отправлен в артиллерийский полк в чине поручика, а через два года началась война с Турцией, и молодой офицер поехал в действующую армию». Он участвовал в ожесточённом штурме Очакова и за проявленную храбрость был произведён в капитаны. По окончании войны Львов был уволен в чине секунд-майора¹.

¹Младший штаб-офицерский чин, бывший в русской армии до установления чина подполковника (прим. О. Высотского).

Родной дед поэта, Иван Львович Львов (р. 1806 г.), четырнадцатилетним подростком был помещён в морской кадетский корпус и в мае 1824 года выпущен гардемаринном. В марте 1827 года произведён в мичманы и направлен в третий флотский экипаж в Кронштадте. В следующем году вновь началась война с Турцией. «Мичман Львов на корабле с моря участвовал в сражении у крепостей Анапа и Варна... Под стенами крепости Пендераклия его кораблём был сожжён турецкий шестидесятипушечный корабль, а возле крепости Акчесар потоплен двадцатишестипушечный корвет... За участие в войне Иван Львович был награждён серебряной медалью на Георгиевской ленте...» Не случайно через десятилетия, уже в ином, отнюдь не героическом веке, Гумилёв скажет с грустью наследника ратного величия предков:

*Победа, слава, подвиг — бледные
Слова, затерянные ныне,
Гремят в душе, как громы медные,
Как голос Господа в пустыне...*

(«Я вежлив с жизнью современною...»)

И только он мог по праву, если можно так выразиться, генетического аристократизма чести дать поэтический, точно на серебре отчеканенный образ высшей отмеченности человека: «Благородное сердце твоё — словно герб отошедших времён!»

Потому и не трудно понять, почему он, написавший позднее: «Но трусливых душ не было среди нас», ребёнком одиннадцати лет, по воспоминаниям Георгия Иванова, покушался на самоубийство из-за того, что неловко сел на лошадь, а гости и домашние, увидев это, рассмеялись. «Гумилёв был слабый, неловкий, некрасивый ребёнок, — пишет Георгий Иванов. — Но он задирали сильных, соперничал с ловкими и красивыми. Неудачи только прищипывали его».

Эрих Голлербах, хорошо знавший Николая Гумилёва, замечает в этой связи: «Героизм казался ему вершиной духовности. Он играл со смертью так же, как играл с любовью. Пробовал топить — не тонул. Вскрывал себе вены, чтобы истечь кровью, — остался жив. Добровольцем пошёл на войну...»

И, конечно, именно его угораздило в детские годы оказаться вместе с переехавшей семьёй (в связи с отставкой отца) не в каком другом месте, а в Царском Селе, где всё дышало поэзией, напо-



миная о присутствии Пушкина и знаменитых лицейцев, и где в гимназии, в которой учился юный Гумилёв, директорствовал не кто-нибудь, а первый поэт России той поры, изумительный лирик, переводчик Еврипида Иннокентий Анненский. И, разумеется, в той же гимназии, в то же время училась необыкновенная девочка Аня Горенко, будущая жена Николая Гумилёва, и она же будущая Анна Ахматова. Через несколько лет Иннокентий Анненский, получив от своего ученика в дар первый сборник стихов «Путь конквистадоров», напишет ему в ответном даре на своей «Книге отражений» несколько манерный, но в ретроспективе оказавшийся провидчески справедливым экспромт-посвящение:

*Меж нами сумрак жизни длинной,
Но этот сумрак не корю,
И мой закат холодно-дынный
С отрадой смотрит на зарю.*

Анна Ахматова, вспоминая ту редкую для себя светлую полосу жизни, нарисует прелестное ощущение какого-то светящегося счастья, какое бывает лишь в доверчиво-безоблачном детстве:

*В ремешках пенал и книги были,
Возвращалась я домой из школы.
Эти липы, верно, не забыли
Нашу встречу, мальчик мой весёлый...*

Как же это не вяжется с теми навязчивыми утверждениями «друзей-воспоминателей», видимо, первостатейных красавцев, о какой-то прямо-таки чудовищной некрасивости Гумилёва, о том, что и череп-то у него был «суженный кверху, как будто вытянутый щипцами акушера» (Николай Оцуп), и что он, дескать, «косил» и, само собой разумеется, «чуть-чуть шепелявил» (спасибо хоть за это милостивое «чуть-чуть») ... А любившая его и родившая ему в венчанном браке сына (знаменитого Льва Гумилёва) Ахматова тремя словами передала всё обаяние и трепетный нерв того юного, порывистого, ни на кого не похожего гимназиста — «мальчик мой весёлый», и таким он останется навеки в памяти потомков. (В скобках замечу, что могу засвидетельствовать это как лично знавший одного из его сыновей — замечательного интеллигентнейшего человека, участника Великой Отечественной войны, специалиста-лесоведа и поэта Ореста Николаевича Высотского, портретное сходство которого с отцом было пораз-

ительным, как если бы я видел самого Николая Степановича, дожившего до семидесяти с лишним лет и сохранившего в своём облике отнюдь не следы «щипцов акушера», а замечательное благородство в породистом, по-своему красивом, словно из другого века (из другой России!), лице и с удивительной, несмотря на возраст, военной выправкой и статью, каковые вырабатываются, становясь второй натурой, только на протяжении нескольких поколений.)

В 1906 году, по окончании гимназии, в которой он засиделся до двадцати лет из-за плохой успеваемости (у него вообще всю жизнь были нелады с официальным обучением), Николай Гумилёв, уже будучи автором первого поэтического сборника «Путь конквистадоров» (1905 г.), поступает в Морской корпус и отправляется на целое лето в морское плавание. Но вскоре он всё бросает и оказывается во Франции, в Сорбонне, где посещает лекции по французской литературе. А далее у него начинается эпоха бесконечных великих путешествий.

Хотя Гумилёву нередко навязывали образ «скитальца морей Синдбада, скитальца любви Дон Жуана и скитальца вселенной Вечного Жида», он всё же по природе своей именно Одиссей, гомеровский эпический герой, в чём первую очередь (как и в особом гумилёвском, «парнасском», поэтическом блеске!) проявилось его европейство. Он именно скиталец, путешественник, турист, коллекционер впечатлений, не ставший *русским странником*. У него именно и исключительно скитальчество, этнографическо-археологическое, в поисках экзотики, орнаменталистики. Пока что (пока он не ощутит себя «блудным сыном» и не напишет книгу «Чужое небо») это не русское странничество в поисках духа, в желании пройти именно Россию в поисках тех святых следов на земле родной, которую, по словам Тютчева, «в рабском виде Царь Небесный исходил, благословляя». Тем и отличается скиталец и путешественник от русского странника, что первый уходит, ведомый мирскими, самолюбивыми побуждениями, и, в крайнем случае, погибает, а второй уходит, порою сам не ведая куда и зачем, и не возвращается, как не вернулись ушедшие в неизвестность и в легенду Александр Третий под видом старца Фёдора Кузьмича, или современник Гумилёва поэт Александр Добролюбов... Эту принципиальную, сущностную, разницу «русский Одиссей» болезненно горько почувствует достаточно быстро, если рассматривать эти



строки в пределах его короткой тридцатипяти-летней жизни:

*...И понял, что я заблудился навеки
В слепых переходах пространств и времён.
А где-то струятся родимые реки,
К которым мне путь навсегда запрещён...*

(«Стокгольм»)

С прозрениями такого рода связано и высказывание Георгия Иванова о гумилёвских сборниках «Чужое небо» и «Колчан»: «Повязка окончательно падает с глаз поэта — он видит мир таким, каким он есть». И в подтверждение этих слов приводятся стихи, действительно потрясающие обнажённым чувством вины за всё своё бестолково-гениальное поколение:

*Ни шороха полных далей,
Ни песен, что певала мать,
Мы никогда не понимали
Того, что стоило понять...*

(«Восьмистишие»)

Но в тот период жизни Николая Гумилёва, конечно, побудительным мотивом стали не только жадная до впечатлений молодость и амбициозный характер, но и влияние западной культуры. Как писал друг Гумилёва и исследователь его жизни и творчества поэт Николай Оцуп, «в Кольридже, Вордсворте, Саути, с их магическими жуткими балладами и особенно с их призывом вернуться к первобытным чувствам восхищения, он нашёл братьев по духу. В судьбе и лирике Франсуа Вийона любил образ поэта-бродяги...». Сюда можно добавить и увлечение творчеством художника Поля Гогена, оставившего цивилизацию и поселившегося на Гаити, а также яркой судьбою Артюра Рембо, юный гений которого ослепительно блеснул в его завораживающей поэзии, корнями уходящей в опьяняющую бесприютность, бездомность, в стремление к неизведанным морским просторам и землям. В Гумилёве просто чувствуется нервная дрожь в его ожидании всё новых и новых приключений («Тайный голос шепчет: “Всё покинь!”»). Он буквально сходит с ума от одного намёка на любую возможность ощутить движение, отрыв от земного притяжения: «В каждой луже запах океана. В каждом камне веянье пустынь...» — говорит он там, где обыватель сказал бы: «В каждом океане запах луж». Но Гумилёв убеждён в обратном: «...Праздником будут те недели, / Что проведём на корабле...»

И тут он с зашкаливающей через край русской широтой превосходит в своём энтузиазме все мыслимые образцы для подражания. Гумилёв трижды (!) побывал в Африке. В третий раз уезжал туда тяжело больной. Он ездил в Судан, Абиссинию (по примеру Рембо), в Египет, к берегу Нила... Зимой с 1909 на 1910 год провёл в Абиссинии уже как серьёзный исследователь в составе экспедиции В. Радлова, где собирал и изучал местный фольклор. С этими поездками связан и такой серьёзный его труд, как перевод (первый в России) вавилонского эпоса «Гильгамеш». Алексей Толстой, знавший в те годы Николая Гумилёва, вспоминал позднее: «Гумилёв привёз из Африки жёлтую лихорадку, прекрасные стихи, чучело убитого им чёрного ягуара и негрское оружие...», а в перерывах между поездками (летом 1908 года, в Коктебеле) «в продолжение недели он занимался ловлей тарантулов. Его карманы были набиты пауками, посаженными в спичечные коробки. Он устраивал бои тарантулов. К нему было страшно подойти». И ещё Толстой вспоминал говорящего попугая в доме у Гумилёва и ручную белую мышь, которую тот носил в кармане или в рукаве. А Г. Иванов будет вспоминать гумилёвский «огромный черепаховый портсигар с папиросами». Кажется, тогда и подсмотрела наиболее типичный его портрет-перевоплощение Ольга Форш, сказавшая о Гумилёве тех лет в «Сумасшедшем корабле»: «Поэт с лицом египетского письмоводителя и с узкими глазами нильского крокодила...» (Это переключается с тем, что он сам писал в статье о своём любимом Шарле Бодлере: «К искусству творить стихи прибавилось искусство творить свой поэтический облик, слагающийся из суммы надевавшихся поэтом масок...»)

Даже женившись в апреле 1910 года на Анне Ахматовой, он уже через пять месяцев (оставив молодую, красивую и очень ревнивую жену, руки которой так долго добивался) кидается в очередной африканский поход, словно его изнутри сжигала ностальгией знойная капля арапской пушкинской крови. А через пару лет вместе с Ахматовой он всё с той же ненасытностью к новым пространствам пронесётся вихрем через Геную, Пизу, Флоренцию, Болонью, Падую, Венецию...

Его «дорожные» («заграничные») стихи не просто живописны и экзотичны, восторженно красочны. Они (и это необходимо принципиально подчеркнуть!) — благородны. В них абсолютно отсутствует то, что я назвал бы не свой-



ственному русскому характеру синдромом «кюстиновской» бестактности и наставительного высокомерия к чужой истории, культуре, к чужим традициям, а в сущности, свинской неблагодарности к гостеприимно распахнутому чужому дому (видимо, это и есть признак той самой «цивилизованности», отсутствием которой нас так упорно прилюдно на всех мировых углах и привозах вот уже несколько веков подряд попрекают заморские и свои, домашние, «де Кюстины»!). В Гумилёве снова сбылась пушкинская (по Достоевскому) всемирная русская отзывчивость. Неслучайно Валерий Брюсов в рецензии на книгу «Жемчуга» говорил о возникновении на поэтической карте «страны Гумилёва». Это там водятся тигры, ягуары, гиены, рыжие львы, носороги, а «далёко, далёко на озере Чад / Изысканный бродит жираф...», о котором сказано в таинственно-чарующем стихотворении:

*...Вдали он подобен цветным парусам корабля,
И бег его плавлен, как радостный птичий полёт...*
(«Жираф»)

Но праздник скитальчества постепенно терял своё возбуждающее карнавалльно-стремительное опьянение чувств. Душа начинала прислушиваться к голосу судьбы. «Чем ближе к экватору, тем сильнее тоска... — скажет потом Гумилёв. — В Абиссинии я выходил ночью из палатки, сидел на песок, вспоминал Царское, Петербург, северное небо, и мне становилось страшно, вдруг я умру здесь от лихорадки и никогда больше всего этого не увижу...»

Единственным и, кажется, так никогда и не окончившимся своего рода экзотическим (вернее, лирическим!) путешествием в неизвестность, в страдание, в безумие гордыни (двух гордынь!), в непрекращающуюся до самой смерти любовь-схватку, любовь-игру стали для него отношения с Анной Ахматовой. Их брак, длившийся с 1910 по 1918 год, счастливым никак не назовёшь. Слишком сильными и амбициозными были две эти личности, чтобы ужиться под одной крышей, в одном тёплом гнёздышке. Но следы этой схватки навсегда сохранились в русской поэзии образцами неповторимой лирики.

В отличие от бесполого эротизма Блока в поэзии Гумилёва чувствуется здоровое мужское начало, или, как сказал бы Фрейд, лирическое либидо, хотя поэт как никто другой знал, что «поцелуи окрашены кровью». Об этом многие его стихи:

*Прекрасно в нас влюблённое вино
И добрый хлеб, что в печь для нас садится,
И женщина, которую дано,
Сперва измучившись, нам насладиться...*
(«Шестое чувство»)

Не случайно почти все ахматовские строчки, связанные с Гумилёвым, — это не цветаевская «попытка ревности», а самая настоящая пытка себя ревностью:

*Для тебя я долю хмурую,
Долю-муку приняла.
Или любишь белокурую,
Или рыжая мила?..*

Это он, в её всемирно знаменитом стихотворении —

*Улыбнулся спокойно и жутко
И сказал мне: «Не стой на ветру».*

И даже через пять лет после последней встречи ещё один лирический шедевр — ему, к нему, о нём:

*Так беспомощно грудь холодела,
Но шаги мои были легки.
Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки...*

А что он сам? В стихотворении «Я знаю женщину...» он признаётся: «Назвать нельзя её красивой, / Но в ней всё счастье моё...» И тут же, рядом:

*Из логова змиева,
Из города Киева,
Я взял не жену, а колдунью...*

И, в конце концов, игру проиграли оба: «И, тая в глазах злое торжество, / Женщина в углу слушала его» («У камина»). Осталось только сбывшееся пророчество:

*А ночью в небе, древнем и высоком,
Я вижу записи судеб моих
И ведаю, что обо мне, далёком,
Звенит Ахматовой сиренный стих.*

(«Священные плывут и тают ночи...»)

В августе 1914-го Николай Гумилёв вновь удивляет своё окружение, добровольцем от-



правившись на фронт в разгар Первой мировой войны, хотя он числился по здоровью ратником второго разряда и призыву не подлежал. (Вспомним, каким тяжёлым бременем показалась тогда же Александру Блоку недолгая служба в армии, даже при том, что ему удаётся с помощью Владимира Зоргенфея устроиться табельщиком в инженерно-строительную дружину, откуда он прямоком попадает в непыльную революционную комиссию «по расследованию преступлений царского правительства». Вспомним, как пытался устроить себе «белый билет» Сергей Есенин, только бы не попасть на фронт. Как Леонид Андреев, сидя у себя на даче, в тысяче километров от боевых действий, высасывал из пальца свой антивоенный, а по сути, антигосударственный «Красный смех», под видом пацифизма сея поразительные настроения и полубредовые галлюцинации в среде и без того духовно и морально скукожившейся интеллигенции!) Самым здоровым, самым, пожалуй, ответственным и просто благоразумным голосом в своём поколении тех трагических, переломных для истории России лет стал мужественный и по-настоящему патриотический голос Николая Гумилёва, о котором даже сейчас, каких-нибудь двадцать лет назад (1988), в предисловии к солидному изданию продолжали писать с какой-то махровой идеологической фобией: «По своему выпрениному духу, по проникнутости идеями монархической верноподданности, по риторике, окрашенной в церковные тона, военная лирика Гумилёва фактически едва ли чем отличалась от казённой шовинистической литературы, как бы ни отрещивался от шовинизма сам поэт» (А. Павловский). Но именно тогда, в час испытания, Гумилёв произнесёт слова, которых не произнёс, да и не имел права произнести никто:

*Не надо яства земного
В этот страшный и светлый час,
Оттого что Господне слово
Лучше хлеба питает нас.
<...>
Словно молоты громовые
Или воды гневных морей,
Золотое сердце России
Мерно бьётся в груди моей...*
(«Наступление»)

Никто не посмел иронизировать (в циничной манере той поры) над пафосом Гумилёва, даже

когда он с законной гордостью заговорил о своей солдатской судьбе:

*Память, ты слабее год от году,
Тот ли это или кто другой
Променял весёлую свободу
На священный долгожданный бой.*

*Знал он муки голода и жажды,
Сон тревожный, долгожданный путь,
Но святой Георгий тронул дважды
Пулю не тронутую грудь...*
(«Память»)

А судьба была в прямом смысле солдатская, хотя позднее ему присвоят офицерское звание. Он служил прапорщиком в гусарском полку и отличался большой смелостью. За личную храбрость Николай Гумилёв был награждён (в декабре 1914-го и в январе 1915 года) двумя солдатскими Георгиевскими орденами 4-й и 3-й степеней.

Военная лирика Николая Гумилёва — может быть, вообще высшее достижение русской и мировой поэзии в этом жанре.

*И воистину светло и свято
Дело величавое войны.
Серафимы, ясны и крылаты,
За плечами воинов видны...*
(«Война»)

Так никто из писавших о войне не мог сказать — ни Ломоносов, ни Державин, ни Лермонтов, разве что чувствующий религиозную красоту подвига «певец во стане русских воинов» Василий Жуковский («религиозное чувство... при исполнении воинского долга», по Жирмунскому), но ему не хватило бы дерзости XX века. И совершенно справедливо утверждение Бориса Эйхенбаума о том, что военные стихи Николая Гумилёва «приняли вид псалмов об “огнезарном бое” и вообще, “не замечательно ли самое стремление поэта — показать войну как мистерию духа”». (Сравните для примера последующую деградацию страны в кошунственном обэриутском зубокальстве Хармса на ту же тему: «Мы бежали, как сажени, на последнее сраженье!») В сущности, все войны, прошедшие по русской земле, есть не что иное, как явленное в земном, низшем, плане столкновение сил вышних, наступление тьмы на свет, борьба тленного с вечным, земли с небом. И эту «мистирию духа», это столкновение тём-



ной, всегда чужой и чуждой силы с вечной Россией — Святой Русью — как некое пророческое предупреждение о будущих битвах необыкновенно чутко улавливал Гумилёв. Не оттого ли о его самых мужественных стихах Сергей Маковский скажет: «Прикровенный смысл их кажется безнадежно печальным». Отсюда его осознание себя и в поэзии бескомпромиссно ответственным (как в делящейся вечно для каждого русского смертельной «мистерии духа») за каждое слово. Только этим можно объяснить его тяжёлое, как приговор, суждение о знаменитой поэме Александра Блока: «Он, написав “Двенадцать”, вторично распял Христа и ещё раз расстрелял государя» (по свидетельству Г. Иванова).

И вообще, какое разительное несовпадение миров, целых внутренних вселенных у этих двух великих и вечных антиподов нашей поэзии. Во всём — в темпераменте, в наружности, в поэтике, в отношении к религии, в политических взглядах. В одном было нерастраченное здоровье России и надежда на её будущее, в другом — её надлом, страшный недуг, ожидание неминуемой гибели. На их судьбе как-то уж очень трагически подтверждается глубокая мысль религиозного философа из первой волны эмиграции Г. Флоровского: «Каждая эпоха оценивается сама по себе, измеряется одним и тем же, не меняющимся в исторической перспективе мерилom — абсолютной, религиозно-нравственной нормой». Так вот, там, где Блок (почему-то считавший Гумилёва «нерусским поэтом») призывает «всем телом, всем сердцем, всем сознанием» слушать Революцию, ибо «демон некогда повелел... слушаться духа музыки», там Гумилёв, в отличие от «демонов» (у Достоевского это просто «бесы!»), слышит и видит в судьбе страны нечто иное:

*Русь бредит Богом, красным пламенем,
Где видно ангелов сквозь дым...*

(«Старые усадьбы»)

Даже гибель их, мистически совпавшая в августе 1921-го с разницей буквально в несколько дней (7-го и 24-го числа), связывает их в какой-то непостижимый (непоправимый!) единый символ, «русский узел», в котором сошлись две крайности, две стихии России. Блок умирал мучительно, впад в настоящее помешательство. Гумилёв во время ареста взял с собой в тюрьму Библию и «Илиаду», с которыми не расставался и на войне. На допросах не скрывал своих монар-

хических убеждений, вёл многочасовые «диспуты» с иезуитски «утончённым» интеллектуалом-следователем Якобсоном, получавшим садистское наслаждение от этой смертельной игры без правил, с неизбежностью приближающей роковую минуту. А жене в это время Гумилёв писал: «Не беспокойся обо мне. Я здоров, пишу стихи и играю в шахматы». Он всё прекрасно понимал: «Эти каторжники крепко захватили власть, — говорил он одному из современников. — Они опираются на две армии: красную и армию шпионов. И вторая гораздо многочисленней первой». И несмотря на то, что сам много раз предсказывал свою гибель — «*И умру я не на постели, / При нотариусе и враче, / А в какой-нибудь дикой щели, / Утонувшей в густом плюще...*», «*И не узнаешь никогда ты, / Чтоб в сердце не вошла тревога, / В какой болотине проклятой / Моя окончится дорога...*», — он, отчасти лермонтовский фаталист, вместо блоковского «чувства пути» бесстрашно выбирал «чувство судьбы»:

*Но молчи! Несравненное право —
Самому выбирать свою смерть.*

По твёрдой наступательности, волевой энергии стиха (опять же, в отличие от женственной магической, но расслабляющей музыкальности поэзии Блока) Гумилёва можно назвать поэтом категорических императивов. Пожалуй, никому в такой мере, как Гумилёву, не подходит пушкинский категорический императив — «слова поэта суть уже его дела». В русской поэзии, где, кажется, напрочь отсутствует «философия счастья», философия радостного и мужественного восприятия мира как некая целостная система, никто не брал на себя этой роли (все были слишком заняты собой!) — учить побеждать, быть счастливыми и сильными, или, как сказал он в программном стихотворении «Мои читатели»:

*Я не оскорбляю их невзрастением,
Не унижаю душевной теплотой...
Но когда вокруг свищут пули,
Когда волны ломают борта,
Я учу их, как не бояться,
Не бояться и делать, что надо...
А когда придёт их последний час,
Ровный красный туман застелет взоры,
Я научу их сразу припомнить
Всю жестокую, милую жизнь,
Всю родную, странную землю*



*И, представ перед ликом Бога
С простыми и мудрыми словами,
Ждать спокойно Его суда.*

Одно из предсмертных его стихотворений называется «Рыцарь счастья», в котором он буквально на развалинах своей поруганной великой Родины, «на обломках самовластья», посреди трагедии и полной безнадёжности почти с суворовской отвагой утверждает свою «науку побеждать»:

*Скажите, кто вздыхает глубоко,
Я каждого счастливым сделать волен!*

*Пусть он придёт! Я должен рассказать,
Я должен рассказать опять и снова,
Как сладко жить, как сладко побеждать
Моря и девушек, врагов и слово...*

(«Рыцарь счастья»)

Вячеслав Иванов сказал о Гумилёве: «Наша погибшая великая надежда». Брюсов писал о нём: «Надо любить самый стих, самое искусство слова, чтобы полюбить поэзию Гумилёва». Блок записывал в дневнике об акмеистах (Анне Ахматовой, Сергее Городецком, Осипе Мандельштаме, Георгии Иванове, Георгии Адамовиче, Владимире Нарбуте, Михаиле Зенкевиче, Михаиле Лозинском, Ирине Одоевцевой...): «Все под Гумилёвым». Ходасевич вспоминал: «Он обладал отличным литературным вкусом, несколько поверхностным, но в известном смысле непогрешимым... В механику стиха он проникал как мало кто». По свидетельству Георгия Иванова, в дореволюционный период влияние Гумилёва на Мандельштама было настолько сильным, что Мандельштам вынужден был признаться: «Я борюсь с ним, как Иаков с Богом...» Тот же Георгий Иванов вспоминал позднее: «Можно по-разному расценивать поэзию Гумилёва. Но не может быть двух мнений о значении Гумилёва как учителя поэзии. В этой роли он был, по меньшей мере, тем, что Дягилев в балете».

Для своей будущей книги, вышедшей в августе 21-го года уже после расстрела и оказавшейся последней, Гумилёв предполагал название «Посредине странствия земного». Это была явная реминисценция из дантовского вступления к «Божественной комедии» («Земную жизнь пройдя до половины, / Я оказался в сумрачном лесу...»), в которой Вергилий, как известно, проводит автора по всем кругам ада.

В гениальном четверостишии, чернила которого, кажется, ещё не просохли на бумаге, когда был убит его автор, Гумилёв передаёт, какие бездны уже открывались ему в те безумные дни и ночи:

*А я уже стою в саду иной земли,
Среди кровавых роз и влажных лилий,
И повествует мне гекзаметром Вергилий
О высшей радости земли.*

С теми же странствиями по «слепым переходам пространств и времён» связано и другое, окончательное, название, которое выбрал для последнего сборника поэт, — «Огненный столп». В Библии, в Книге Неемии, сказано: «В столпе облачном ты вёл их днём и в столпе огненном — ночью, чтоб освещать им путь, по которому идти им» (9:12). Круги ада и страшный путь во тьме. И то и другое сбылось, оказалось правдой. И это был знак, которого дождался Гумилёв, когда-то вопрошавший:

*Если, Господи, это так,
Если праведно я пою,
Дай мне, Господи, дай мне знак,
Что я волю понял Твою...*

(«Канцона вторая»)





Валерий ДУДАРЕВ

Москва



Кантата

Костры разводились в тени пирамид.
То звёзды, то искры летали,
То падали ливни в кровавый зенит
За медными метахребтами.

В скитаньях норд-зюйд на распутье ост-вест,
Высокие травы вдыхая,
Родную звезду — обращённую в крест —
Искали волхвы с пастухами.

В речном отражении горних светил
Дымы зеленее, острее.
В пастушьем котле среди кореньев и жил
Заветное варево зреет.

Волхвы и погонщики всюду след в след.
Их клятвы надменны и строги.
Для нас же теперь даже выбора нет.
Ни выбора нет — ни дороги.

Похлёбка. Над ложкой сияние рта.
Сиянье последнего вдоха.
За метахолмом — золотая орда,
Под ливнями — метаэпоха.

Мечты ли, миры, суматоха ли, фарс —
Жерла дышат обломками ада.
В звенящем луче или март, или марс —
И медью очнулась Гренада.

Стрекочут кузнечики в лапах весны.
В соцветьях вселенского блуда
У девок глаза, как у пьяниц, красны,
Щедры вездесущий Иуда

И марсовой свахи личина и лик.
О, будь же земля золотою!
Гонец донесёт драгоценный ярлык
За метахолмами ордою.

Нагайка ли, кара ли, смерть — нипочем!
И после скитаний — и после
Восторженно князь над летящим ручьём,
Всмотревшись в дорогу и поле.

Так больно с Гренадой один на один,
Так трудно просить Иисуса —
Как яблочко-песню допеть до глубин
Целебного чёрствого вкуса!





Анастасия ЕРМАКОВА

Москва



* * *

Достала мясо — псы уж тут как тут.
Подкинула в печурку дров трескучих,
всё ждём мы дней счастливых и везучих,
а вот они — идут, идут.

Проходит дачный неуютный отпуск,
не задался — весь вымок от дождей,
зато от дел пустышных и людей
здесь можно отдохнуть. И даже опус
по ходу сочинить — и тут же в печь,
не жалко вовсе. Не о чем жалеть,
хоть отпуск мой прошёл уже на треть,
я дам остатку медленно утечь.
Пусть будто бы сквозь пальцы просочится,
и это лето, лучшее, быть может,
и этот день, что так бесцельно прожит,
и всё, что в нём хорошего случится.

Кошачье

Я своему завидую коту —
ленивец и наглец в законе.
Он равнодушен к жизни законной,
свою, кошачью, ценит красоту.

И именем гордится славным — Сёма,
и родословной царской, древней,
лениво лакомится сёмгой,
вальяжно на диване дремлет.

К хозяйской ласке терпеливо
относится, мурлыча томно,
собраний не прочтя десятитомных,
меня мудрей он и счастливей.

Ах, как бы заслужить такую карму:
родиться и прожить простым котом,
так гениально, так бездарно.
А человеком... Как-нибудь потом.

* * *

Осень.
Листвы новоселье.
На грустной скамейке сажу.
Чужая
На ярком пиру.

* * *

Разозлилась на дочь —
сломала песочный домик.
Всю ночь не спала,
думала:
смогу ли выстроить новый?

* * *

Ну что стряслось?
Просто не уступила место
Какому-то старикашке.
Подумаешь...
А он стоял и искал
Безропотным взглядом
На карте метро
Свой последний маршрут.

* * *

Сидим, пьём чай.
Уютно.
Давай закроем форточку,
навек, до лета,
не пустим непогоду,
не выпустим тепло.
И как-нибудь переживём
свою сплошную зиму.
Но закурил ты —
настежь распахнул.

* * *

На кладбище так хорошо всем:
вот этой вороне,
вот этой берёзе,
вот этому ветру,
так весело шевелящему



венки улыбочивые.
И даже лопате и тяпке,
работающим задорно.
И только лишь мне
неприятно,
печально
и смертно.

* * *

Забава для одиноких —
кормление голубей.
Они прилетают, клюют.
Ты смотришь и млеешь.
Ещё и ещё
им крошишь
чёрствы́е дни.
И думаешь,
как хорошо,
что делишь их с кем-то.

* * *

От меня осталось совсем немного:
Кусочек от пышной «шарлотты» юности.
Вкушай его медленно, нежно.
А вдруг ты последний?..

* * *

Каждый день на работу
Провожая, как на войну.
А ты не воюешь ни с кем,
Приходишь усталый вечером,
Гоняешь чай весёлые.
Но знаю лишь я одна,
Что ты вернулся с войны,
И я дождалась.
Дождалась.

* * *

Бывают дни, когда я не в духе,
Оттолкну пса, если вдруг подойдёт.
А он, не обидевшись, не осудив,
Лизнёт раздражённый мой тапок.

Бывают дни, когда пёс не в духе,
Не просит совсем ничего.
Лежит и лежит.
Тогда я к нему подхожу
И ласки прошу.

Ни разу
Отказа мне не было в этом.
О, мудрый и нежный мой пёс,
Прости.

* * *

Во дворе детсада
Надувной Дед Мороз
Встречает сонных детишек.
— Можешь просить подарок! —
Дочери говорю.
Хмыкнула и сказала:
— Ненастоящий же он!
Видишь, вон как надулся! —
И деловито решила:
— Летом на море возьму!

* * *

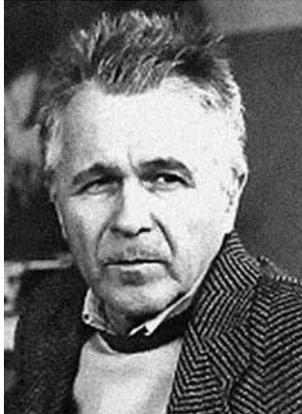
Хочу жить так, как надо.
Только не знаю как.
И надо ли?..





Александр ЗАЙЦЕВ

Санкт-Петербург



* * *

С мольбой и пылью на губах
Земля давно дождей просила.
На тонких, огненных ногах
Гроза к деревне подходила.

Поля вздохнули: «Спасены!»
Легко гроза пророкотала,
Но свежих капель дождевых
На землю даже не упало.

Свернув, гроза к лесам ушла,
И, как в колодце, стало тихо,
И только радуга взошла —
Над обезумевшей гречихой.

Ива

Тяжелеет в затонах вода.
Мчатся стаи на юг торопливо.
Холодеющим днём у пруда
Раздевается медленно ива.

За оврагом леса зажжены,
Спят у берега красные щуки.
Отчего они так холодны —
Молодые зелёные руки?

И ложится на землю наряд.
Вот и плечи прохладой тронуты.
О, какой обжигающий взгляд
У глубокого старого омута.

Не согнуться, не пасть от беды
Хватит сил у неё и терпения,
Лишь бы в зеркале стылой воды
Не смогло отразиться смятение.

Зерно

Свой час последний встретить, что назначен,
Пускай мне в поле будет суждено.
Я, онемев и становясь незрячим,
Зажму в кулак горячее зерно.

Всё, что люблю, — вдруг потерять однажды?
Утратить связь — и быть невдалеке?
Почуяв землю влажную, от жажды
Зерно проснётся у меня в руке.

От радости рожденья востепенётся
Росток зелёным крошечным лучом.
И мне толкать, толкать его придётся
Туда, наверх, дыханьем и плечом.

И радоваться: пласт земли проткнувши,
Он, мой посланец, вырвется на свет,
Не задохнулся б, воздуха глотнувши,
И, солнышко увидев, не ослеп...





Максим ЗАМШЕВ

Москва



* * *

Если думать, что горизонт черта,
Ему нужна параллель.
Без неё не получается ни черта,
Какая-то бесформенная канитель.

Параллельные линии, параллельные пути,
Две розы, две лилии.
Не пересечёшься, как ни крути,
Да и как крутиться, коль ты линия.

Невозможность любви выражена графически,
Математическая благодать.
Но горизонт один, вот в чём фикция,
Ему даже не о ком помечтать.

Моя судьба горизонтом скошена,
Я сам себе царь и монах.
Лучше уж иллюзии крошево,
Чем её крах.

Уходя со всеми дорогой заката,
Ощущая ступнями земли испуг,
Узнаю в Лобачевском брата
И линию жизни соскребаю с рук.

Чтобы потеряться в мире параллельном,
Где никто не встречается с тем,
С кем хотелось бы в час расстрельный
Пережёвывать виноград поэм.

Видишь, надуваются пузыри
На воде не живой, не мёртвой.
А Рима всего лишь три,
И каждый из них четвёртый.

А когда я выгуляю всю маету,
Дайте мне кисть колонковую,
И я подведу черту,
Параллельную и незнакомую.

Откроется последний клапан,
Выпорхнет чумовая звезда,
И планета в геометрическом коллапсе
Улетит неизвестно куда.

* * *

Мне кажется, что жизнь моих друзей
Не кончилась, а закатилась в угол.
А юность возле огородных пугал
Застыла. Ей не стать уже резвей,

Не выгадать ни часа, ни минуты,
Всё началось задолго до поры,
Как рыбы, от усердия надуты,
Со дна подняли старые миры.

И, соблюдая правила игры,
Мои друзья, задвинув крепко шторы,
Оставили пустые разговоры,
Чтоб вслушаться в напев земной коры.

А жизнь? Она длинна и бестолкова,
Мизантропична и не так нужна,
На огороде выросла стена —
Забвенья непреложная основа.
Ведь юность — эфемерная княжна —
Нуждается в защите от былого.

Мои друзья, таланты, ротозеи,
Пропойцы, пожиратели небес,
Вы презирали всякого лакея,
И вас не спутал, хоть и путал бес.

Зачем же вы разлуки чёрствый хлеб
По нищим разбросали слишком рьяно?
Великий город окнами ослеп,
Ничтожный раб зализирует раны.

На свет пробраться стало тяжелее,
Ветра всё одиночней и всё злее,
А камень преткновенья под ногой,
Всегда не тот, всегда совсем другой.



* * *

Как жаль, что луны не коснуться, как раньше,
руками,

Остались вопросы, а прошлого будто и нет.
Живя на равнине, становишься ровным, что
камень,

И датой рожденья мараешь обратный билет.

Гремучая смесь одиночества с мыслью о благе
Отчизны, в которой смертельна октябрьская стынь.
В промокших полях отзывается хохот бродяги,
И поезд качается с призрачной тенью впритык.

На ветках не птицы, а стуски вчерашней обиды,
Готовится снег на себя уронить облака,
Глаза отыскивали печальные русские виды,
И этим глазам запретили моргать на века.

Пустые леса в ожиданье свирепого гула,
Охотничьи ружья долги отдают тишине.
Друзьям уж пора выходить из тяжёлых загулов,
Но что-то их держит, но что-то их держит на дне.

Наверно, луна им обманы пускает вдогонку,
И пальцы до хруста, до крови сжимают бокал.
Эх, взять бы её, отложить бы спокойно в сторонку...
Но бред это всё, человек и в грехах своих мал.

На карте почти не видна заповедная область,
Такой географии вряд ли окажешься рад.
А осень винить — небольшая, как водится,
доблесть,
Особенно если ты сам перед ней виноват.

* * *

Часы идут бесшумно по рукам,
По голове — и далее всё выше.
Они своим не молятся богам,
Они своих богов давно не слышат.

А мы теперь прилежнее часов,
Мы нежностью питаемся ночами,
И слышим даже самых дальних сов,
О чём бы они страшном ни кричали.

Поодиночке жмутся времена
К сварливым стрелкам, чей удел — движенье.
Жаль, вымирают наши племена,
Оставив только нас для продолженья,

Для продолженья рода и пути,
Великого пути последних белых,
С него уже не сбиться, не сойти,
Часы спешат. Богам до них нет дела.

Найдётся ли мне ангел по плечу?
Жизнь, разогнавшись, мчится по спирали.
Часы идут бесшумно. Я молчу.
Ведь в проводах слова мои застряли.

На них садятся птицы. И снега
С них падают в минуту роковую.
Наверно, соберусь я на бега,
На старый ипподром, на Беговую.

Что за цена мне взять один заезд?
Пусть не страшит возможное фиаско.
Никто не даст нам непосильный крест,
От нежности лицо бросает в краску.

Страну легко меняя на страну,
По циферблату проведи рукою.
В безвременье я губы окуну.
Ты думаешь, оно на вкус какое?





Людмила ЗЛАЧЕВСКАЯ

Безр-Шева, Израиль



✉ Почта
ДП

Ветер странствий в подворотню юркнул,
Он недавно спутал паруса,
Но рванулись от верёвок юбки,
Замелькала окон полоса.

Расплескалась времени распутица,
Что решать оставленный просчёт?
Жизнь — она сама такая спутница...
Полно, поболит и заживёт.



Весна в Иерусалиме

Тишина рассветная молчит,
Островки разбросаны тумана,
Чуть заметно тянутся лучи,
Исчезая медленно и странно.

А вдали наброски облаков,
Звоном утр чирикнула синица,
И движеньем улиц-родников
Осветилась древняя Столица.

И кипит зелёная весна,
Истекая таинством и духом,
Загустела храмов тишина,
Повернулась ракушкой для слуха.

И с балкона длинная лоза
Наклонила веточку соблазна,
Брызжет в искрах новая роса
На листве, отчаянно и страстно.

Ах, опять весенний перебор,
Сердце бьётся, мира ожидая,
И гудит в цветах медовый сбор,
Светится росинка золотая.

Спутница

На горах роскошные глицинии,
По стволам стекает пряный мёд,
Словно мы в какой-нибудь Сицилии —
Ничего, подразнит и пройдёт.



Геннадий ИВАНОВ

Москва



«ДЕРЖИ СЕРДЦЕ ВЫСОКО...»

К 225-летию Фёдора Глинки

Для меня поэт пушкинской эпохи, герой Отечественной войны 1812 года, декабрист, географ и археолог Фёдор Николаевич Глинка (1786–1880) начинался с небольшого стихотворения:

*Если хочешь жить легко
И быть к небу близко,
Держи сердце высоко,
А голову низко.*

Глубокое четверостишие. В религиозном духе и, как я потом понял, в духе всей жизни самого Фёдора Николаевича. И, мне кажется, именно этот дух помог Глинке прожить 94 года на белом свете. Так долго тогда в России жили единицы, а из поэтов он единственный такой долгожитель.

Глинка, хотя и был вовлечён одно время в водоворот декабристского движения, всегда был против бунта, революции и смуты. Мирное решение нравственных проблем для него было важнее радикальных мер. В этом он убеждал и своих товарищей-декабристов, но напрасно.

Он говорил им, что вооружённое восстание ничего не даст, что, наоборот, оно только обозлит общество и власть. Он говорил, что надо не на Сенатскую площадь выходить, а вести просветительскую работу изнутри общества. Надо стремиться к нравственному обновлению граждан.

Сам Глинка принимал самое деятельное участие в «распространении правил нравственности». Он считал, что «чистота нравов, целомудрие народа — есть вернейший его капитал, неоценимое сокровище! Не деньги творят людей и населяют области: люди приобретают трудом и торгами деньги и составляют цветущие общества; но люди без образования нравственного не общества, а стада!..».

На нравственное образование сограждан ориентированы стихи и проза Глинки. Вот как он видел своё время:

Время греха

*Гремит на ясном небе гром,
И хлынул в мир разврат, как воды,
И мнится, воздух стал грехом...
Почто смущаются народы?..
Искать блаженства где и в чём?
Повсюду пламенным мечом
Сечёт обиженная совесть,
И тлеют заживо сердца;
Ни в чём желанного конца!
Всё недосказанная повесть!..*

1835

А может быть, это поэт наше время провидит? Хотя вряд ли. В каждом времени это есть. Правда, в иные времена, как в наше, это настолько зримо, что об этом и писать не хочется.

Мы не будем подробно разбирать творчество Фёдора Николаевича, так как не литературоведческую работу пишем, но штрихами отметим: в 1818 году он создает повесть для крестьян «Лука да Марья», направленную на раскрытие пагубности и корней пьянства; он старается донести до людей религиозную мо-



раль, поэтому начинает перелагать псалмы на страстный язык стиха, чтобы западали людям в душу нравоучительные идеи, он издаёт книги, направленные на нравственное совершенствование общества...

Одним словом, Глинка стучится и стучится в сердца современников, побуждая их к совершенствованию, к высокой духовности, к религиозному пониманию жизни. Не случайно он кропотливо пишет подражание библейской «Книге Иова». «Повесть о страданиях Иова, — читаем у Глинки, — во все времена будет велика, прекрасна, для всех трогательна, ибо она основана на общей истине и составляет историю всего человеческого рода...»

Фёдор Николаевич Глинка родился в Смоленской губернии в военной дворянской семье. В 1803 году он окончил кадетский корпус в Петербурге, потом служил в армии, прошёл путь от прапорщика до полковника.

Участник войн против Наполеона, сражался под Аустерлицем и Бородино. Описал походы армии в книге «Письма русского офицера», принёсшей ему широкую известность.

С окончанием войны служил в Гвардейском штабе, был адъютантом при петербургском генерал-губернаторе Михаиле Андреевиче Милорадовиче. У Милорадовича Глинка служил и в войну 1812 года. Генерал был одним из самых смелых и умелых командиров. Глинка писал перед Бородинским сражением:

*Друзья! Враги грозят нам боем,
Уж сёла ближние в огне,
Уж Милорадович пред строем
Летает вихрем на коне...*

После восстания 14 декабря 1825 года как член Союза спасения и Союза благоденствия Глинка был арестован, но избежал Сибири, сравнительно на короткий срок был сослан в Олонецкую губернию, в Петрозаводск, где спокойно служил в губернском правлении.

Интересный момент: после своего ареста Фёдор Глинка добился встречи с императором и доказывал ему, что все обвинения против него — результат клеветы подспудных «доносителей» и «ловителей». В ответ император произнёс слова, вошедшие во все жизнеописания поэта: «Глинка, ты совершенно чист, но всё-таки тебе надо окончательно очиститься».

И самое интересное, позже Фёдор Николаевич будет вспоминать, что именно в ссылке освободился он от губительных заблуждений — очистилось сердце, исправились помыслы. В одном из стихотворений времён карельской ссылки он написал: «В твоей живительной волне переродилось всё во мне».

Поэт имел, видимо, в виду свои заблуждения, связанные с вступлением в молодости в масонскую ложу. Он тогда считал, что тайные общества со временем смогут стать открытыми органами гласности и будут нести обществу правду, «веру и верность». А оказалось, что тайные общества несли России растрление и уничтожение.

Есть версия, что раненный декабристами на Сенатской площади генерал-губернатор Милорадович просил Николая I помиловать Глинку.

Михаил Андреевич Милорадович был смертельно ранен декабристом Каховским, и будто бы последними словами генерала были: «Глинка не виновен». Милорадович очень хорошо знал своего адъютанта, у них были самые добрые и доверительные отношения.

После ссылки Глинка сначала поселился в Твери и довольно долго здесь служил на разных должностях. Здесь он и встретил Авдотью Павловну Голенищеву-Кутузову, здесь и женился. Потом переехал в Москву, но в конце концов вернулся в Тверь, где и умер. Похоронен в Жёлтиковом монастыре под Тверью. При погребении славному поэту и гражданину были отданы воинские почести как герою Отечественной войны, награждённому золотым оружием «За храбрость».

Здесь будет уместно вспомнить, что патриотические «Письма русского гражданина» и «Очерки Бородинского сражения» Глинки наряду с «Наукой побеждать» Суворова и партизанскими дневниками Дениса Давыдова издавались даже в годы Великой Отечественной войны в «Библиотеке офицера», на них воспитывались после войны суворовцы и нахимовцы. Так что не зря его хоронили с воинскими почестями.

Вклад Глинки в русскую поэзию не столь значителен, как, допустим, вклад Тютчева или Ахматовой, но некоторые стихи Глинки, например «Не слышно шуму городского...» или «Вот мчится тройка удалая...», стали широко известны в народе, на них написана музыка, их пели и поют. Вспомним и ещё раз перечитаем и пропоём в своей душе глинковскую «Тройку»:



Вот мчится тройка удалая
Вдоль по дороге столбовой,
И колокольчик, дар Валдая,
Гудит уныло под дугой.

Ямицик лихой — он встал с полночи,
Ему взгрустнулося в тиши —
И он запел про ясны очи,
Про очи девицы-души.

«Ах, очи, очи голубые!
Вы сокрушили молодца;
Зачем, о люди, люди злые,
Вы их разрознили сердца?»

Теперь я бедный сиротина!..»
И вдруг махнул по всем по трём —
И тройкой тешился детина,
И заливался соловьём.

Рассказ о Глинке будет неполным, если не привести хотя бы небольшой отрывок из его «Писем русского офицера». Эти письма дают ясное представление о характере и личности Фёдора Николаевича. Возьмём момент перед битвой и битву на Бородинском поле.

«17 июля. Смоленск.

Мой друг! настают времена Минина и Пожарского! Везде гремит оружие, везде движутся люди! Дух народный, после двухсотлетнего сна, пробуждается, чует грозу военную. Равно как и при наших предках, сей дух прежде всего ознаменовался в стенах Смоленска. Я сообщу тебе о всем том, что происходило там в бытность Государя...»

«18 июля, 1812. Село Сутоки.

Наконец поля наши, покрытые обильнейшею жатвою, должны будут вскоре соделаться полями сражений. Но счастливы они, что послужат местом соединения обеих армий и приобретут, может быть, в потомстве славу *Полтавских*: ибо первая Западная армия, под начальством Барклая де Толли, а вторая князя *Багратиона*, после неисчислимых препятствий со стороны неприятеля, соединились наконец у Смоленска. Г. Платов прибыл сюда же с 15 000 Донского войска. Армия наша немногочисленна, но войска никогда не бывали в таком устройстве и полки никогда не имели таких прекрасных людей. Войска получают наилучшее продовольствие; дворяне жертвуют всем. Со всех сторон везут печёный хлеб, гонят

скот и доставляют всё нужное добрым нашим солдатам, которые горят желанием сразиться у стен Смоленских. Некоторые из них изъявляют желание сие самым простым, но, конечно, из глубины сердца исходящим выражением: *мы уже видим седые бороды отцов наших*, говорят они: *отдадим ли их на поругание?* — *Нет! не бывает тому! сыны их умеют сражаться и умирать».*

«19 июля. Там же.

Объехав несколько полков, я везде находил офицеров, которые принимали меня как истинные друзья, как ближайšie родные. Кто же такие эти прекрасные люди? — спросишь ты. — Общие наши товарищи: кадеты! — О! как полезно общественное воспитание! Никакие уставы, никакие условия обществ не могут произвести таких твердых связей между людьми, как *свечка ранних лет*. Совоспитанники по сердцу и душе встречаются везде с непритворным, сердечным удовольствием... Как сладко напоминать то время, когда между богатыми и бедными, между детьми знатных отцов и простых дворян не было никакой разницы; когда пища, науки и резвости были общими; когда, не имея понятий о *жизни в свете*, мы так сладостно мечтали о том и другом!..

<...> Солдаты будут драться ужасно! Поселяне меняют косы на пики. Только и говорят о поголовном наборе, о всеобщем восстании. «Повели, Государь! все до одного идем!» Дух пробуждается, души готовы. Народ просит *воли*, чтобы не потерять *вольности*. Но *война народная* слишком нова для нас. Кажется, ещё боятся развязать руки. До сих пор нет ни одной *прокламации*, позволяющей собираться, вооружаться и действовать где, как и кому можно. «Дозволят — и мы, *поселяне*, готовы к подкрепу *воинам*. Знаем места, можем вредить; засядем в лесах, будем держаться — и удерживать; станем сражаться — и отражать!..»

«29 августа. Окрестности Москвы.

Застонала земля и пробудила спавших на ней воинов. Дрогнули поля, но сердца покойны были. Так началось беспремерное сражение Бородинское, 26 августа. Туча ядер, с визгом пролетевших над шалашами нашими, пробудила меня и товарищей. Вскакиваем, смотрим — густой туман лежит между нами и *ими*. Заря только начинала зажигаться. Неприятель подвез несколько сот орудий и открыл целый ад. Бомбы и ядра сыплются градом. Треск и взрывы повсеместны. Одни шалаша валяются, другие пылают! Войска бегут к ружью и в



огонь. Всё сие происходило в *средине*; а на левом крыле давно уже свирепела гроза в непрерывных перекатах грома пушек и мелкого ружья. Мы простились с братом. Он побежал с стрелками защищать мост. Большую часть сего ужасного дня проводил я то на главной батарее, где находился *светлейший*, то на дороге, где перевязывали раненых. Мой друг, я видел сие неизмеримо жестокое сражение, и ничего подобного в жизнь мою не видал, ни о чем подобном не слышал и едва ли читывал.

Я был под *Аустерлицем*; но то сражение в сравнении с сим — ошибка! Те, которые были под *Прейсши-Ейлау*, делают почти такое же сравнение. Надобно иметь кисть *Микель-Анжело*, избразившую Страшный суд, чтоб осмелиться представить сие ужасное побоище. Подумай только, что до 400 тысяч лучших воинов, на самом тесном, по многочисленности их, пространстве, почти, так сказать, толкаясь головами, дрались с неслышанным отчаянием: 2000 пушек гремели непрерывно. Тяжко вздыхали окрестности — и земля, казалось, шаталась под бременем сражающихся. Французы мешались с диким остервенением; русские стояли с неподвижностью твердейших стен. Одни стремились дорваться до вождельного конца всем трудам и дальным походам, загребсти сокровища, им обещанные, и насладиться всеми утехами жизни в знаменитой столице; другие помнили, что заслоняют собою сию древнюю столицу, сердце России и мать городов. Оскорблённая вера, разорённые области, поруганные алтари и прахи отцов, обиженные в могилах, громко вопияли о мщении и мужестве.

Сердца русские внимали священному воплю сему, и мужество наших войск было неописанно. Они, казалось, дорожили каждым вершком земли и бились до смерти за каждый шаг. Многие батареи до десяти раз переходили из рук в руки. Сражение горело в глубокой долине, и в разных местах, с огнём и громом, на высоты всходило. Густой дым заступил место тумана. Седые облака клубились над левым крылом нашим, заслоняли средину; между тем как на правом сияло *полное солнце*. И самое сие светило едва ли видело такую битву на земле с тех пор, как освещает её.

Сколько потоков крови! сколько тысяч тел? “Не заглядывайте в этот лесок, — сказал мне один из лекарей, перевязывавший раны. — Там целые костры отпиленных рук и ног!”... В самом деле, в редком из сражений прошлого века бывало вместе столько *убитых, раненых* и в *плене*

взятых, сколько под Бородином *оторванных ног* и *рук* было. На месте, где перевязывали раны, лужи крови не иссыхали. Никогда не видал я таких ужасных ран. Разбитые головы, оторванные ноги и разможенные руки до плеч были обыкновенны.

Сражение не умолкало ни на минуту, и целый день продолжался *беглый огонь из пушек*. Бомбы, ядра и картечи летали здесь так густо, как обыкновенно летают пули, и сколько здесь пролетело пуль!.. Но это сражение неописанно; я сделал только абрис оною. По счастью, на то самое место привели уже около вечера брата моего. Он был ранен пулею в голову. Вечер наступал, и неприятель начал уклоняться. Русские устояли!»





Геннадий ИВАНОВ

Москва



* * *

Суворов живёт подаяньем.
Суворов не граф, а поэт.
Суворов живёт покаяньем.
Жилья у Суворова нет.
И нет ни семьи, ни работы,
И выпить он хочет всегда,
И нету ни капли охоты
Жить так, как живут господа...

И в этом хорошего мало —
И все понимают, и он.
Но, кажется, жить как попало
Велит ему некий закон...

* * *

По жизни, как из окружения, —
Порой, побитые, бредём...
Идём в своё расположение.
А где оно, мы не найдём.

Всё это, видно, испытанья.
Души проверка. Надо ждать.
Переживающим страданья
Господь дарует благодать.

* * *

Суета или разная гадость
Обступает — и нет уже сил...
«Не теряйте пасхальную радость!» —
Так отец Николай говорил.

Вспоминая отца Николая,
Вспоминаю пасхальные дни,
И, душою весь мир обнимая,
Вижу в нём не печали одни.

Сколько радости в нём, сколько песен,
Сколько ангельски ясных полей!..
Дорогие, родимые веси
Льют мне в душу покой и елей.

Да, не всё тут отрадная сказка.
И болит моя брэнная плоть.
Но есть главное: есть у нас Пасха!
Нас, людей, обнадёжил Господь!

Гора Волошина

На могилу Волошина гальку свою принесу.
Здесь обычай такой — приносить с побережья
гальку
На вершину горы, где поэт завещал схоронить...

Вот стою на горе — между морем и небом
простор!
И могила поэта плывёт в этом дивном просторе
Вместе с вольной горой — и они приплывут,
приплывут
В мир другого Простора, где дивная райская
галька!

* * *

Тёмные дни ноября.
Тёмные ели.
Господи, всё было зря?
Гибли и пели...



Пели и гибли, и шли
Снова и снова.
Вышло — ничто и нули?
Всё бестолково?

Господи, кто же тут прав,
В темени этой?
Мы наподобие трав
В жизни воспетой...

Травы взошли, полегли...
Листья опали...
Холод идёт от земли.
Пасмурны дали...

Только душа говорит:
Там, за зимою,
Солнце надежды горит,
Господь с тобою.



Александр ИВУШКИН

Волоколамск, Московская область



Первый снег

А мы его уже не ждали.
И ощущение новизны
снежинки, падая, рождали
в летящем море белизны.

И лес, укрытый белой пеной,
был непривычно чист и пуст.
И на опушке по колено
в сугроб залез ольховый куст.

И в поле санная дорога
ещё лежала без следа.
И, словно бы в покои Бога,
сквозь снег бежали провода.

И жёлтым мячиком синица
скакала звонко неспроста...
И день — как белая страница,
и жизнь — как с чистого листа.

Реальность

Николаю Рачкову

Не понимаю, в чём издревле
мы так повинны и грешны?
Уходит русская деревня,
и дни её предрешены.

Бесславной тенью — очень скоро,
сквозь сорняковый строй стеблей,
уйдёт надежда и опора
цивилизации моей.



Где было всё добрей и чище,
где — сладок хлеб, как плод труда!..
И где никто тебе не съест
беды, не ведая стыда.

И где, с наветом вражьем споря,
набат качался вечевой.
И где родник спасал от хвори
своей водицей ключевой.

Иначе стали жить:
не зря ли?!
Пытаясь прошлое предать,
мы все в безвременье попали —
конца и края не видать.

Чаепитие

На трёх сортах,
да — с травами!..
Не чай, а просто чудо!
По восемь чашек выдули,
потея, в один дых...

А тут ещё хозяйюшка
внесла ватрушек блюдо:
во всей России-матушке
уж не найти таких...
красавиц, разумеется.

Из деревенских, нашенских!
Умна и рассудительна,
а в деле — горяча!..
И шёлк волос некрашенных
сбегает соблазнительно
лучами солнца чистого
по ласковым плечам.

Любовь или наитие,
весны ли озарение,
даря стихотворение,
становится судьбой?..
А может, чаепитие —
на травах приворотное! —
как чудо поворотное,
связало нас с тобой.



Егор ИСАЕВ

Москва



ЖИВИ, МОЯ ЛЮБОВЬ!

(Цикл стихотворений)

Дот

Бетонный низкий лоб,
Свинцовых струй накал...
Ох, как он нас тогда,
Безусых, подсекал
И замертво валил
В траву перед собой.
И редко кто из нас
Про тот расскажет бой.

Незабвенный

Ни тени, ни следа
От звёздочки фанерной...
Он — неизвестный, да,
Но он — и незабвенный:
Ему — и долгий век,
Ему — и год, и миг
От нас от всех, от всех
Оставшихся в живых.

* * *

Те дни ещё во мне не смерклись, не поблёкли.
Там всё ещё грохочет линия огня,
И смерть, как в перевёрнутом бинокле,
Друзей моих относит от меня...
И эту даль обратно не вернуть.
Ну разве что бинокль перевернуть.



Боец

Был шаг его как шаг, теперь он так — шажок
С опорой на корявый посошок,
С надеждой на добро, зато в горячих спорах
За правду-матку он всегда, как порох,
Готов к огню. А что в коленях шаток,
Так это у него лишь частный недостаток.

* * *

Кто это сотворил — ищи теперь виновных.
Такой уж, видно, нам достался век:
Во власть поставлен господин чиновник
И оттеснён от дела человек.
А здравый смысл? Он выставлен за дверь.
Скажи, Создатель, как нам быть теперь?

Сатана

Он днём и ночью, как внештатный ветер,
Инкогнито гуляет по планете:
То спереди зайдёт, то подвернётся сбоку,
Сбивая с толку новую эпоху.
И так по всем верхам, по закоулкам разным...
Бог истиной живёт, а сатана — соблазном.

Одному академику

При деньгах не всегда, а иногда без денег,
Он рос как человек, товарищ академик.
Не потому ль его сам занебесный Нобель,
Оглядывая мир, не просто обособил,
А приобщил умом, соответствуя моменту,
К его величеству — товарищу студенту.

* * *

Душой я знаю, что такое честь,
А грешным телом — что такое больно.
Из всех команд, какие только есть,
Мне по душе одна команда — «вольно».
А если где немного согрешу,
То я писать об этом не спешу.

* * *

Нет, я любить тебя уже не перестану,
А загрузу когда — из-под земли достану
И воскрешу в строке своей неброской:

Живи, моя любовь, несломленной берёзкой
И под окном моим ветвями шелести...
А если что не сбудется — прости.

Предпочтенье

Кому в Париж, кому на отдых, в Ялту,
По разным там бетонам, по асфальтам,
От шумных мест до тихого порога —
Какой ты б ни была, люблю тебя, дорога.
Но больше всё же я тропу люблю.
Тропа — она поближе к соловью.

* * *

Мне снился сон: по ледяному насту
На лыжах от меня уходит внучка Настя.
Ещё бы чуть, ещё бы шаг в полшага —
И я б её догнал у города Чикаго
И возвратил в Москву...
Но разразилась вьюга...
Ну как ты там теперь живёшь,
Моя Настюха?





Елена ИСАЕВА

Москва



* * *

В зеркале заднего вида
Вьётся кусочек дня.
Солнечная Колхида,
Не отпуская меня.

Сколько дорог отмерил?
Где замыкаешь круг?
Это для греков — север.
А для России — юг.

За полшага до счастья
Вспомнишь на вираже:
Внешней войны опасней
Эта война в душе.

Плавно летит машина,
Еле ползёт арба.
Всё, что сама решила, —
Перерешит судьба.

Коль защититься нечем,
Значит — иди на риск.
Видишь: на шее жемчуг
нежных холодных брызг...

Море ласкает пылко,
И закипает кровь.
Это для греков — ссылка.
А для меня — любовь!

Вот дойду до перекрёстка —
Оглянусь тогда!
Слишком быстро, слишком просто

Я сказала «да».
Мне давно уже не двадцать,
Где на всё табу.
Я умею не смущаться,
Различив судьбу.

Зимние песенки

1.

Очень скользкая тропинка — наплевать!
Хорошо, что можно падать и вставать,
Хорошо, что можно шишки набивать,
Хорошо, что научилась забывать.

Там за ёлками виднеется окно:
В телевизоре отличное кино,
И камин, и тёмно-красное вино...
Впрочем, даже если что-нибудь одно,
Смысл дойти туда имеет всё равно.

Я слагаю эти строчки на ходу,
Про значительное и про ерунду,
Я себя гармонизирую внутри,
Чтобы душу перестроить — раз, два, три!

На порог, куда ведёт меня стезя,
Я ступлю — уравновешенная вся.

2.

Выйду к озеру случайно,
Где зима со всех сторон.
В соснах белку замечая,
Отключаю телефон.

Что-то, может быть, пойму я? —
Разлеплю уже глаза,
Подключаясь напрямую
К веткам, снегу, небесам,

Пересматривая крупно —
Что, зачем и почему, —
Недоступна, недоступна,
Недоступна никому!

* * *

Если я гляжу в окно ночное,
Звёздный свет ловлю издалика,
Если я ещё о чём-то ною —
То не всё потеряно пока,
То ещё, пожалуй, есть возможность



Быть живее прочих неживых.
 Берегись: одна неосторожность —
 И слова оборотятся в жмых.
 Что карета в тыкву — непечально:
 Путь ногам привычнее в пыли.
 Только бы слова внутри звучали,
 Только б жизнь вмещать они могли.

* * *

По весне вспоминаешь, что запрещала себе
говорить.
 Забывала себя работой, заботами рот затыкала.
 Думала — научиться курить,
 Но стресса для этого, видно, пока что мало.
 Зато научилась чувствовать наполовину, так,
 Чтобы не выпустить бури из подсознания,
 И если прохожий плечом толкнёт, то сказать:
«Дурак», —
 Но про себя и прощая его заранее.
 И когда загуляет Анька: «Я сегодня, знаешь ли,
не домой...» —
 Скажет, однозначно так улыбаясь —
 Эту радость усвоить, как витамин, самой —
 Вспомнить, что не способна на зависть.
 И уже не бояться, что, если откроешь рот,
 Может случиться, что не издашь ни звука,
 Значит, научишься молча идти вперёд.
 Где обновление — там непременно мука.
 Что ж теперь делать, если кризис среднего
 Возраста грянул вместе с кризисом мировым?
 Верить, что нет во вселенной числа последнего,
 Сладко вдыхая сжигаемых листьев дым.

* * *

А возраст мой такой опасный —
 Не пожелаешь и врагу!
 Я в сорок лет себе несчастной
 Любви позволить не могу.

Я не хочу тебя неволить,
 Но в этом мне не прекословь:
 Всё, что могу тебе позволить, —
 Одну счастливую любовь!

* * *

Знаешь, это всё болезни роста.
 Спросишь, как депрессию лечить?
 Отвечаю — в целом, очень просто
 Чудо от нечуда отличить:

Пусть тоска ознобом, как простуда,
 Лучшие мгновения крадёт —
 Даже если ты не веришь в чудо,
 Всё равно оно произойдёт.

* * *

Я судьбу не искалечу,
 Никого не подведу.
 Я пришла к тебе на встречу
 В незапамятном году.
 Ты смеялся на балконе
 И стихи читал с листа...
 Выводите, хлопцы, коней,
 Отворяйте ворота.
 Ты тогда расставил точки,
 Улыбнулся, был таков,
 Чтоб во мне звучали строчки
 Разных песен и стихов.
 Жизнь с тебя снимает стружку,
 И, пожалуй, не одну.
 Выпьем с горя, где же кружка?
 Ей в другую сторону.
 Принимая век на плечи,
 Усмехнешься сквозь года...
 Рифма лечит, рифма лечит,
 Рифма лечит иногда.





Инна КАБЫШ

Москва



* * *

Это вам они нулевые —
в горле ком и хомут на вые,
это вам девяно́ —
стые —
холостые,
то бишь пустые.

Но не терпит пустот природа,
и не терпит пустот Россия.
Это вы остались без плода,
а я родила в них сына.

* * *

Пора, мой друг, и нам с тобою
замыслить собственный побег.
И я уже готова к бою
за нас, мой главный человек.

Давай поселимся на даче —
не на своей, так на чужой —
и станем жить с тобой иначе,
точней, как все: как муж с женой.

Прощай, эпоха романтизма —
цветов, свиданий и разлук...
Да будет дом, семья, отчизна.
Да будет Бог! Пора, мой друг...

* * *

Михаил Афанасьич наврал:
никакого не будет покоя.
Будет ад. Будет рай. Будет зал —
ну, приёмного вроде покоя.

Все мы будет сидеть там рядком —
тихо-тихо, негордо-негордо.
Будет в горле, наверное, ком.
(Если там вообще будет горло.)

Если вызовут первой меня,
ты, мой свет, оставайся на месте:
нет покоя, всё это фигня,
но, Бог даст, мы окажемся вместе.

* * *

Свобода от любви и от тетрадей.
Такая лёгкость — сохрани Господь.
Осенний парк день за день всё прохладней,
и под ногами кровь его и плоть.

Я не спешу: мне никуда не надо.
Ещё день-два — и доставать пальто.
Свобода — это высшая награда.
Пусть будет так:
но, Господи, за что?..

* * *

Осень,
изменница,
волчья сыть,
мягко стелила, а вышло — жесьть.
Стало сегодня мне не с кем пить —
завтра мне нечего будет есть.

* * *

Все разбежались по своим делам,
и только я осталась не у дел.
Не знаю, мастерская или храм
осенний парк,
но как он поредел.

И хоть заплачь, хоть крикни, хоть умри,
никто к тебе вовек не подойдёт,
и только утки — их осталось три —
отложат ненадолго свой отлёт.

И только пёс — один, без поводка —
посмотрит, пробегая, на меня.
Хоть попросил бы кто-то огонька,
хоть обокрал бы кто среди бела дня.

...А листья так дорожки замели,
что дворникам уже не разгрести:



я под собой не чувствую земли,
как будто кто унёс её в горсти.

* * *

Зимой, когда страшно просто взглянуть в окно —
не то что куда-то ехать, хороший мой,
когда по утрам за окном до того темно...
короче, нашей отечественной зимой,

когда я со всеми вместе иду к метро
и в сумке бездонной моей вся война, весь мир,
все слёзы мира, всё зло его, всё добро —
и йогурт, а иногда кефир,

когда я штурмом, как крепость, беру вагон,
где глупо держаться и трудно порой дышать,
где я засыпаю стоя и вижу сон,
где ты не ушёл и где живы отец и мать,

где все до того близки мне — со всех сторон,
что чья-то ушанка мне лезет упорно в рот, —
я вдруг понимаю, что я —
это, в общем, он,
прости за пафос,
имея в виду народ.

И если меня не грохнули в тридцать пять,
и если я не повесилась в сорок семь,
то, значит, надо как-нибудь доживать
не то чтоб назло или на радость всем.

А просто — проехали —
всё —
не вернёшь билет —
и с каждым годом светлее моя печаль,
и смысла теперь умирать никакого нет,
поскольку старых —
их никому не жаль.



Евгений КАМИНСКИЙ

Санкт-Петербург



Пророк

А. К.

Жизнь обростала складками барокко,
на площадях бесчинствовал порок...
А лирик в чистом рубище пророка
поплевывал уныло в потолок.

Имело ль смысл витийствовать с балкона,
предсказывая толпам времена,
что истину поставят вне закона
и числами заменят имена?!

Уж он-то знал, в безбожной Ниневи
хоть внемли тьме, хоть немоте внемли,
а жизнь давно есть форма анемии
и вкуса не имеет соль земли.

А во дворе в картузе птицелова
пастух, свистя, пускал под нож овец...
Молчал пророк и всё не мог на слово
заветное решиться наконец.

Он думал: ну на что ещё годится
пророк, открывший рот, как не на смерть?!
И даже не глядел прохожим в лица,
самим собою быть боясь посметь.

Он был способен только на мычанье,
когда ему от имени толпы
вручали статуэтку за молчанье
порока бесноватые столпы...

Он чувствовал, что скоро быть потопу,
и маялся: не время ли ему



по-тихому отчаливать в Европу,
где выше слова ценят тишину?

Где с совестью не будет той мороки,
не рявкнет чернь, какого, мол, рожна,
где попросту не водятся пророки,
поскольку правда мёртвым не нужна.

* * *

Ну, как вам там, под спудом, мертвецы?
дотерпите до Страшного суда?
Изъели до костей, небось, истцы —
ползучие ударники труда?

И мы, по списку, скоро будем там,
мучительно под натиском плиты
даруя жизнь нечаянным цветам.
Хотя кому нужны сии цветы?!

Кладбищенский нарушив этикет,
лишь праведник подвыпивший, к шести
спешащий, этих лютиков букет
рискнёт несчастной дурочке нести.

Лишь заживо раздавленный судьбой,
ища в них те, родимые, черты,
и может так, с закушенной губой,
пытать их: ну, скажи мне, это ты?

И, словно отвечая на вопрос
о качестве того небытия,
тот, кто сюда из вечности пророс,
весь от любви сияя, шепчет: я!

Дом

Медленно летит стальная баба,
и душа сжимается: «Не на...»
но по взмаху грозного прораба
с тяжким вздохом падает стена,

открывая улице бесстрастно
всю изнанку жизни напоказ:
полосатый окорок матраса,
абажур, корыто, керогаз...

Баба печь холодную обрушит,
шваркнут чугуны по полу — вжик!
Выпорхнут чумазые их души
в небо, и ощерится таджик.

Гастарбайтер жалости не знает
к пережиткам прошлого, зане
тот, кто здесь не строит, а ломает,
тот ценим на родине вдвойне.

На чужбине люду пожилому
этому куда, как не вперед?!
Кто умеет резать по живому,
тот последним, истинно, умрёт.

Дом лежит: зияют раны окон...
Зоркостью ордынца знаменит,
гастарбайтер зрит орлиным оком,
как стекло на сколах кровенит.

Как, уже землистого оттенка,
словно насмерть раненный в живот,
шевелия обоями на стенке,
дом ещё мучительно живет.

* * *

Уныньем зажатый в тиски, искал я не мыс
вдохновенья,
а тихую пристань тоски и волчью яму забвенья.
Зверела народа орда, в каракуль попрятавши лица...
Такие пришли холода, что мраморным мог
я свалиться

в заснеженном Летнем саду на лёд запорошенной
Леты,
куда я, с собой не в ладу, являлся чеканить сонеты.
О, если б я мог на бегу шелкать, как А. С., там
словечки!
Тогда б Аполлоном в снегу не стыл бы на чёрной
той речке.

Умел бы качать я права, спокойный, как
автоответчик,
не ели б мне душу слова — те, что посильнее
словечек.

Плевал бы на жизнь я легко, что смерть мне
была б, сладкоежке?! —
бокал недопитый клико, забытые где-то орешки...

Здесь только у Кушнера блат: как на Авраамово
лоно
посмертно попасть в Летний сад, бродить там
вокруг Аполлона,
возвышенных чувств не тая к бессмертным богам
и не зная,
что мраморный сей — это я, поэзии бездна иная.



* * *

Брошено слово, а отклика нет, хоть умри.
Только идут на поверхность одни пузыри.
Если ты не был хотя б иногда шестикрыл
в битве с глаголом, то лучше б ты вовсе не был.

В анатомичке покажут тебе, кто ты есть!
Смерть не простит даже вечно живых. Это месть
истины той непреложной, бросающей в дрожь,
что человек, ковырни его глубже, есть ложь...

Что же ты хнычешь?! Подумаешь, мимо прошла
слава людская дурацкой походкой осла.
Разве с небес для похвал ты сорвался сюда,
а не для смут и отчаянной брани суда?!

Вот и ступай себе с миром, покуда не бьют,
рук не ломают нелепым зачинщикам смут.
Слёзы твои? Мир вполне обойдется и без,
синь обдирая да звёзды срывая с небес.

Поторопись. Ибо жареным пахнет не зря.
Уж над кварталом кровавая всходит заря.
И подбирается грозная к миру волна,
и собирается с ним расплатиться сполна.



Бахытжан КАНАПЬЯНОВ

Алма-Ата, Казахстан



* * *

На горной дороге в тумане,
На горной дороге в снегу,
Как будто бы мелочь в кармане,
Случайно найду я строку.

И, вторя, ей горная речка
Весёлую пару найдёт
У мостика возле местечка,
Где речка даёт поворот.

Строфою рождается образ
И птицею бьётся в строфе.
И эта вся горная область
Поэзией выйдет к тропе.

И — облаком дышит в долине,
Где к осени греет костёр.
И — холодом веет к вершине,
Где беркут крыла распростёр.

На горной дороге в тумане,
На горной дороге в снегу
Нас мир окружающий манит
И следом рождает строку.

А я ничего не умею,
А я ничего не хочу.
А я перед этим немею
И не зажигаю свечу.

Я просто пишу стенограмму,
И авторство мне ни к чему,
Но путь мой к небесному храму
Не повторить никому.



* * *

Яну Августу

Я кочевник с авиабилетом,
Визами мой паспорт испещрён.
Покидает лайнер в час рассвета
Этот изумительный район.

Хорошо проснуться в Амстердаме,
А завтра прилететь в Париж.
Мимолётом все проходит в драме,
В сердце бьётся непутёвый стриж.

Манит берег Средиземноморья,
Осень Новой Англии влечёт.
Тень бросает на скалу предгорья
Маленький спортивный самолёт.

Знаете, какого цвета остров,
Неизвестный остров с высоты?
Цвета неба, с облаком он просто
Вновь перемешал свои черты.

За стеной небесного Китая,
В Сингапуре ожидает друг.
По душе орбита кочевая,
Где за кругом новый выйдет круг.

Мне бы чайку Джонатан в подруги,
За пределы сферы перейдя,
Невесомость впитывать в испуге
И снимать всю тяжесть бытия.

Мне земля мала для этих странствий,
Я в полёте воплощусь в стихи.
На закате умственного транса
Подчитаю визы и грехи.

* * *

Яблоком дышит Нью-Йорк,
Райскую сделку пророчит.
Незатихающий торг
Неутихающей ночи.

Бар превращён в общепит
В духе совковых соседей.
С плеером нищий сидит,
Слушает музыку меди.

Кину я квотер с ленцой,
Он усмехнётся лукаво.

Травкою пахнёт,
Пыльцой
С примесями какао.

* * *

Мне мудрое молчанье старика
Дороже беспроцентного кредита.
И в этом моя прибыль велика,
Что поделюсь с ним пайкой общепита.

Не примет он, его укор
Не в том, что мудрость постигаю,
А в том, что жив он до сих пор,
А я страны его не знаю.

Рассыпалась его страна,
И канула его эпоха.
На эти лёг он времена
Всем существом чертополоха.

* * *

Затаилась в кронах осень,
Шелестит листва.
Ни о чём она не просит,
Ни к чему слова.

Как по древнему поверью:
Нас в природе нет.
Только чёрные деревья
Сквозь осенний свет.

* * *

Ночная электричка,
Вне расписанья путь.
Тьму озарила спичка,
Обозначая суть.

Пройдя жилую зону,
Мне суждено сойти.
К небесному перрону
Все сходятся пути.

* * *

...И сквозь ветровое стекло
Мой воздух свободы дымится.
На взлёт расправляет крыло
Под ливнем продрогшая птица.



А дворников тягостный скрип
 Как будто от тяжкого вздоха.
 Не в фокусе видеоклип,
 И — в мутном потоке эпоха.

Случайный я в ней пассажир,
 Сродни мне озябшая птица.
 Нам, чтобы постигнуть эфир,
 Поможет ночная страница.

* * *

Стучат колеса, вырывая
 Тебя из тишины земли.
 Не станция ли узловая,
 Огнями и людьми встречая,
 Развяжет узел твой вдали?
 В дороге даль земная гложет.
 Эффект вагонного окна
 В ночной степи
 Твой облик множит
 И где-то там судьбу итожит,
 Что за окном отражена.



Валентин КАРАСЁВ

Москва



✉ Почта
ДП

* * *

Пути Господни неисповедимы,
 Но сколько б ни кружился стрелок ход,
 Мечтой влекомы иль судьбой гонимы,
 Проходим мы свой путь неутомимо
 Из века в век, из года в новый год.

Наполнив свет прохладой ожидания,
 На перепутье дат стихает ветер.
 Разлуки тают вместе с расстояньем.
 Рождает сокровенные желанья
 Волшебной сказкою оживший вечер.

Искрящиеся в лунном свете льдинки —
 Как воинов скрещённые мечи,
 Танцующие первый вальс снежинки,
 Созвездий свет на праздничной картинке
 И пенье ангелов, звучащее в ночи.

Судьба в пушисто-белоснежной шали,
 Позёмки змейка по лесным дорогам.
 Живая вера, что сильнее стали.
 Любовь с надеждой и чуть-чуть печали
 В святую ночь, дарованную Богом.

* * *

Порою кажется, что всё утрачено,
 Пьёт отчуждение, как кровь, нужду.
 Но что поделаешь, за всё заплачено.
 Один-единственный чего-то жду.

Мечтами старыми судьба не делится,
 Шьёт из ненужности узоров ряд,



Бесцветной лентою тропинка стелется
В леса безликие, что ловят взгляд.

Берёзы шепчутся, а ивы клонятся.
Душа заблудшая творит мольбу.
Лес зачарованный не скоро вспомнится,
Проросши зеленью через судьбу.

И часто чудится, что не кончается
Миров соцветие и душ парад.
На круги прежние всё возвращается
Крестами белыми среди оград.



Светлана КЕКОВА

Саратов



* * *

Витражами строки заслоняя любовь и природу,
ты сидишь у реки и глядишь на бегущую воду.
В травяном уголке, раздвигая осоку руками,
видишь ты, как в реке пляшет рыба с семью
плавниками,
как танцует она, раздвигая алмазные звенья,
а в её чешуе драгоценные пляшут каменья.

Как тебе хорошо заниматься работой тонкой:
выдуть мыльный пузырь, чтоб светился он
радужной плёнкой,
из цветного стекла сделать жёлтый нарцисс
или крокус
и при помощи слов показать удивительный фокус:
то, что было желанным, немедленно сделать
туманным,
а к невесте жених пусть путём добирается
санным —
как когда-то плутал упоительный Пушкин
в «Метели»
и для Бэлы покинутой Лермонтов рвал иммортели.

Но потоки бегут от Голгофы, Фавора, Синая:
чрево мира расселось ли, ось ли сместилась земная,
подвигаются горы, встают на дыбы океаны,
и на теле стиха открываются рифмы, как раны.
Если б ведали вы, неразумные дети былого,
что над миром царит человеком распятое Слово,
через все континенты летят океанские брызги
и у входа в Содом соляные стоятobelisks.

Витражами строки этот мир заслонить
не смогли мы:
плачут дети вселенной, как наши сиротские зимы,



но куда пространство ещё не свивается в свиток,
мы читаем, рыдая, слова новогодних открыток,
а за ними — вдали — прозреваем уже неземные
тишины водопады, молчанья дожди проливные...

* * *

Я люблю смотреть на слоистый лёд,
на пчелиный рой, на вороний полк,
а поэт заносит из года в год
имена любви на бамбук и шёлк.

Там их можно будет легко прочесть,
там откроет тайну тебе монах,
что любой любви воздаётся честь
в числах, знаках, символах, именах.

Я люблю на сердце похожий плод,
облаков и туч чужеземный флот,
я люблю стремительность их атак
и шальной черёмухи белый флаг.

Я люблю каштана завод свечной,
беготню в траве муравьиных слуг,
блеск звезды ночной и воды речной
и ещё люблю я тебя, мой друг.

Как печётся Бог о своих птенцах!
В небесах звучит потаённый хор,
ну а мы стоим в золотых венцах
среди вод морских, средь высоких гор.

И нельзя сказать, как наш дар высок,
и деревья молний вросли в песок,
катит бочку гром по крутым волнам,
и священник с Чашей выходит к нам.

* * *

Кто там вздыхает и ходит по водам в затоне
в виде крылатого юноши в белом хитоне?
В воздухе кружится бабочка в платице детском,
слышатся стоны в дремучем лесу соловцом,
а над обломками потом пропахших полатей
в облаке белом Зосима стоят и Савватий.

Кто-то тайком посещает речные заливы
в виде крылатого юноши с веткой оливы.
Вновь над озёрами радуги встали, как арки,
в море разбуженном топят гружёные барки —
нет, не камнями набиты они, не дровами...
На Валааме поникли цветы головами.

Божий посланник приходит сюда, как и прежде,
в виде крылатого юноши в белой одежде,
видит, как с горки весёлые катятся санки
там, где следы оставляли немецкие танки,
там, где когда-то метался и шарил прожектор,
крепости строит среди облаков архитектор.

Кем нам приходится он, этот пламенный зодчий?
Новыми душами дом наполняется отчий.
В чреве у матери плачут бездомные дети,
где им скитаться — на том ли, на этом ли свете?
Полнится воздух каким-то разбойничьим

свистом —

юноша-ангел в хитоне летит серебрястом.
Там, в высоте, где звучала небесная арфа,
смотрят на землю, обнявшись, Мария и Марфа.

Памяти Анатолия Соколова

Смотри, как улетают птицы...

А. Соколов

1.

Две птицы — Блаженство и Ужас —
летят, опереньем горя.
Купаются голуби в лужах
в последние дни октября.

В печальные дни листопада
душе утешения нет,
но грешникам, жаждущим ада,
дарован особенный свет:

он страждущим листьям осенним
несёт долгожданную весть
о том, что чревата спасеньем
тоска, пережитая здесь,

что станут иконою Спаса
осенней листвы вороха,
что тайною смертного часа
очищена бездна греха.

2.

Села на ограду золотая птичка.
Горевать о прошлом — горькая привычка.

Забывать о прошлом — мелкая уловка...
Золотая птичка, светлая головка.

Светлая головка, маленькое тело:
золотая птичка с неба прилетела,



и поёт о рае нас, погибших, ради
золотая птичка, сидя на ограде.

3.

Ты плачешь слезами сухими,
с собой расстаёшься навек,
когда превращается в имя
знакомый тебе человек.

Шепчу, содрогаясь от боли:
Вальхалла, Аид и Шеол...
Куда же ты спрятался, Толя?
Куда и зачем ты ушёл?

Звездою серебряно-плоской
украшен под вечер погост,
и плачет в одежде сиротской
по Толе Спартаковский мост.

А он в неземной атмосфере
с нездешнею скрипкой в руках,
как Моцарт, простивший Сальери,
в блаженных плывёт облаках.

4.

Когда нам сказали: пространство открыто,
мы двинулись молча сквозь лес алфавита,

сквозь дебри согласных — шипящих, сонорных,
сквозь заросли знаков — то белых, то чёрных.

Мы двинулись молча сквозь облако гласных,
парящих над миром в одеждах атласных.

Сквозь все языки, диалекты, наречья
прошла говорящая плоть человечья.

Зачем? Чтоб изведать молчанья законы.
Зачем? Чтоб увидеть слова, как иконы,

чтоб вещи увидеть знакомые — им бы
пришлись по душе их словесные нимбы,

увидеть, как голуби на колокольнях
клюют наше прошлое в рифмах глагольных,

увидеть страданье как зону сиянья,
а смерть — как загадочный знак препинанья.



Виктор КИРЮШИН

Москва



Желание

Солнца медленное кружение,
Свет последний неугасим.
Это время самосожжения
Клёнов, ясеней и осин.

Ни безверия, ни распада...
Так бы встретить суметь и мне
Время грустное листопада,
Угасающий свет в окне.

Не юродствуя, не озлобясь,
Камень ближнему не тая,
Чтобы раньше на миг, чем совесть,
С белым светом расстался я.

* * *

Индевеют лодки на приколе.
Гол и светел краснотала куст.
За рекою конь в остывшем поле
Чутко осень пробует на вкус.

Он травы касается губами,
И в глазах от жёлтого рябит.
Стылый ветер, пахнувший грибами,
Как ребёнок, гриву тербит.

Вестниками скорого мороза
Листья вдаль уносятся, шурша.
Мужики стоят у перевоза
И в молчанье курят не спеша.



В час, когда на белом свете сирю,
Мучит тайна каждого своя:
Одного — непостижимость мира,
А другого — краткость бытия.

* * *

Метель в Москве —
Какое чудо!
Среди машин и галдежа
Летит, как будто ниоткуда,
Снег, над бульварами кружа.
И чудится: идёт сраженьё
Добра и зла
В крошечной мгле,
Чтобы к утру
Преображеньё
Нам просияло на Земле.

Прибавление дня

Вовсю метель гудит ночами,
И неприметен к лету сдвиг —
Да мы и дней не замечаем,
Не то что краткий этот миг.
Но кто-то угли теплит в горне
И отнимает миг у тьмы,
И под землёю слышат корни
Всё то, чего не слышим мы.

* * *

Ночью проснулся от крика,
Мучило: был он иль нет?
Лишь перевозданно
И дико
Лунный колышется свет.

Свет неземного накала
В небе, на белой стене.
Ты ли меня окликала
Или почудилось мне?

Снова из тьмы законной
Луч этот вырвал на миг
Твой беспечальный,
Иконный,
Незабываемый лик.

Между былым и грядущим
Не отыскать рубежа,

В непостижимом и сущем
Вновь заплутала душа.

Чтобы в немыслимом свете,
Там, среди звёзд и комет,
Мучиться и не ответить:
Были мы в мире иль нет?

Зимняя река

Даже ворон не крикнет. Откуда?
И полозья не скрипнут. Куда?
Комариного звонкого гуда
Не осталось давно и следа.

Только стужа ворчит, матеря,
Да метелица путает след,
Вместо жаркого цвета кипрея
Рассыпая серебряный цвет.

Где трепещет сухая осока,
Обнаженная стонет ветла —
Гулом крови,
Движением сока
Жизнь как будто недавно была.

А теперь, словно в доме без окон,
В этой чёрной воде подо льдом
Затаился воинственный окунь,
Дремлют чуткая щука и сом.

Ходит солнце по низкому кругу,
Гаснут стылые дни вдалеке,
Чтобы снова по кроткому лугу
Вышла цапля к ожившей реке.

Это дерево знает и птица,
И вода понимает и твердь:
Можно заново будет родиться,
Если только рискнешь умереть.

* * *

Утренним лугом бегу —
Маленький, светлоголовый.
Цапля на отмели ждёт..
Никогда я не буду счастливей!



* * *

Какое счастье пёрышком скрипеть!
Переводить лиловые чернила.
Описывая то, что учинила
Над нами жизнь,
Её перетерпеть.
За веком не стремиться поспешать,
Земные сроки меряя чинами.
Какое счастье медленно ветшать,
Как шуба, позабытая в чулане!
Всё проиграть, но партию спасти.
Пройти в ферзи, изображая пешку,
Чтобы шутя триумф перевести
В пародию, иллюзию, насмешку.

* * *

Словно солнца весёлые слитки,
Накануне осенней поры —
Золотые шары у калитки,
У крыльца золотые шары.

За горами ещё, за долами
Снеговой, заметающий след.
Я люблю это жёлтое пламя,
Угасающий трепетный свет!

Межсезонья штрихи и детали,
Остывающий полог небес.
Всё яснее заречные дали,
Всё безмолвнее поле и лес.

Буду слушать — такая удача! —
Отходя безмятежно ко сну,
На вчера ещё суетных дачах
Неземную почти тишину.

Всюду радости этой приметы,
Как грядущего чуда ростки.
...У крыльца лепестки золотые,
У калитки твоей лепестки.

* * *

Еле слышен из-за леса,
Где оранжевый восток,
Подзабытый звук прогресса —
Электрички стукоток.

От добра добра не чаю:
Одинок — и что с того?

Вот и нынче не встречаю,
Слава богу, никого.

Не юрод и не отшельник,
Потому что каждый миг
Речка, луг, дорога, ельник
В собеседниках моих.

Эта хата хоть и с краю,
Да зато не в тупике.
Никого не окликаю
В непроглядном далеке.

Лишь одним страшит граница,
Где сгорит житьё-бытьё:
Вдруг и на небе продлится
Одиночество моё?





Александр КЛИМОВ-ЮЖИН

Москва



* * *

Я многих знал и многие меня,
 Наверняка, их проступают лица
 Из камня, ивняка,
 Зачем же среди дня
 Среди могил мне жутко очутиться
 На кладбище мертвецком одному,
 Мне одному на кладбище мертвецком,
 Где я стою в оцепененье детском
 И сумерки смыкаются во тьму?
 Здесь мать, отец и вся моя родня,
 А я один, тень выдаёт меня.
 Не численный к живому перевес
 Меня страшит, а мера отчужденья,
 Что душу леденит,
 Хоть узами рожденья
 Переплетён, сколочен накрест здесь.
 Не так один, как Боже, одинок —
 Существованья вянущий цветок.

* * *

Пока я нёс цветы, цветы опали.
 Вот так же я стихи не доносил
 К столу, и строчки лучшие пропали,
 Которые в пути забыл.

Пока я жил в себе, дни отлетали
 И падали без дат с календаря.
 Да что там горевать — стихи пропали.
 Пропала жизнь, загубленная зря.

Я сам, как жёлтый скверик, облетаю,
 И каждой клеткой тает плоть моя.
 Ежесекундно сам себя теряю
 И сбрасываю кожу, как змея.

Добро б с нуля, да белая страница,
 Как зыбко всё, всё склеить как-нибудь,
 Всё вспомнить, всё срастить, омолодиться,
 Но ничего почти что не вернуть.

Да и вернуть захочется едва ли,
 А, впрочем, я не о себе, а про
 Цветы, цветы, которые опали,
 Цветы, цветы, поставьте их в ведро.

Но вежливость неловкость искупает,
 Неловкость, да, она смешна во мне,
 Что розы, даже кактус облетает,
 Представьте, кактус на моём окне.

Дежавю

То ли дней бесшумных вереница,
 Господи, прости!
 В темноте пропархивает птица,
 Стрелки без пяти,
 А чего — не различишь во мраке
 Без чего там пять.
 Петухи попутали, собаки —
 Спать или вставать.
 Ожиданья смертная истома,
 Время не идёт,
 В праздники ли, в будни, на работе ль, дома —
 Так проходит год.
 То ли дней бесшумных вереница,
 Господи, прости!
 Снова дежавю, всё та же птица,
 Время — без пяти.
 Отхлебнёшь от горлышка до донца,
 Вроде без забот.
 Встало солнце, закатилось солнце,
 Кончился завод.

* * *

Текло, коротило, ломалось весь год,
 Как старец замучил вконец закидонами:
 Нельзя на балкон или наоборот,
 Пожалуйста, но не ходить под балконами.

И всё же не верится, дом ли то мой?!
 Пропискою сроком на чёртову дюжину.
 Так тихо, как труп, пустота за стеной,
 И мне не зачем ни к обеду, ни к ужину.

И сил уже, кажется, нет отворить
 знакомую дверь, подпирая соседскую:



Замок заедает, и страшно вступить
В квартиру пустую, почти как в мертвецкую.

Покинут, я знаю, ты скоро умрёшь,
Разъезжен бульдозером до основания,
И щебень порушенных стен унесёшь
На свалку — следы моего пребывания.

Давно бы. Мне не за что рухлядь любить,
Покуда не плюнул совсем на себя ещё.
Но жизни, которую не возвратить,
Но липу в окошке, но клёна-товарища!

Мурашовка

Вся земля поросла лебедой.
Как я там очутился?
То ли было всё это со мной,
То ли сон мне приснился.
Только помню на взгорке погост
И тропинку в ложину,
Борщевик по краям в полный рост,
На лице паутину.
Не амбар и не дом
Весь в бойницах, под стоками кадки,
И разбросаны избы кругом
В безобразном порядке.
Незнакомая мне сторона,
И не скажешь, не охнешь:
Тишина, тишина,
От которой оглохнешь.
Мужичок-лилипуг.
Крест нательный до брюха, толстовка.
— Как деревню-то вашу зовут?
— Мурашовка.
И как только сказал,
Солнце в яму скатилось, осело;
Сам куда-то пропал,
Тут же враз потемнело.
А наутро она уползла,
Ни бревна, ни погоста,
Как бы вовсе совсем не была
Иль привиделась просто.
Да и сам я под стать мурашу —
Ноги зренью пеняют.
Мурашовка? Кого ни спрощу.
Про такую не знают.
И какой низабудусь тропой,
Водит память-ведовка.
Я на картах искал, нет такой —
Мурашовка.

Александр М. КОБРИНСКИЙ

Иерусалим, Израиль



Мгновенный сонет

Что выйдет, если с этой я начну
строки увязывать канву стихотворенья?..
Что дальше? — продолжается скольжение
вороны — села на ближайшую сосну

и — каркает! — купить-продать в ней бденье —
мой светлый дух захомутать — копну-
ка глубже я — при-ка-рррррр-ка-ла весну —
ей удалось омефистофелить мгновенье.

И я, действительно, прекраснейшим могу
назвать над кроной красный луч заката —
он гаснет — слышится мычанье на лугу..

Теченье времени до точки зримой сжато —
и там, где речка погружается во мглу;
и там, где в чёрную дыру втянулась хата!..

* * *

Высоким берегом пройдуся я вдоль реки,
где небеса срастаются с опушкой
к тому вон костерку, где пахнет юшкой,
кипит ушица, сушатся носки

с портянками — не в стаканы, а в кружки
был самогон разлит — точней руки
и глаза нет, чем у меня; и со щечи
стираю слёзы я — вокруг кружатся мушки

(быть может, шпанские) — зелёные они
и ядовитые, как злой зрачок ведьмачки..
Кто с ней целуется? — да это же двойник —



с ним всё былое совершилось возле тачки —
(видавший виды «запорожец») — и пикник
тот самый — степь за той же водокачкой...

* * *

Блаженство — ощущение прохлады,
и правда, ласковым бывает ветерок;
куда ни кинь — Восток, Восток, Восток —
при этой жести лишних слов не надо...

От пота слиплись веки: лоб, висок —
всё тело в перегрев ждало пощады
с заходом солнца — окна, анфилады —
вся твердь земная — пляж наискосок,

где берег в полдень вымершим казался;
светило спряталось за полукруг воды,
и парус, накренившись левым галсом,

катил вдоль берега вспенённые лады
и резал сумерки, в которые вписался
остроугольным клином бороды!..



Кирилл КОВАЛЬДЖИ

Москва



* * *

Возраст — это витки спирали,
старость тенью над тем, что вначале,
над ранимой юностью ранней,
где Она — всех на свете желанней,
перед кем от восторга немею
(до того, как стала моею),
и она же, с кем жизнь сложилась, —
словно век со мной не ложилась.
Середина где? Сердцевина?
Виноват, моя половина, —
я забыл...

Над началом — кончина..
А, быть может, витки — пружина?

* * *

Что такое старость? Проза
Романтической зари..
Телу брэнному — угроза
Не извне, а изнутри.
Друг-философ, дальше носа
Загляни — увидишь свет
И внезапный знак вопроса
Там, где был прямой ответ.

* * *

Я вам расскажу. Не торопите.
Я ни зла не прячу, ни добра.
Только не выдёргивайте нити
Из расцветки моего ковра.



Расстелюсь ковром, чтоб ваши взоры
Разглядеть могли мои узоры.

Обещаю... Но не очень верьте.
Весь откроюсь только после смерти...

* * *

А город мой пустеет —
мои друзья уходят
в тот лучший мир, который
всегда открыт для всех.
Старается столица
утешить — производит
очередных сограждан —
похожих, но не тех...

Сонет

Так разминулись я и ты,
Что мне себя и вспомнить странно
Влюблённым, как герой экрана,
(плюс море, музыка, цветы),

Любовь — от сладкой простоты
До наважденья и обмана,
Что говорю? — от дурноты
До откровенья и дурмана!

На высоте и с высоты —
Всё было. Лезвие Оккама...
Файл удалён — я пуст и чист?

Как бы не так! Портрет и рама.
(А в сердце рана!) Чья программа
И где безумный программист?

* * *

Неглубокий старик,
не лишённый запаса бодрости,
непреклонный в преклонном возрасте,
я какой-то вершины достиг.
Ну и что? Задаюсь вопросом:
почему всё длиннее тень
за спиной? Где вчерашний день?
Почему горизонт перед носом?



Кирилл КОЗЛОВ

Санкт-Петербург



* * *

Чего ещё? Мне только двадцать пятый...

Борис Корнилов

Всего лишь двадцать шесть... Промчится май,
Тогда мне будет двадцать семь. Всего лишь?
Снимай меня на камеру, снимай!
И всё, что я хотел сказать, — позволишь?
Итак, во-первых, это город мой,
Пророс в него, не выкорчевать ломом.
Вопрос прямой — ответ прими прямой:
Я не торгую совестью и домом!
Ничем я не торгую, во-вторых.
(Я — летняя душа.) Встречаю лето.
Все двадцать шесть ушедших лет — порыв,
Я знаю, так нельзя. Смешно, нелепо...
Но, в-третьих, сила есть у Близнецов
Последними победно улыбаясь.
В-четвёртых, есть любовь, в конце концов,
И за любовь желаю насмерть драться!
Что в-пятых? Погоди, не подгоняй,
Задержимся у Русского музея.
Всего лишь двадцать шесть... Промчится май,
Похож на молодого ротозея.
И, в-пятых и в-шестых, понятно всем:
Найти стремимся самородок смысла.
В-седьмых, мне скоро будет двадцать семь,
Кордебалетом выстроились числа.
Пойми, что я за них в ответе, друг.
Побалуемся, может, пинтой пива?
Во-первых, я услышал Петербург,
Почувствовав мелодию прилива.
И никогда Господь не забывал
Учеников, осваивавших сушу...
И золотой кораблик заплывал
В наивную, восторженную душу.



* * *

Небеса — большая душевая,
Льётся незакрытая вода...
В дело документы подшивая
По законам быстрого суда,

Люди ошибаются жестоко...
Сколько раз? Бездонное число.
Там — Христос Всевидящее Око,
Здесь — всепоглощающее зло.

Что нам делать, господа и дамы?
Граждане, гражданки, чудаки?
С кем нам по дороге и когда мы
Разберём свои черновики,

Правильно расставим запятые,
Сделаем концовку на ура?
Под ногами — листья золотые,
В памяти — шальные вечера...

Примешь ли, «прекрасное далёко»,
Нашу плоть и душу заодно?

Там — Христос Всевидящее Око,
Здесь — пожалуй, всё предрешено.

И с небес вода упрямо льётся,
Завершаю исповедь свою...
Остаётся что-то... Остаётся
Вера вопреки небытию.



Сергей КОЗЛОВ

Ханты-Мансийск



Гроза

Фиолетовый день. Электрический воздух во мраке.
Канонада грозы сотрясает трепещущий лес,
Что стоит на ветру, распустив свою зелень,
как флаги,
Принимая удары столкнувшихся в ссоре небес.

А испуганный зной вжался, впился в измятые
травы,
Птицы с криком встречают холодный и шумный
поток.
Гулко выпало небо, и из золочёной оправы
На тревожную землю скользнул электрический ток.

Весна

Ноябрём притворился апрель, вот и снежная сыпь
На асфальте, как признак болезни, как соли следы.
В небе хмарь разбухает и хмурится долгая зыбь,
Где дороги нет солнцу и места для чистой воды.

Даже в Пасху Христову срывалась с орбиты Земля
И, казалось, в порывах теряла условную ось.
То ли всадник на бледном коне, ускакавший в поля.
То ли время, прикинувшись мёртвым, за ним
пронеслось.

Что мне ваш декаданс? Мне хватает давно своего!
Брюсов мне не товарищ, и Скрябин во мне
не звучит!
Надо мною звезда Вифлеемская, Слово Его,
Что над маковкой церкви мигает в холодной ночи.



Нет тепла над Землёй? Но страшнее, коль нету
в душе...
Будет первым последний, и третьим окажется Рим.
Пусть весна и душа толерантно не лезут в клише,
Но, как мытарь последний, пойду я тихонько
за Ним.

* * *

Грусть таёжная, что меня гложешь?
И весеннего ветра псалмы
Ты мне в сердце огнями не вложишь.
Я не я, ты не ты, мы немые...
Тает снежная нынче Сахара,
И оазисов хоть отбавляй.
Стережёт порубежье Тартара
По ночам вой собачий да лай.
Снег с водой на земле и на небе,
Грусть с тоскою в промозглой душе,
И вернуться туда, где я не был,
Невозможно, похоже, уже...

* * *

Как будто поперчили стаей галок
В апреле прелом небо. И устало
Вздохнёт земля, стяхнув последний снег.
Весна, а я по-зимнему поник,
В шкафу сложила крылья стая книг,
И выветрился дух библиотек.

Притих Вивальди. Только старый клён
Альтом тягучим кем-то наделён,
На нём фальшивит ветер по ночам.
И дом плывёт по океану луж
В галактики мерцающую глушь,
Всю Землю за собою волоча...

Когда погаснут окна, фонари,
Ударится с размаху в край зари.
Ни с компасом, ни с ветром не в ладу.
Поверю сам себе, что я не трус,
Ведь я ещё не понял ночи вкус,
Окно открою, спрыгну на ходу...

Христос Воскрес!

Вдруг обновились лес и поле,
И содрогнулся свод небес,
Всё сотворённое глаголет:
Христос Воистину Воскрес!

Иссякла смерть, открылась вечность,
И шепчет, зеленея, лес,
Что видел Богочеловечность:
Христос Воскрес! Христос Воскрес!

Как можно верить в смерть и тленье?!
Как жить без Божеских чудес?!
Как не понять, не слышать пенье —
Христос Воскрес! Христос Воскрес!

Куда и как идти без цели?
И жизнь — какой имеет вес?
Когда б не знать, что в новом теле
Христос Воистину Воскрес!

Ослепший мир несётся в пропасть,
В неправде тонет лжесловес,
Но каждый год приходит новость:
Христос Воскрес! Христос Воскрес!

Мир без Спасителя бесплоден,
Не осушить без веры слёз.
Грядёт сквозь вечность День Господень!
И Судией грядет Христос!





Леонид КОЛГАНОВ

Кирьят-Гат, Израиль



После буйства океана

Доброе единое пространство
Русского пространного стиха,
Словно Океана окаянство,
Мощью первородного греха —

Разлилось во всей природной силе,
Пронеся свой океанский гул,
И меня в пустынном Израиле —
Повело в российский вновь загул! —

Мимо Гроба светлого Господня,
Мимо иудейской Плач-стены,
Его волны вырвались сегодня
Из груди бездонной глубины! —

Как валы Всемирного потопа,
Всё сметая на своём пути,
Отвали Америка-Европа,
Дай с Россией мне вдвоём побыть! —

О горячий камень спотыкнуться,
Выйдя снова на беспутный путь,
В бабьей плотской соли захлебнуться,
В бабьей душевной ночи утонуть! —

Растворюсь в моей незримой боли,
Как фантом — она во мне вопит,
Вновь вдохнуть солончаковой соли,
Пока степь в душе ещё пылит!

Доброе имперское пространство
Русского единого стиха,
Словно Океана окаянство —
В бездну первородного греха —

Вновь меня уносит окаянно,
Так что нет уже пути назад,
Знаю — после буйства Океана,
Ждёт меня сплошной разрыв-разлад!

Ждёт опять накат стихий греховных,
Сам не знаю, в день какой иль год,
И — быть может — только стих любовный
От распада личности спасёт?

Коли есть ещё чему распасться,
Если личность хоть какая есть,
Я готов всю жизнь в песках метаться,
Чтоб в снегах восстать однажды днесь!

Из глубин пустыни иудейской —
В окаянный вновь стремлюсь полёт,
И — быть может — только стих имперский
От распада — Всех и Вся — спасёт!

Льдяной след

Ладе Пузыревской

От Солима¹ до Новосибирска,
И — от Иордана до Оби
Я готов, как волк голодный, рыскать,
Господи, в охоте пособи!

Дай мне след её, льдяной и узкий,
Режет он во сне и наяву,
Остриё его, с тоской тунгусской,
Словно льдом покрытую Неву, —

К устьям уст я приложусь покорно,
Зацелую всласть уступ стопы,
Льдом Невы порежусь приворотно,
Льдом Оби пойду считать столбы —

Льдяные! — Сибирь в свой зрак вбирая,
Сам в себя всадил я след её
С нежностью фатальной самурая,
Словно льдяное лезвиё! —

Совместив, как смертник-харакири,
С ласкою последнею её,
Всё своё оставлю в этом мире,
Только след возьму в небытиё.

¹ Солим — древнее название Иерусалима.



Падаю, как метеор тунгусский...
 Всажен мне под сердце, как металл,
 След её, мучительный и узкий,
 Свет её, сияющий кристалл!

И душа рыдает вновь по-русски,
 И во мне до крышки гробовой —
 След её, такой хрустально-хрусткий,
 Свет её, единый Светоч мой!

И — когда от всех уйду устало,
 Навсегда останется во мне:
 След её, такой родной и талый,
 Свет княгини на Печаль-стене!

Небесная прана

(О воде, песке и Высшей Свободе)

Боже, дождь обрушь на нас мгновенно,
 Распахнувши жилы волглых пран,
 Чтобы расширился, словно вена,
 От прилива крови — Иордан!

Жду, Господь, что длань твоя отмерит
 Мне в удел — плач вод и стон снегов,
 Дабы — преполнясь, что Кинерет¹,
 Из песчаных я ушёл кругов —

Как река в разливе, к Океану
 Устремясь, — чтобы найти покой...
 Так вот, бросив Ясную Поляну,
 Из себя — в народ — ушёл Толстой,

Так — забыв про высшую породу,
 Трон отбросив — как гремящий ларь,
 Обретая Высшую Свободу,
 В свой народ ушёл российский царь!²



¹ Кинерет — знаменитое Генисаретское озеро.

² Есть версия, что Александр Первый не умер, а ушёл в народ.

Надежда КОНДАКОВА

Москва



Здесь

— Что ты делала *здесь*?
 — Я училась терпению, брат!
 С колокольни высокой
 на красную стену плевала,
 и плевков относило
 слабеющим ветром назад...
 — Ты хотела б сначала начать?
 — Упаси меня, Боже, — сначала!

Я была среди тех,
 кто копьём Его раны язвил,
 подносил Ему уксус,
 над крестною мукой смеялся...
 — Это ж был твой успех!
 — Да, меня и *тогда* Он любил...
 Это страшно, мой брат,
 знать, что ты в темноте состоялся...

— Ну а что же стена?
 — За стеной, как и было, темно,
 как всегда, за стеной —
 говорят, балаболят, глаголют...
 Ты и сам балаболь —
 не сажают за это давно,
 только каждый второй
 заливает свой страх — алкоголем.

— Ну а бреши в стене?
 — Ну а брешей в стене не видеть.
 Я ж тебе говорю,
 что училась терпению тоже:
 с колокольни высокой
 на красную стену плевать,



в нелюбви выживать
и писать на скрижалях без дрожи.

— Переписывать поздно?
— Чернила засохли давно.
Все подтирки, помарки,
все белые пятна — наружу...
Только хлеб и вино,
только честные хлеб и вино
и спасают теперь
поблудившую по миру душу...

* * *

Семидесятые — глухие,
восьмидесятые — слепые
и девяностые — лихие...
А нынче на дворе — *какие?*
Кто назовёт и вещим станет,
пока лжецарская возня
одних пьянит, других туманит.

...Но кто ж из них теперь обманет
всё пережившую — меня?!

* * *

В Москве исчезли площади и скверы,
а вместо них — о, чур меня, о, чур! —
возвысились нелепые химеры,
пародии былых архитектур.

И там, где мы впервые целовались,
где воздух был от счастья голубой,
дома друг к другу жалобно прижались,
потом исчезли, как и мы с тобой.

* * *

Две белые кофточки с юбкою узкой —
что надо ещё мне теперь для души?

Ну, может быть, память с её перегрузкой,
да, может, скамейка, где спят алкаши.

На этой скамейке, о Боже, о Боже,
как долго нам грезился счастья обвал!

Какие жары и морозы по коже
ходили, когда ты меня целовал!

Мы просто расстались. А может, не просто,
а может быть, чья-то слепая рука

водила судьбой, отдирала коросту
с бескостного, злого её языка.

И стало греховным, что было безгрешно.
Но время прошло. И утихла родня.

И вот я стою у скамейки, и нежно
сам пух с тополей облетает меня...

* * *

Здравствуй, дятел! Ты, наверно, спятил,
что уселся под моё окно.
Даже дождь его законопатил,
даже днём здесь пусто и темно.

Я ведь тоже, долго веря в чудо
неподкупной совести людской,
в мир стучалась средь вранья и блуда
детскою неопытной рукой.

А теперь, почти уже над бездной,
где нельзя помочь и перемочь,
сердцем, словно манною небесной,
я кормлю отчаянье и ночь.

* * *

Присяду на пенёчке и увижу:
вот майский жук, вот маленький цветок.
В лесу природа целостней и ближе,
а ум — неповоротлив и жесток.

Возьмёшь букашку и раздавишь разом,
сорвёшь листок и разотрёшь в горсти:
и целостность — накрылась медным тазом,
и нет к соединению пути.

Вольность

Марине Кудимовой

Осточертели гекзаметры русские —
необязательность мелосов, слов.
— Кто вы такие? — Да брянские, курские...
— Что вы в Москве? — Ну да вроде послов.

Вроде послов этой вечной глагольности,
этих разъезженных вусмерть дорог
и до сих пор не прочитанной «Вольности»,
или прочитанной, но — поперёк.



Вот и катаются пустопорожние
речи, посланья и громы побед.
Нету на хлеб — ну так ешьте пирожные!
Нету дорог — так ходи в Интернет!

Кто мы такие? И знаем ли сами,
что мы хотим и живём для чего,
если *неправедны власти* над нами?
(Это лишь Пушкин — не больше того!)

И неужели был прав Чаадаев:
нам — по обочинам мира бродить,
едем — доедем ли? — вечно гадая,
вечную душу тоской бередить?

Бредить, нудить, переписывать Бродского,
мелкою мушкой пристать к янтарю...
— Кто вы такие? — Да мы новгородские,
вольные мы! — Вот и я говорю...



Валентина КОРОСТЕЛЁВА

*Железнодорожный,
Московская область*



✉ Почта
ДП

Пасха

Всё выше синь, и солнце радость множит,
Ещё чуть-чуть, и сердцем запоёшь...
И не случайно день такой хороший
И так на детство раннее похож.

И будних дней ушла неразбериха,
Повсюду — свет и неба окоём,
И полнится весь день восторгом тихим,
И в сердце отзывается моём,

И для добра и счастья нет преграды,
Сегодня все на дивный свет идём,
И лёгок дух, и безгранична радость,
И кажется, на свете «всё путём».

По бережку

Ничего такого чуждного —
Просто воздух, просто тишь,
Но такую радость чувствуешь,
Что опять душой летишь...

Ой да вьётся тропка-тропочка
Между сосен и берёз,
И пестрят лисичек кнопочки,
И пенёчек мхом оброс...

Где трава богата росами,
Где тропа на нет идёт —
Распахнётся сине озеро,
Где сама вода поёт,

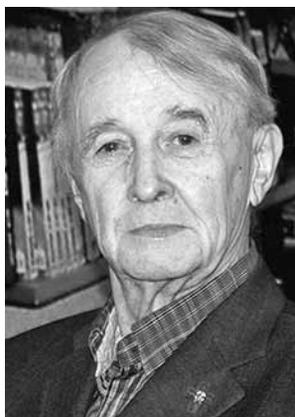


И пойдёшь, пойдёшь по бережку,
Хоть куда теперь пойдёшь,
Золотую счастья денежку
Обязательно найдёшь!..



Владимир КОСТРОВ

Москва



* * *

Поп-арт уж наступил.
Идёт разлив гламура.
Беснуется толпа. Безмолвствует народ.
В Сокольниках вчера последнего Амура
Из лука расстрелял зарвавшийся Эрот.

Не просветлили нас лукавые свободы,
И не горит в глазах небесный горний свет.
Нас пригласил Господь в высокий храм природы,
А мы в него вошли, как в дом, где Бога нет.

Экраны режут глаз больным болотным блеском,
И торфяною мглой закрыты близь и даль.
Лишь юности моей военной, деревенской
Мне видится во сне святая пастораль.

* * *

Дремучие леса, деревья и поляны,
Покосные луга у Вохмы, у реки.
Примите мой привет, древяне и поляне —
Родные вохмяки.

Я до сих пор живу сентенциею древней,
Душою устремлён в мир детства своего.
Да, можно увезти парнишку из деревни,
Но вытащить нельзя деревню из него.

Я вспоминаю вас,
И делаюсь спокоен,
И верю в чудеса.
Неужто новый век
Нас вырубит под корень,
Как мы свои леса?



Хочу я, чтоб всегда с утра над деревнями
Сверкали петухи.
Чтоб вечно были вы — поляне и древяне —
Родные земляки.

Памяти Георгия Свиридова

Незримы и невыразимы,
Лишённые телесных пут,
Рождественские серафимы
Теперь Свиридову поют.
О тесноте земной юдоли,
Где каждый звук его зачат,
В морозном небе, в чистом поле
Распевы горные звучат.
И хора сладкое согласие,
Мерцающее в звёздной мгле,
Так внятно говорит о счастье,
Ещё возможном на земле.
И как пророк в сухой пустыне,
С надеждой глядя в небеса,
Почти оглохшая Россия
Внимает эти голоса.
Молись и верь, земля родная,
Проглянет солнце из-за туч...
А может быть, и двери рая
Скрипичный отворяет ключ.

Ярослав Смеляков

Как пред вещей природою — вечной натурой,
некой мерою меряя время своё,
тихо кепку сниму перед смутной фигурой,
отошедшей как будто бы в небытиё.
Беспокойно и в памяти сталкиваться лбами
с этой жизнью, отпетой крутым кумачом,
с бледным длинным лицом, и большими губами,
и, как вызов, приподнятым правым плечом.
Голос свой глуховатый, разбавленный жостью,
он сумел подарить самому бытию
и намеренно резким, размашистым жестом
как бы сам ограничивал зыбкость свою.
А душа клокотала, металась, болела
и стремилась очистить, поднять, прополоть.
И на мысль, как на кость воспалённого тела,
нарастала его стихотворная плоть.
Был он, словно деталь, трудной жизнью зазубрен.
Пар и сталь источили его естество.
Но, похожа на редкого зверя, на зубра,
всё живёт грубоватая нежность его.

Это жизнь, а не тень,
это смесь, а не помесь.
Вижу два бугорка от его желваков.
И особенно как-то тревожится совесть,
если слышишь слова — Ярослав Смеляков.

* * *

Вл. Соколову

Ты сказал, что от страшного века устал.
И ушёл, и писать и дышать перестал.
Мне пока помогает аптека.
Тяжело просыпаюсь, грущу и смеюсь,
Но тебе-то признаюсь: я очень боюсь,
Да, боюсь двадцать первого века.
Здесь бумажным рулоном шуршит Балахна,
На прилавках любого полно барахла,
И осенний русак не линяет,
И родное моё умирает село,
И весёлая группа «Ногу свело»
Почему-то тоску навевает.
Знать бы, как там у вас?
Там, поди, тишина,
Не кровит, не гремит на Кавказе война.
И за сердце инфаркт не хватает.
Здесь российская муза гитарой бренчит
Или матом со сцены истошно кричит.
Нам сегодня тебя не хватает.
Я почти не бываю у близких могил,
Но друзей и родных я в душе не избыл.
Мне они как Афон или Мекка.
Я боюсь, чтобы завтра не прервалась
Меж живыми и мёртвыми вечная связь,
Я боюсь двадцать первого века.

* * *

Валентину Распутину

Так хотел он нас предостеречь:
Убедить, что Слово — это весть.
Человек, России давший речь,
Жизнью заплатил за слово «честь».
Но теряет смысл свои права...
Чудаки, а пуще — дураки,
Золотые русские слова
Разменяли мы на медяки.
Если не пойдём Его тропой,
Если зарастёт Его тропа,
Станем мы базарною толпой
У Александрийского столпа.



Так прими Его благую весть,
И тебя врагу не победить...
Ну а людям, потерявшим честь,
Можно из истории уходить!

* * *

Удушный дым, как знак непостоянства,
Несовершенства мира твоего.
Как тяжело дышит русское пространство —
Огромное живое существо.
О чём вчера мы спорили так рьяно,
Не совмещая мненья о вожде,
А надо бы с бездушного экрана
Провозглашать моление о дожде.
О, если бы я знал такое слово,
Чтобы призвать в луга, поля и лес
Кипящего, грибного, проливного,
Живительного ангела небес.
К нам этот месяц прилетал, как ангел,
С прохладой, с кузовком грибного дня,
Но в этот год другой нам послан август
На облаке из дыма и огня.
Мы нахлебались чёрного угара,
Спасая скот, деревья и жильё.
За что случилась эта божья кара?
Как пережить последствия её?
В Исландии плавилась породы,
И Аргентину снегом замело.
Великое восстание природы
На смену революциям пришло.



Геннадий КРАСНИКОВ

Москва



Отрывок

Среди милых забав и ничтожных забот,
с жалкой горсткою слов, с жалкой горсткою нот,
дней бесценных беспечный бездумный транжир,
ты не видишь, не слышишь, как рушится мир.

Ты не знаешь, по ком с колоколен звонят,
как идёт в человеке последний распад,
у тебя бесконечный всемирный загул,
и не слышен тебе тектонический гул...

Ты не слышишь в утробе своих городов
содроганье отеческих бедных гробов,
ты не видишь знамений горящих лесов,
ты не слышишь ударов последних часов.

Ты бежишь от гримас сумасшедшей луны,
заглушаешь таблетками жуткие сны,
и не смотришь в глаза зачумлённых людей,
и не смотришь в глаза нерождённых детей...

Ты не чувствуешь близости ни катастроф,
ни грядущих безумств, ни грядущих голгоф,
от видений кошмаров последних времён
охраняет тебя хохмачей легион...

* * *

Да, моя милая, да,
это — ночная звезда,
это — бессонная совесть,
это — небесная повесть,
где мы вдвоём навсегда.



Этот мерцающий свет —
неисчезающий след,
память о душах ушедших,
в вечность с собою унесших
непостижимый сюжет...

* * *

Если знаешь, что сон будет страшен,
хоть бы в золото был он окрашен, —
не заигрывай с ним, отвернись,
не гляди в его бездны — проснись!

Сколько раз по глухим лабиринтам
мы ходили во сне, как по бритвам,
где дышать ты не мог в темноте,
где кричать ты не мог в немоте.

Ты и зритель тех снов, и невольник,
соучастник, безумец, крамольник,
что приснилось — то сбываться должно...
Ты в ответе за это кино!

* * *

Вот какая случилась беда —
день за днём неизвестно куда
вдруг из жизни уходят года,
из колодцев уходит вода,
путеводная гаснет звезда...

Время вертит свои жернова:
одновá мы живём, одновá, —
и уходят из книги слова,
из России уходит Москва,
из небесных очей — синева...

Догорает последний закат,
покидает гармонию лад,
соловьи оставляют наш сад,
облетает с цветов аромат,
умывает руки — Пилат...

Мы и сами готовы туда,
мы за вами — куда вы, года?
Мы за вами — вода и звезда!..
Только слышим в ответ: «Господа,
извините, но вам не сюда».

* * *

У судьбы не попрашайничай,
только помни наперёд —
кто с надеждой распрощается,
тот трёх дней не проживёт.

Если день погаснет праздничный,
сердце омрачив твоё, —
у любви не христарадничай —
не разжалобишь её!..

Даже если гром обрушится
и дорога подвела —
всё равно не побирушничай
возле барского стола.

Льёшь ли слёзыньки горячие —
остаётся жить в обрез —
лишних дней не выканючивай
в бухгалтерии небес.

Жёлтый лист в ладонь опустится —
скоро осень и зима...
Горе глупому — от глупости,
умным горе — от ума...





Марина КУДИМОВА

Москва



СЕНААР

(Месопотамский цикл)

* * *

Сенаар — короткий адрес рая,
Мокрый перекрёсток Тигр — Ефрат,
Где изящно персы обыграют
Символ мироздания — квадрат.

Где под выхлопной ноздрёю конской,
Разыграв чету и нечету,
Шеф акселератов Македонский
Проведёт корявую черту
По береговой черте Двуречья
И — под конской выхлопной ноздрёй —
Оскорбит блажной акадской речью
Шестистопный эллинский настрой.

Долги наши, зной месопотамский,
На рабе сандаловый загар...
Мессианский тон сойдёт на хамский —
Больно будет, Сенаар!

Не туристы, а репатрианты,
Выковыряв из зубов сухарь,
Штабелями сложат фолианты
Со сведённым штампом «Сенаар».

И дотла всё, что поименует
Гильгамешем твой обэриут,
Повоёванные повоюют
И обобранные оберут.

Вавилонская башня

Вавилон — ворота Бога!
Одна живём.
Шит Закон, твоя подмога,
Клинописным белым швом.

Отшумел Шумер — готов...
После нас — хоть Потоп...

И кому на беду
Этот город бросовый
Раздвоился, как в бреду
Навуходоносора?

Гондобить, громоздить
Дуру стоеросовую,
Белыми костями мостить
Будут Новый Вавилон,
Повалят в полон валом.

Не дано нам понять
Эти словопренья,
Но дано попенять
На столпотворенье.

Или столько полегло
В межеумье, как в чуму,
Чтоб какой-то полиглот
Разобрался, что к чему?

Долгое название
Перечтя, замри:
Основание
Неба и Земли.

Петрополь

Бомбошка, табакерка, гремушок!
Но для пигмея — каменный мешок,
Но для пиита — цитадель Петра
И самоистребленье до утра.

Виват, полупочтенный городок!
Акцент голштинский, вятский говорок.
На чмокающем шкиперском арго
Изменчивые термины торгов.

Стяг корабельный клохчет, как сизарь.
Ударят склянки — заснуёт базар.



Ври больше! Суть не в рясах и лесах —
Но в словоизречениях, в словесах.
Вот ты — с серьгой, ты — с заячьей губой, —
Вам не договориться меж собой.

В трясину, сверзшись с верфи, умакнись,
Царевой цацки хитрый механизм.

Петрушечник! О дылда и корсар!
Пароль и отзыв: «Русь» и «Сенаар».

Военнопленным тёсом шит пилон...
Врата Господни, город Вавилон!

Зачем тебя до неба напластал
Чужак халдейский Набопаласар?

Дуй, император, дуй, майнай — грузи!
(Ты сам-то кто? Ты, говорят, грузин?)

Твоя затея шáтка и валка́:
Ты начинал с Потешного полка.
Ты длительно играл и шутовал
В голландца и в лапландца, коновал.

И после реставрации свежа
Перед последней лжой былая лжа.

За Гитлера укрылся Меттерних,
И Библии сдался шумерский миф.
Не дрейфь, мин херц! Страна святых чудес
И нации отринувший прогресс,
А также культу́ртрегер молодой
Заткнут пазы боярской бородой.

...Бес доконал, Балакирев ли шпынь —
По щиколку Адмиралтейский шпиль.
Раёк, лубок, забавка заводная...

Прискучишь, скажешь: «Знать тебя не знаю,
Обрыдлый! У, водой тебя залей...» —
И сядешь задом к Родине своей,
И — перст вовне: мол, там хорош навар, —
В дому покамест избегайте свар...

Пароль и отзыв: «Русь» и «Сенаар».

* * *

Ниша твоя, тишина...

Если геенны стошнят,
Нужен пресветлый чертог.
Кто бы черкнул адресок?

В гневной библейской красе,
Как твердолобый писец,
Вычлени — и повторяй:
Месопотамия — рай.

Врат голубых верею
В прорезь целуй аккурат.
Самозабвенно в раю,
Даже когда обскурант.
Даже когда диссидент,
Так бы сидеть да сидеть,
Свесивши ноги не с нар —
С утлых мосточков на Цне...

Ты не Эдем, Сенаар!

Там хорошо, где нас нет...





Татьяна КУЗОВЛЕВА

Москва



* * *

Всё начиналось ярко.
Всё впитывалось быстро.
Стучало сердце жарко,
Выбрасывая искры.

Влюбляясь и ликуя,
Повсюду рифмы слыша,
Училась я вслепую
Ходить по краю крыши.

Дрожа и замирая
И от бесстрашья плача,
Но всё же понимая,
Что не могу иначе.

Что мне — напропалую,
Над пропастью — всё выше.

... Я до сих пор вслепую
Иду по краю крыши.

Ночь Ватикана

В час ночной у собора Петра
Так пронзительно свищут ветра,
Так ознобно мне в этой подкове:
В совершенстве конструкций и норм,
В торжестве и величии форм
Не хватает тепла и любви.

Отчуждённости не превозмочь.
Белый мрамор и чёрная ночь.
Непроглядная ночь Ватикана.

Где же ты, тихий голос земли,
Где же ты, Покрова на Нерли,
Грусть и боль моя,
Вечная рана...

* * *

Грех рыдать мне над бытом —
В нём моя от рожденья стихия.
В мире, горем оббитом,
Слишком робко шептала стихи я.

Не во имя утех
Обращалась я к Богу за словом —
Я молилась за всех,
Обойдённых любовью и кровом.

Мне не выпал успех,
Но строку обращая в молитву,
Я просила за тех,
Кто у горла предчувствовал бритву.

И в холодной золе
Тем тоске моей быть утолимой,
Что жила на земле
Среди любящих ради любимых.

* * *

Памяти Беллы Ахмадулиной

Иным елей на сердце — гром оваций.
Другим — в тиши плетение словес...
Но как стихам без голоса остаться,
Серебряного голоса небес?

Без — льдинкою царапавшего горло...
Без — тело распрямлявшего в струну...
Как он звучал торжественно и горько —
Я ни один с ним голос не сравню.

В нём были беззащитность и отвага,
И плачу я, наверно, оттого,
Что — вот стихи. Их стережёт бумага.
Но голос, голос! — не вернуть его.

* * *

В преддверье лета, в предвкушении сирени,
В высоких сумерках, где молча гибнут тени,
Где зверь готов смахнуть остатки лени
Ритмичными ударами хвоста;



Где в чашах спит голодный дух охоты,
Где так опасны рек водовороты
И дробная кукушкина икота
Отсчитывает годы неспроста, —

Там воздух над деревьями слоится,
Там всё острее проступают лица
Всех тех, кто так мучительно любим.

От нас совсем немного надо им:

Упомянуть имени, когда
На небе всходит первая звезда.

И, трогая свечи живое пламя,
Почувствовать, что нет границ меж нами.

* * *

Живём, не разнимая рук,
Благословляя боль объятья:
Очерчен заповедный круг
Ещё до таинства зачатья.

В нём осязаем каждый звук,
Священны имена и даты,
И чем теснее этот круг,
Тем нестерпимее утраты.

И потому в пути, в дому,
В лихие дни, в ночные праздники
Я не отдам вас никому —
Земного круга соучастники.

* * *

Тамаре Жирмунской

I.

...В пальто распахнутом по улице
Идёшь, подхваченная маем,
И лишь у горловины пуговица
Раскрылья лёгкие сжимает.

Короткой оттепели крестники,
Мы жили строчками крылатыми,
Влюблённые, почти ровесники,
Сплочённые шестидесятыми.

Там вновь — весенняя распутица,
Вокруг то солнечно, то сумрачно,
Там ты опять идёшь по улице,
Слегка помахивая сумочкой, —

Несёшь средь говора московского
Лица рисунок романтический,
Как с полотна Боровиковского
Сошедшая в наш век космический.

II.

Скупей улыбки, встречи реже,
Но всё же в сокровенный час
В кругу ровесников мы те же,
И те же голоса у нас.

Мы пьём неспешными глотками
За то, что снова мы не врозь,
За лучшее, что было с нами,
За тайное, что не сбылось.

И блещут тосты, строки, взгляды,
И смех взрывается, звеня...
Лишь зажигать огня не надо.
Не надо зажигать огня.

Софи Николь

Загадка вечная: откуда
Оно берётся — это чудо:
Ресницы, загнутые вверх,
Глаза, распахнутые настезь...
И думаешь: какое счастье —
Что вызван к жизни Человек,
Который был зачат любовью
И назван Мудрость, то есть Софья.
И я прошу её: изволь
Счастливой быть, Софи Николь!
Тебе — весна и соловьи.
Целую пальчики твои,
Грустя, что мне не проследить
Судьбы твоей святую нить.





Александр КУШНЕР

Санкт-Петербург



* * *

По меньшей мере три увидеть племени
Младых и незнакомых довелось,
И отсвет своего на каждом времени
Был, иногда казалось, что насквозь
Я вижу их, с мечтами, обещањьями,
Презрением их юным, говорил
Им: «Здравствуйте!»

Всею зеленью и тканями

Они тянулись кверху что есть сил.

Младая роща становилась взрослою
И тёмную отбрасывала тень.
И жизнь им предлагала ту же косную
И твёрдую основу, как кремь,
Добро и зло, и зависть, и отчаянье,
Крушение надежд и, вопреки
Отчаянью, любовь и понимание,
Всё то, что знают молча старики.

* * *

Только к зиме уменьшительный суффикс пристал.
Зимушка — то ли от радости, то ли от страха.
Я-то боюсь вееров её и опahal,
Снежного, вьюжного варева, пуха и праха.

Я и фольклора, пожалуй, чуть-чуть сторонюсь,
Есть в нём надрыв, украшательство и поученье.
Зимушка! В радость как будто завёрнута грусть.
За удовольствием прячется мрак и мученье.

Зимушка, скользкие, хлёткие петли её!
Впрочем, и отдых крестьянский, и сон, и безделье.
Сказка про прорубь и жалкое волчье вытьё,
Лисье коварство, какое-то злое веселье.

Библиотечную первую книгу свою,
Детскую сказку, читал по дороге из школы
И потерял, мне её в незакатном краю
Волк поднесёт, обещанный и полуголый.

Библиотекарша выговор сделала мне
И заменить на любую другую велела.
Я и принес то ли сборник стихов о весне,
То ли Житкова, потупясь принес и несмело.

Зимы стояли холодные. Снег заметал
Дом разбомбленный, трамвай под искрящей дугою.
Я эти сказки ещё во младенчестве знал.
Мне, первокласснику, что-нибудь дайте другое.

* * *

Какая дружба намечалась
Меж Чичиковым и Маниловым!
Увы, она не состоялась.
А как Манилов фантазировал!
Как угодить старался Чичиков!
Не получилось крепкой дружбы.
Один был слишком предприимчивый,
Другой был слишком благодушный.

А вспомнил я о них по случаю
Какой-то пасмурной погоды,
Но не дождливой, а задумчивой,
Голубоватые разводы
На небе. Было что-то милое
И глуповатое, и мглистость,
Напоминавшая в Манилове
Поэтов-сентименталистов.

И вообще не слишком строго ли
Мы говорим о персонажах,
В поэме выведенных Гоголем?
Он их любил, Ноздрева даже,
И я бываю Собакевичем,
Ах, и Коробочкою тоже.
И заноситься, право, незачем,
И жить смешно, и все похожи.

* * *

Завидуй, пожалуйста! Но не живым существам.
Об этом ещё Заболоцкий сказал, понимая,
Как страшно им всем, в разной мере, но всем,
по ночам.
Давильня, плавильня и камера пыток сплошная!



Завидуй, пожалуйста! Но не берёзам, дубам.
Об этом у Фета: про трещины, раны и слёзы
У них на коре. Он учиться советовал нам
У них, выносящих безропотно злые морозы.

Завидуй камням. Вот кому хорошо на земле!
Быть камнем хотел Микеланджело. Он-то
про камни
Знал всё, понимая, как время погрязло во зле.
Будь твёрд. Вот прекрасный совет, тем надежней,
что давний.

Генуэзская крепость

Молодцы генуэзцы! Поставили крепость
В Судаке!
Боевая, родная, смешная нелепость,
Посмотри: с ней нет места тоске!

И когда мы входили в продольное море,
От неё начиная заплыв,
То и дело всплывал среди брызг в разговоре
Генуэзский залив.

Голубые медузы, мохнатые крабы,
И флажок, обвивавший корму.
Знал бы Тютчев Россию получше, не так бы
Он скучал по заливу тому.

Да, небесный, лиловый, морской, изумрудный
Вид из крепости, синий, морской,
И какой же с другой стороны её чудный
Жёлтый цвет подпирает степной!

Это ж надо, куда забрели итальянцы
От своих камнеломких твердынь!
И не розы к ним ластились в жарком румянце,
А сухая полынь.

Нам про Геную кто-то рассказывать станет,
Словно в рай заглянул налегке.
Мы не спорим, мы спросим, когда он устанет,
Был ли он в Судаке?

* * *

Эта роза, — Сезанн говорил приятелю,
Стоя перед картиною Тинторетто, —
Так написана страстно, хвала Создателю,
Что понятно, как много ушло на это
Горя, страсти, какое за ней страдание

И какая тоска за пыланьем скрыта!
Живопись выполняет своё задание
Молчаливо, неистово и сердито!

Словно мира спасение ей поручено!
Так, как будто зависит от этой розы
Жизнь, — иначе бы разве была закручена
И горела так жарко, без всякой позы?
Обращалась бы к нашей любви и памяти,
Взяв буквально за сердце, сдавив аорту?
Притворяетесь вы или понимаете?
Притворяетесь? Ну так идите к черту!

* * *

Сказал об ужасе Паскаль,
Когда Вселенную себе,
Как нескончаемую даль,
Представил. «Смысла нет в мольбе», —
Сказал поэт, любимый мной.
Ещё бы! Жалок человек,
Как в чаще сумрачной, лесной
Расположившись на ночлег.

Всё так. Молчание храня,
Над ним мерцает звёздный свет.
Но восхищение меня
Не покидает. Смысла нет?
Непознаваем мрак ночной?
Никем во тьме я не храним?
Но восхищение — со мной,
И ужас меркнет перед ним.





Олег ЛАПШИН

Томск



Лес бесконечной полосой
стоит, как строй солдат, как войско,
готовое умчаться в бой
и речку переплыть геройски.

Он походил на мертвеца,
весь синий, точно красный конник,
сражённый пулею отца,
который белый был полковник...

А жизнь, как яркая свеча,
вдали горит, как бакен белый,
и на иглу её луча
стремится катер оголтелый.



* * *

У верблюда два горба,
словно смелых два ребра,
почему-то разломались
и поднялись, шутники.

Долго думал Абдулла,
но исправить он не смог
дикий вывих бесподобный
у горбатого коня.

* * *

Сияла яркая звезда
в полночный час,
и золотилась вода,
как рыбий глаз.

Темна чуть хладная прозрачь,
и за собой
во сне посматривал кедрач
над той водой.

* * *

А на реке горят огни.
Как свечки, бакены мерцают —
самовлюблённые, они
себя лишь только освещают.

Дырявый ветер холодит,
и дышит всё — и нет преграды;
и чёрный шёлк ночи блестит,
тайги скрывая баррикады.



Евгений ЛЕСИН

Москва



1984

Время, полное проказниц,
Первый курс, весна, МИСиС¹.
Я любил девятиклассниц,
Выполняя их каприз.

Утро вызовет истому
И направит напрямиком,
Как всегда, в пивную «Омут»
И в «Керамику» с «Желтком».

А потом наступит лето,
Ректорат и деканат.
Нехорошая примета.
И — привет, военкомат.

* * *

Словно гостя-татарина,
Вспоминает народ
Космонавта Гагарина
И его самолёт.

От тоски ли, от смеха ли
То герой, то нахал.
Он сказал: понаехали
И рукой замахал.

Все дороги неровные.
А приводят сюда.
Где луга подмосковные,
Где поля и стада.

Где француза ли, чеха ли
Ждёт кумыс и мангал.
Он сказал: понаехали.
Жалко, поздно сказал.

* * *

Ад всегда интересней пустынного рая.
Потому и сидим до рассветной поры,
Или серую кашу зимы выбирая,
Или пекло проклятой московской жары.

А король-то ваш гол, говорили про Лира
Бесы, жадно ища седину в бороде.
Первый том «Мёртвых душ» — юмор, а не сатира,
А второй невозможен, конечно, нигде.

* * *

Воспоминания вещь ненужная.
По порочному кругу скольжение.
Раньше говорили обнаружение,
А теперь говорят обнаружение.

Дикторы говорили в трамваях.
И на остановках цвели незабудки.
Как-то ненадёжны теперь дела их.
Скоро останутся одни маршрутки.

Раньше живопись была заборная.
А теперь какие-то баннеры.
Раньше говорили — Планёрная.
А теперь издеваются — Плáнерная.

Раньше было скучно, а нынче душно,
Хотя пиво-воды и фрукты-овоци.
Всё равно сейчас выйду и погуляю по Тушино.
Всё равно пойду и погуляю, сволочи.

* * *

Поэта далеко заводит речь.
Так далеко, что хочется прилечь.

* * *

И птицы шелестят,
И расцветает пышно
Мой яблоневый сад,
Черёмуха и вишня.

¹ Московский институт стали и сплавов.



Блюдёт собачий пост
Животное без будки,
Я выхожу на мост,
А подо мною утки.

Уютным гребешком
Костёр зовёт, сгорая.
И я иду пешком
По Тушинскому раю.

Уже который год —
Ни подсчитать, ни взвесить —
Тут яблоня цветёт,
У дома номер 10.

* * *

Тихо плакали печали
И несли какой-то вздор.
Если было что в начале,
То не слово, а забор.

«Власть — убийца-кровопийца».
«Хватит пить-бухать, народ».
Мимо Красного Балтийца,
Прочь от горя и забот.

Даже крохотные реки
Создают большой уют,
Вот абреки чебуреки
Увлечённо продают,

Спит собачка у водички,
Пьяный нежится в траве.
На огромной электричке
Еду к маленькой Москве.

* * *

Надо быть богатым и здоровым,
Чтобы позволять себе лечиться
У врачей, которые спасают
Миллионы жизней каждый день.

Надо быть счастливым и спокойным,
Чтобы доверять себя заботам
Господа, который милосерден,
Всемогущ, а также справедлив.

* * *

Какая мерзость ваши лица
И ваши рыла на меню.
Не дай вам бог остановиться
И прекратить свою грызню.

А впрочем, тут не до испуга
От ваших ласковых затей.
Вы ненавидите друг друга
И презираете людей.

Незабываемые встречи,
Где правду режут без ножа.
Какая мерзость ваши речи
И коллективная душа.

И ваши крики, ваши книги,
И возвышающий обман.
Отвратней только ваши фиги,
Что вы суёте мне в карман.

* * *

Пиши, как пишется, и все дела.
И ничего выдумывать не надо.
Всё ерунда. И обаянье зла,
И то, что ты поэт второго ряда.

Ну да, не Пушкин и не Мандельштам,
А также не Воденников и Бродский.
Зато — иди, куда шагаешь сам,
Забыв про путь поэта идиотский.

Забыв про службу у каких-то муз
И прочие капризы и обузы.
Не так уж и прекрасен наш союз.
Да и зачем теперь уже союзы?





Валерий МИХАЙЛОВ

Алма-Ата, Казахстан



ОДИН МЕЖ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ

(Отрывок из книги)

*К 170-й годовщине гибели
Михаила Лермонтова*

В «Описи имения», оставшегося после убитого на дуэли Тенгинского пехотного полка «поручика Лермантова», что была «учинена июля 17 дня 1841 года», первые пять вещей таковы:

«1. Образ маленький Св. Архистратига Михаила в серебрянной вызолоченной ризе — 1.

2. Образ небольшой Св. Иоанна Воина в серебрянной вызолоченной ризе — 1.

3. Такой же, побольше, Св. Николая Чудотворца в серебрянной ризе с вызолоченным венцом — 1.

4. Образ маленький — 1.

5. Крест маленький, Серебрянный вызолоченный с мощами — 1»¹.

С первыми тремя всё понятно: в честь архистратига Михаила — Лермонтов назван; св. Иоанн Воин — хранитель его на войне; Николай Чудотворец — бережёт на путях земных. А вот «образ маленький» — загадка. Чей был этот образ? Не Богородицы ли?..

¹ Сохранена орфография оригинала.

«Замечательно, что во всей его поэзии, которая есть не что иное, как вечный спор с христианством, нет вовсе имени Христа, — писал Дмитрий Мережковский. — От матери он принял “образок святой”:

*Дам тебе я на дорогу
Образок святой.*

Но этот образок — не Сына, а Матери. К Матери пришёл он помимо Сына. Непокорный Сыну, покорился Матери».

Это, конечно, довольно спорное рассуждение.

В. Зеньковский, заметив, что «русский романтизм религиозен, но чужд церковности», очень точно возразил: «Если Мережковский почему-то отмечает, что у Лермонтова нигде нет имени Христа, то это, скорее, говорит в защиту религиозного целомудрия Лермонтова».

То есть, продолжая мысль, речь вовсе не о непокорстве Сыну, а о том, что Матерь Божия ближе Лермонтову.

Вячеслав Иванов прямо пишет про поэта: «...был он верным рыцарем Марии. Милости Матери Божией в молитве, исполненной религиозного пыла и душевной нежности, он до конца жизни поручает не свою душу, покинутую и огрубевшую, но душу избранную и чистую девы невинной, безоружной перед злом мира».

...Февраль 1838 года. Лермонтов к тому времени почти год пробыл на Кавказе, куда он попал после истории со стихотворением на смерть Пушкина: из лейб-гусаров — в нижегородские драгуны тем же чином, «то есть из попов в дьяконы», — как добродушно шутили «над нашим Майошкой» его однополчане. Но осенью 1837 года поэт «прощён» — и едет теперь по месту новой службы в Новгород, в Гродненский гусарский полк. По дороге из Петербурга пишет письмо Марии Лопухиной: ворчит на друга, который женится «на какой-то богатой купчихе», жалуется на смертельную скуку и на то, что отныне у него «нет надежды занимать в его сердце такое же место, какое он отводит толстой оптовой купчихе», сообщает, что нашёл дома «целый хаос сплетен» и с трудом на-



вёл порядок, «насколько это возможно, когда имеешь дело с тремя-четырьмя женщинами, которых никак не образумишь». И вдруг, словно отряхнувшись от этой несносной бабьей доуки, от которой он отвык на Кавказе, где дамы «в обществе — редкость», он говорит: «В заключение этого письма посылаю вам стихотворение, которое случайно нашёл в моих дорожных бумагах, оно мне довольно-таки нравится, а до этого я совсем забыл о нём — впрочем, это равно ничего не доказывает...»

И далее переписывает то стихотворение, что год назад, находясь под арестом, начертал спичкой с помощью вина и сажки на серой обёрточной бумаге, в которую камердинер заворачивал хлеб, — свою удивительную «Молитву» («Я, Матерь Божия...»), это чудо воспарения одинокой души в сферы небесной милости, доверчивое, благодарное благоговение перед всепрощающим заступничеством, звучащее с такой глубокой, тихой и чистой убеждённой в благодатной материнской защите той высокой Покровительницы, к которой он обратился за помощью...

Замечательным по проникновенности толкованием сопроводил это стихотворение Пётр Бизилли: «Лермонтов был в нашей поэзии первым подлинным представителем и выразителем мистической религиозности. Наша поэзия дала, начиная с Ломоносова, немало образцов искренней и глубокой религиозности, но это была религиозность в рамках церковности, или же это была религиозность в смысле рационалистического признания объективного существования “иного мира”, или же, наконец, в смысле тоски по этому миру, стремления прорваться в него, постигнуть его, прикоснуться к нему. Лермонтов был первым, у которого касание иного мира было не предметом стремлений, а *переживанием*, который в мистическом опыте посетил этот мир, который не просто *знал* о нём, но непосредственно ощутил его объективную реальность. Но своего мистического пути он не прошёл до конца. Он знал, что рано умрёт, он шёл к смерти, но она и смущала его, и была страшна ему. И жизнь, от которой он стремился уйти, этот мир, сосредоточенный в “Ней”, ещё был дорог ему и не отпускал его...

Эти колебания на избранном мистическом пути составили *его* трагедию. Как истинный поэт, Лермонтов искал её разрешения в поэзии... То успокоение, которое он не мог обрести в мистическом опыте, он нашёл в символическом воспроизведении, в этих поистине божественных стихах сам опыт кажется совершенным и полным. Те зву-

ки рая, “звуки небес”, которые он силился воскресить в своей памяти и которые для него слишком часто заглушались скучными песнями земли, — эти звуки для каждого умеющего слушать раздалась в его стихах. Здесь мы вступаем в область, постороннюю науке. В абсолютно прекрасном есть нечто непосредственно убедительное и потому подлежащее не доказыванию, а только констатированию.

Я, Матерь Божия, ныне с молитвою
Пред твоим образом, ярким сиянием,
Не о спасении, не перед битвою,
Не с благодарностью иль покаянием;

Не за свою молю душу пустынную,
За душу странника, в свете безродного,
Но я хочу вручить деву невинную
Тёплой заступнице мира холодного.

Окружи счастьем душу достойную,
Дай ей спутников, полных внимания,
Молодость светлую, старость покойную,
Сердцу незлобному мир упования.

Срок ли приблизится часу прощальному
В утро ли шумное, в ночь ли безгласную,
Ты воспрять пошли к ложу печальному
Лучшего ангела душу прекрасную.

Необыкновенная, неподражаемая, невоспроизводимая *мягкость*, нежность этих слов, полнота любви, изливающаяся из них, обусловлена изумительным соответствием смысла с подбором звуков — обилием йотованных гласных и самых музыкальных сочетаний: *л* + гласный. То, что, например, у Батюшкова — только внешне красиво, подчас несколько вяло, слащаво, монотонно, здесь в буквальном смысле слова *очаровательно*, потому что гармонирует со смыслом и с настроением. Это — небесная гармония. Не менее изумителен ритм целого — движение, почти безостановочное, с необыкновенно лёгкими, разнообразящими его замираниями в первых стопах (не о спа / сении); и начинает казаться, словно действительно слышишь молитвенные воздыхания ангелов и трепет их крыл. Так *подделать*, так *сочинить* — невозможно.

И всё же — это только иллюзии. Небожители не поют и не играют. Ритм и музыка — порождение нашего несовершенства и неполноты наших экстазов. Абсолютная гармония — это



абсолютная тишина. Лермонтов приблизился в “Молитве” к пределу совершенства и гармонии, о котором в состоянии только грезить человек; если бы он перешагнул его, поэзия бы исчезла. Его “Молитва” — молитва страдающего человеческого сердца. И не случайно здесь уже, в этой самой молитве, он разбивает тот ритм, который, будь он выдержан с полной строгостью, дал бы уже, благодаря своей отвлечённой закономерности, впечатление прекращения всякого движения. “Окружи / счастьем / душу дос / тойную”, — здесь уже нарушение правильности тонического стиха и переход к свободе стиха силлабического.

Так Лермонтов, великий поэт, потому что “плохой” мистик, доведя поэзию до пределов возможного в передаче потустороннего, отвлечённого, надземного, доведя ритм, движение во времени до предела совершенства в передаче вневременного, вечного, тем самым предопределил дальнейшую эволюцию русской поэзии — до её возврата к исходной точке, от которой возможно идти далее лишь в двух направлениях: либо в сторону полного разложения поэзии, её вытеснения прозой, либо в сторону открытия нового цикла, т. е. возврата к ямбу».

Под впечатлением этой же чудесной «Молитвы» Мережковский сказал, что «если суд “мира холодного”, суд Вл. Соловьёва над Лермонтовым исполнится, если отвергнет его Сын, то не отвергнет Мать».

Розанов, посвятивший поэту несколько великолепных статей, в последней из них, самой восторженной, где он особенно остро тоскует о его ранней смерти, писал: «...за Пушкиным... Лермонтов поднимается неизмеримо более сильной птицею. Что “Спор”, “Три пальмы”, “Ветка Палестины”, “Я, Мать Божия...”, “В минуту жизни трудную” — да и почти весь, весь этот “вещий томик” — словно золотое наше Евангелище, Евангелище русской литературы, где выписаны лишь первые строки: “Родился... и был отроком... подходил к чреде служения...” Всё это гораздо неизмеримо могущественнее и прекраснее, чем “начало Пушкина”, — и это даже впечатлительнее и значащее, нежели сказанное Пушкиным и в *зрелых годах*. “1 января” и “Дума” поэта выше Пушкина. “Выхожу один я на дорогу” и “Когда волнуется желтеющая нива” — опять же это красота и глубина, заливающая Пушкина.

Пушкин был обыкновенен, достигнув последних граней, последней широты в этом обыкновенном, “нашем”.

Лермонтов был совершенно необыкновенен; он был вполне “не наш”, “не мы”. Вот в чём разница. И Пушкин был всеобъемлющ, но стар — “прежний”, как “прежняя русская литература”, от Державина и через Жуковского и Грибоедова — до него. Лермонтов был совершенно нов, неожидан, “не предсказан”.

Одно “я”, “одинокое я”...»

И «Молитва», и «Когда волнуется желтеющая нива...» не раз были положены на музыку Варламовым, Булаховым, Балакиревым, Римским-Корсаковым и другими композиторами. И в наше время эти стихи притягивают музыку: не могут не поразить и не восхитить совсем недавние — распевы ли, песни ли, романсы ли — Евгении Смольяниновой, которые она сама и исполняет. Небесной чистоты голос, небесной красоты мелодии, небесной благоуханности излучение от стихов и музыки. И поёт она, как *райская птичка* (так певицу давно уже называют), — по обычаю чуть наклонив голову набок и словно бы вглядываясь ввысь, откуда льются на неё и воплощаются в её голосе божественные звуки...

Как же явственно отмечен Лермонтов за рыцарство своё Матерью Божией!..

Разве же не Она послала ему на земле таких женщин, как Елизавета Шашина и Евгения Смольянинова?

В его небесных стихах — «Выхожу один я на дорогу...», «Молитва», «Когда волнуется желтеющая нива...» — обе они, певицы и композиторы, слышали и напели поистине небесные мелодии...





Ярослав ЛИТВИНЕНКО

Москва



Серпуховский Вал. Осень

Так неужели был когда-то взрыв,
Явивший нам материю и время?
Ведь в бездну космоса галактики стремятся,
Взаимоудалаясь, это факт.
Куда-то вдаль несётся Серпуховка,
Наш голый сквер меж рынком и «Алмазом»,
И кружевная Шуховская башня
Маячит меж домами в стороне.
Однажды мне попался фотоснимок
«Восход Земли». Американец Андерс
В окошко «Аполлона» видел чудо,
Встающее над гипсовой Луной.
До той поры ни разу человек
Не улетал так далеко от дома.
Я думаю, что Андерс тут же вспомнил
Какой-нибудь из детства эпизод.
И этот снимок в популярной книжке
Мне очень долго не давал покоя,
Он так был прост и так невероятен,
И я однажды понял — почему.
Ведь всё, что с нами было — пирамиды,
Истерзанное тело Иисуса,
Полотна Леонардо и Освенцим, —
На этом снимке, в шестьдесят восьмом.
И можно рассуждать, что будет дальше,
Какие мировые потрясения,

Какие войны и землетрясения,
Качая сокрушённо головой.
А можно просто видеть это чудо,
Закрывать глаза — и снова видеть чудо.
И повторять, как новую молитву:
«Восход Земли, восход Земли, восход Земли...»

* * *

Одевшись не спеша, я выхожу
В пространство ноября, в последний день
Московской осени, с которой мы давно,
Вино и дождь мешая, породнились.

«Охотничьей» бутылка и лимон —
Вот осени последнее число,
Прощальный жест, последнее число.
Плывёт трамвай из глубины витрины...

Сейчас заплачу — как же повезло
Земную жизнь пройти до половины!





Валерий ЛОБАНОВ

Москва



Зарница

Жизнь — зарница, сон, угар,
крестик маленький нательный.
Принимаю твой удар,
долгожданный и смертельный.

Поколения прошли,
горевали и любили.
А ведь тоже душу жгли,
а ведь тоже жили-были.

Разве мягче был режим
в той России изначальной?
Всё равно не убежим
общей участи печальной!

Войны, голод, грабежи,
подмосковные вороны.
...Занимая рубежи
неприступной обороны,

забывая про постель,
пробираясь по болоту,
прорываясь сквозь метель,
армии служа и флоту...

Надо выдержать удар,
и, покуда сердце бьётся,
не растратить Божий дар,
что нам даром достаётся.

* * *

В яблоневоm саду
Ленку Смирнову жду.

Августа благодать,
да и не скучно ждать.

Мыслей шальных полно —
баня, детсад, кино.

Много в мире чудес —
дождик летит с небес,

яблоко под рукой,
радуга над рекой.

Случай произошёл —
рубль на шоссе нашёл.

В грядках растёт морковь.
Ленка — моя любовь.

Птица в дупле живёт.
Мама домой зовёт.

Дождик тёплый прошёл.
Было мне хорошо

в яблоневоm саду,
в сорок восьмом году.

Девушка с жемчужиной

Трава мне говорит: «Трава я!»
Весна мне говорит: «Привет!»
А я смотрю, не уставая,
на вермееровский портрет.

На взгляд, направленный в пространство,
чтобы оно отозвалось,
на это строгое убранство
её невидимых волос.

Ужель и впрямь дохнёт пургою
и годы двинутся гуртом
на эту девушку с серьгою
и чуточку открытым ртом?

В начале дня, в начале мая
смотрю, не в силах глаз отвести,
лицо её воспринимаю,
как удивительную весть.





Игорь ЛОГВИНОВ

Москва



* * *

Бывают дни такие в сентябре,
Что их словами описать не смею.
Тебя несёт удача на крыле,
И ты с восторгом следуешь за нею.
И всё выходит складно и легко,
И весел ты, и дышится свободно,
И ум твой светел, мыслям широко,
И замыслы твои богоугодны.

* * *

Потрясена, белее ваты,
Рыдает в голос Натали.
А Пушкин: «Ты не виновата,
Всё хорошо» ей говорит.

Всё ближе час его ухода
А у неё все впереди.
«Езжай в деревню на два года,
а после замуж выходи...»

И Натали ему кивает:
Как бледен он, он весь горит!
Она его не понимает,
Не слышит, что он говорит.

Он просит дать ему морошки,
Её несут в немой тоске.
Дрожит расплёсканная ложка
У бледной Натали в руке.

Пришёл он — час его расплаты.
Супруги защищая честь,
Он говорит: «Не виновата»,
Возможно, так оно и есть.



Наталья ГРАНЦЕВА

Санкт-Петербург



ТРИСТА ЛЕТ ОДИНОЧЕСТВА

*К 300-летию со дня рождения
Михаила Ломоносова*

Представьте себе, что сейчас перед вами стоит задача — создать для России новый поэтический язык, обладающий таким ресурсом, который обеспечит возможность развития литературы на ближайшие триста лет. При этом вы знаете, что разные слои общества (и его возрастные группы) используют разные лексические запасы: кто-то говорит на чистом, несколько архаичном литературном русском, кто-то на американизированном английском с небольшими русскими включениями, а кто-то предпочитает смесь китайского с «олбанским»... И на основе этих трёх доминирующих в обществе моделей языкового поведения предстоит вам создать новое, синтезированное из наличных возможностей максимально широкого понимания... Разумеется, потенциал каждого словарного «ингредиента» вами должен быть изучен. Но как же определить верное соотношение их в будущем новом языке? И что для этого потребно создателю — филологическая одаренность, поэтическое чутье, пророческий дар?

Пример Михаила Ломоносова, триста лет назад взявшегося за решение аналогичной задачи, свидетельствует — для создания успешного «проекта языка» кроме перечисленного надо было ещё обладать и многими редкостными качествами. Надо было чувствовать и понимать свою эпоху, надо было понимать и любить историю своей страны, надо было знать обо всех интеллектуальных богатствах, которые «выработало человечество». Только при этих условиях возможно было предложить миру цельный и многофункциональный литературно-общественный проект, соразмерный многообразию проявлений человеческой природы и максимально открытый перспективе роста, расцвета, будущего.

В. Г. Белинский называл Ломоносова «отцом русской поэзии», историки литературы считают, что именно он дал словесную форму тому, что ещё не обрело своей формы. Он сформулировал новые «литературные идеалы», он создал стиль эпохи. И именно потому, что постиг высший смысл происходящего и воспринимал время в большой, национально-государственной перспективе. Найдя правильное соотношение старославянской лексики, славянизмов и собственно русских слов, гений Ломоносова-языкотворца не только создал почву, на которой выросли великие поэты последующих времен, но и доселе воодушевляет современного стихотворца таинственными россыпями таящихся в её глубинах самоцветов смысла. Бог, слава, рука, почитаю, взываю, насажденный, отверзаю, говорю, ручей, пока, который... Эти слова, воспринимавшиеся в эпоху Ломоносова как чужеродные друг другу именно по причине принадлежности к разным слоям-языкам, ныне можно увидеть в одном стихотворении, как естественно сочетаемые в едином высказывании, легко воспринимаемом и совсем не устаревшем.

Заслуга Ломоносова состоит и в том, что он регламентировал такие важные составляющие литературного творчества, как жанры и стили. Границы и того и другого хоть и не оставались неподвижными в более близкие к нам эпохи, но никогда не менялись кардинально. И сейчас, в очередную эпоху перемен, мы вновь ощущаем



потенциал и целесообразность того многообразия форм, что три века назад считал присущим природе российской словесности Ломоносов.

Да и известная нам со школьных времен ломоносовская теория «трёх стилей» призвана была предложить оптимальную меру соотношения разных лексических пластов середины XVIII века — эта потребность диктовалась назревшей необходимостью выразить новое культурное содержание возмужавшей империи и предъявить в полном объеме мировоззрение нового человека.

Разве и мы сейчас не находимся перед лицом вызова подобного масштаба?

Однако вряд ли кто-то из нас отважится утверждать, что ему по плечу выполнение такой задачи. И это не удивительно — подобные Ломоносову духовные великаны рождаются, как утверждают знатоки, раз в триста лет.

Если не отвлекаться на рассмотрение достижений Ломоносова в естественно-научной сфере (что почти невозможно, ибо естественно-научное знание органично включено в филологическую деятельность этой уникальной личности, как будто чудесным образом явившейся в Россию прямоком из эпохи Возрождения), то и без этого следует дивиться тому, как много уникального создал великий поэт за столь короткую жизнь. Пятьдесят четыре неполных года — разве это справедливый предел жизни сверходаренной личности, подарившей российской культуре сверхценные идеи и сверхмогучие открытия в области духовной жизни?

Ломоносов не был в чистом виде литератором-теоретиком. Он был деятельным делателем-практиком. Созданные поэтом регламентации были испробованы им в собственном творчестве. Он испытал на прочность и жанры, и стили. Он продемонстрировал поэтические возможности разных форм. Образцы его одописания остаются до сих пор непревзойденными. Переложения некоторых псалмов, созданные его рукой, являют высочайшее духовное содержание. Мощь и экспрессия поэта, вызывавшие недовольство и зависть современников, поражают и донныне читателя, как поражает телесно-духовное совершенство молодого атлета, оказавшегося в компании вялых худосочных подростков...

*Лице свое скрывает день!
Поля покрыла мрачна ночь;
Взошла на горы черна тень;
Лучи от нас склонились прочь;*

*Открылась бездна, звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна.*

<...>

*Что зыблет ясный ночью луч?
Что тонкий пламень в твердь разит?
Как молния без грозных туч
Стремится от земли в зенит?
Как может быть, чтоб мерзлый пар
Среди зимы рождал пожар?*

(Вечернее размышление
о божием величестве при случае
великого северного сияния, 1743)

В поэзии признанного мастера оды (формы, казалось бы, прямо провоцирующей автора на велеречивость и пустопорожнее многословие) нет ни одного лишнего или неточного слова! Духовная мускулатура ломоносовского стиха, его фактурность и живописность удивительны.

Однако Ломоносов проявил собственное величайшее мастерство не только в экспрессивных, энергоёмких форматах, он оставил потомкам образцы нежной лирики, душевной и естественной, «общечеловеческой», почти детской непосредственности переживания. Школа преемственности этой линии хорошо ощущается и в поэзии нашего времени. От ломоносовского кузнечика ведут свою родословную птички божии, ласточки, стрекозы, бабочки, мотыльки, сверчки и прочая милая живность классической поэзии.

*Ты ангел во плоти, иль, лучше, ты бесплотен!
Ты скачешь и поешь, свободен, беззаботен,
Что видишь, все твое; везде в своем дому,
Не просишь ни о чем, не должен никому.*

(Стихи, сочиненные
по дороге в Петергоф, 1761)

Отдельная страница творческой жизни Ломоносова — поэтическая драматургия. Эта область его деятельности менее всего известна широкому читателю (и даже стихотворцу). Сценические опыты Михаила Васильевича незаслуженно обойдены вниманием исследователей. А между тем и здесь поэт создал «высокие стандарты» — и только узкие равнодушные специалисты знают, что Поэт-Историк сочинил первую в истории России трагедию о Куликовской битве («Тамира и Селим», 1749) и первый в России образец «древнегреческой» трагедии («Демофонт», 1751). Обе пьесы не только заложили основы монументальной (поэтико-драматургической) пропа-



ганды истории России и эпохи Петра Великого, но и предъявили современникам (и потомкам) возможности достижения шекспировских высот в отечественном театре.

Жаль, что ни современники, ни потомки не смогли по достоинству оценить эти достижения и распорядиться этим наследием должным образом... Может быть, следует подождать ещё триста лет, чтобы блестящие трагедии Ломоносова обрели наконец в России сценическую жизнь? «Вся история развития человеческой культуры, — писал Д. Лихачёв, — есть история не только созидания новых, но и обнаружения старых культурных ценностей». Не пришла ли уже пора «обнаружить» в отечественной культуре и шекспировской выделки стихотворные пьесы Ломоносова?

Несмотря на появление новых публикаций и извлечение из забвения старых, несмотря на раздающиеся со всех сторон официальные и неофициальные хвалы, почему-то всё равно не исчезает ощущение того, что великий российский поэт остается недооценённым и непонятым. Может быть, это естественный, закономерный удел великих, вынужденных проживать своё время в кругу «малых сих» и вести диалог с нами, невеликими, которых природа воспроизводит в огромных количествах — независимо от столетия...

«Настоящее есть следствие прошедшего, а потому непрестанно обращай свой взор на зады, чем сбережёшь себя от знатных ошибок», — предостерегал соотечественников наш великий мудрец Козьма Прутков. Поэтическое наследие Ломоносова многим из нас (и наших предшественников) кажется «задами», давно изученными и ненужными нашему времени. Но скоро, очень скоро мы узнаем: открыл ли кто-нибудь в преддверии трёхсотлетия со дня рождения великого русского поэта том его поэзии, перечитал ли заново, смог ли более полно увидеть масштаб этой личности, а роль её в нашей истории литературы более объёмно и верно? Или мы опять будем иметь дело с корпусом «знатных ошибок», оправдываемых авторитетами прошлого, многократно повторенных и кажущихся единственно возможными?

В середине XVIII века в России было мало людей, имеющих полное, универсальное образование истинно европейского уровня. Может быть, Ломоносов был первым и наиболее известным человеком-университетом, как аттестовал его благодарный потомок Пушкин (поэту в пушкинской поэзии мы можем увидеть множество блёсток-отсылок к поэзии великого «отца поэ-

зии»). Абсолютному большинству ломоносовских современников, как сейчас кажется, невыносимо было думать, что для создания поэтических шедевров необходимо учиться, овладевать языками, погружаться в изучение научных теорий. Эта интеллектуальная лень диктовала и стиль поведения — стараясь побольнее уколоть поэта, его оппоненты не уставали упорно называть его химиком. Да, Ломоносов имел марбургский диплом о высшем образовании, полученном в области химии, минералогии, горного дела... Но значит ли это, что Бог обделил его поэтическим даром, а лавровые венцы величия заготовил для вручения малообразованным стихотворцам?

Но современники Поэта-Историка упорно считали главным делом жизни Ломоносова — организацию химической лаборатории. Дело это было, по мнению поэтических авторитетов того времени, «непоэтическим». И нам остается только радоваться тому, что императрица Елизавета не поручила Ломоносову создание физической, биологической, астрономической лаборатории, — он смог бы, несомненно, организовать работу и этих учреждений, а в свободное время — ещё и открыть математическую школу и музыкальное училище... Тогда современники и потомки смогли бы столетиями укорять нашего русского Леонардо да Винчи (по определению С. И. Вавилова) ещё и в том, что он оскверняет поэзию «немытыми руками» физика, биолога, астронома... Как слышим уже два с половиной века укору Ломоносову, что он «немытыми руками химика» прикасался к истории...

Сейчас уже никто не упрекнёт современного поэта тем, что он получил высшее специальное образование, не скажет, например, что «немытыми руками архитектора» прикасался к поэзии Андрей Вознесенский. Но в отношении Ломоносова такой взгляд всё ещё оказывается не только возможным, но и прямо пропагандируемым.

История и Поэзия — не антагонисты, они не только не исключают друг друга, но и находятся в неразрывном единстве. Так считал Ломоносов, которому вовсе не помещали исторические знания, усвоенные из летописного наследия Руси и из великих эпических поэм, авторитетных европейских трудов и хроник. Эти знания не мешали Ломоносову блестящим, энергоёмким слогом воздать должное крупным деятелям и создателям молодой российской империи. Не мешали «истину царям с улыбкой говорить». Эта истина была и мощной интеллектуальной поддержкой



власти, необходимой для продолжения модернизации страны, созданной гением Петра Великого.

Конечно, Отец нашего Отечества не был ангелом во плоти, был горазд собственноручно рубить не только бороды, но и головы вместе с бородами, а также считал насилие во всех его формах органичным атрибутом власти, но Ломоносов умел отделять главное от неглавного, видеть и ценить большие задачи, стоящие перед обществом и культурой. За это его и осуждали современники, вменяющие ему в вину именно одописание.

Мнение о том, что императорам и императрицам поэт обязан выносить только и исключительно обвинительные вердикты, в послеломоносовское время стало безусловным требованием законодателей поэтического творчества — независимо от набора добродетелей и пороков каждого обвиняемого. Этот антииранический (антимонархический) посыл, который в конце концов привёл к тому, что множество нынешних поэтов неустанно оплакивает «Россию, которую мы потеряли», был несвойствен Ломоносову-поэту. Он в силу своей мудрости и интеллектуального масштаба всё-таки предпочитал знание не частичное, а полное, не тенденциозное, а объективное.

Но не прошло и ста лет со дня смерти Ломоносова, как авторитет пушкинской эпохи Пётр Яковлевич Чаадаев уже горделиво публично заявлял: «Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать её, предпочитаю унижать её, только бы её не обманывать». Эта формула прямо отвергала точку зрения Ломоносова на историю, из неё следовало, что всякое доброе слово, сказанное о родине и её властителях, — обман. То есть всё «хвалебное», сказанное нашим Леонардо о Петре и его последователях (последовательницах), — наглая ложь. А правдой и истиной является только бичевание родины, её огорчение и унижение.

На наше счастье, «сын» ломоносовской поэзии Александр Сергеевич Пушкин больше прислушивался к мнению Михайлы Васильевича и больше внимания уделял поискам объективной истины, а то не видать бы нам ни блестящих пушкинских поэм, ни его драматургии, ни исторических трудов...

Однако «одиночество» Ломоносова, а также в значительной мере и Пушкина простирается и до нашего времени. Современная филологическая исследовательская мысль продолжает винить поэзию Ломоносова именно в её «одическом» характере, не обращая особого внимания

на сатиры, полемические и драматургические образцы, лирику великого холмогорца...

Духовное одиночество великих побуждает их не превращаться в анахоретов, а искать равных собеседников в других странах и временах. Так и Ломоносов мысленно беседовал, шутил, спорил, видимо, с близким ему по духу лириком Анакреоном:

*Мне петь было о нежной,
Анакреон, любви;
Я чувствовал жар прежней
В согревшейся крови,
Я бегать стал перстами
По тоненьким струнам
И сладкими словами
Последовать стопам.
Мне струны поневоле
Звучат геройский шум.
Не возмущайте боле,
Любовны мысли, ум;
Хоть нежности сердечной
В любви я не лишен,
Героев славой вечной
Я больше восхищен.*

(Разговор с Анакреоном,
между 1758–1761)

Ломоносов был великим российским Поэтом и великим российским Историком, что, в сущности, одно и то же, и выражается эта двуединая сумма известной нам английской (британской) аллегорией — Великий Бард.

Нельзя сказать, что мы совсем забыли о нашем российском Пиндаре (учителе Горация), о нашем Таците, о нашем Архимеде, о нашем Цицероне... Но нельзя сказать и того, что мы изучили в должной мере его поэтическое наследие, что мы постигли в цельном, не фрагментарном виде его жизнетворчество.

Возможно, сделанное им в науке, литературе, истории нам ещё до конца не известно — ведь ломоносовской архив поражает специалистов лакунами... Предстоит ли нам когда-нибудь их заполнить сведениями и текстами, хранящимися в церковных и зарубежных сокровищницах прошлого?

Кажется, Михаил Васильевич Ломоносов сам испытывал некоторую «неловкость» из-за сознания своей «неформатности» эпохе. Будто он, как Гулливер, боялся лишней раз сделать какое-нибудь движение, чтобы ненароком не повредить



галантных обитателей территории, предпочитающей ценности петиметризма... Поэтому иногда и не афишировал сделанное, утаивал его...

«В самом начале 1754 г. Ломоносов в письме к И. И. Шувалову высказывает мысль об издании Академией наук “периодического сочинения”. Сообщая своему корреспонденту, что просимые последним “Примечания на ведомости” за прошлые годы (“Исторические, генеалогические и географические примечания в ведомостях” и “Примечания на ведомости” издавались Академией наук с 1728 г. помесечно, а с 1729 г. по 1742 г. еженедельно) трудно сыскать, он прибавляет: “Весьма бы полезно и славно было нашему отечеству, когда бы в Академии начались подобные сим периодические сочинения: только не на таких бумажках по одному листу; но повсямесячно, или по всякую четверть или треть года, дабы одна или две-три материи (т. е. статьи) содержались в книжке, и в меньшем формате, чему много имеем примеров в Европе, а из которых лутчим последовать, или бы свой применяясь выбрать можно”» (П. Н. Берков, «Анонимная статья Ломоносова», 1935)

Таким образом, Михаил Васильевич Ломоносов стал кроме всего прочего инициатором и основоположником периодической печати — не ведомостей, бюллетеней и листков, а толстых литературных журналов и альманахов. («Для пользы общества коль радостно трудиться!»)

В результате предложения Ломоносова с января 1755 года стал выходить под редакцией академика Г. Ф. Миллера первый литературно-научный журнал «Ежемесячные сочинения». В майской книжке «Ежемесячных сочинений» за 1755 год было напечатано анонимное «О качествах стихотворца рассуждение». Позднее исследователи установили, что это рассуждение принадлежит перу Ломоносова, а значит, относится и ко всем нам, стихотворцам иных времен, авторам толстых журналов и альманахов (в том числе и «Дня поэзии»).

В этом рассуждении не раз цитируются великие авторы прошлого, а сама статья является, по сути, российским аналогом «Науки поэзии» Горация. Это, если прибегнуть к традиции поэтического мышления образами действия, «ломоносовский завет», дополняющий ветхозаветную часть его (и нашей?) библии поэтического мастерства.

Поскольку это «рассуждение» написано прозой, а современники считали, что проза нашего *всероссийского человека* написана «тяжёлым латинским слогом», мы её лишь процитируем в на-

дежде, что любознательный читатель самостоятельно изучит «учительный» трактат Поэта.

Завершая этот панегирический (непроститель но недостаточно панегирический) экскурс в мир поэзии Ломоносова, изложим несколько осовремененным языком часть «стихов» его «завета», которые, на наш взгляд, сформировали представление о должном и недопустимом в поэтической деятельности носителей «стихотворческого огня» и которые и нам, следующим «ломоносовскому завету», может быть, помогут не чувствовать себя обречёнными на трёхсотлетнее одиночество.

— Как бы число умножившихся ныне в свете Авторцов не завело в таковую темноту разум человеческий, в каковой он находился от недостатка писателей разумных.

— Трудна наука стихотворческая, и великое знание во всём тому человеку иметь надлежит, который стихотворцем быть хочет, если к тому же он от природы имеет поэтическое дарование.

— Правила одни стихотворческой науки не делают стихотворца, но мысль его рождается как от глубокой эрудиции, так и от присовокуплённого к ней высокого духа и огня природного стихотворческого.

— Разум наш открывается после многого иногда заблуждения, ежели не имеет прежде доброго руководителя, и люди отворяют глаза, когда ночь уже приблизилась, то есть при конце жития нашего.

— Каковое бы для рода человеческого было просвещение, ежели бы с самого вступления в чтение книг могли мы понимать доброту всякого Автора и осуждать его недостойность или иногда и истовое незнание?

— Иной думает по самолюбию, что похвала домашних и притворного приятеля есть та самая апробация, которой в публике Авторы ищут, и от того столь горд становится своими в Поэзии мнимыми успехами, что судит о всех сочинениях без разбору и без остановки и тем бич подаёт на своё невежество людям здравого рассуждения.

— Другие напротив, написав несколько невежливых рифм или нескладных песен, мечтают, что вся поэзия не дальше простирается, чем их знание постигло.

— О коль великий удар, когда стихотворец услышит стороной, что кто-то дерзнул назвать песню его нескладною! Такому он не отпустит ни в сей, ни в будущий век; извержет на него весь яд свой: сулит все пропасти земные; татьбу церков-



ную на него взводит. Бегаёт и мечется с ярости к другу и недругу в дом; проклятию предаёт желание служить наукою народу; кричит, что общество видимой лишается уже пользы. Сожгу книги! брошу стихотворство!

— Таковы всегда те стихотворцы, которые сами себя хвалят и чтут себя за великих, не уважая, что публика о них говорит. Обыкновенно они думают, что их стихи велики, но великие стихотворцы стихами своими всегда недовольны и с сомнением в народ их выпускают.

— Стихотворец, не знающий ни грамматических правил, ни риторических, да когда ещё недостаточен и в знании языков, а тем более в оригинале Авторов, ежели не читал тех, которые от древних веков образцом стихотворству остались, никогда до познания прямого стихотворства дойти не может.

— Вместо того, чтобы не различать в грамматике частей слова и не ценить её знание, которое педанством называешь, вместо отказа от церковных славенских книг, чтение которых весьма помогает доброму слогу и правописанию; будь не только знаток, но и критик и учитель в том языке, на котором пишешь.

— Вкус наш происходит от многого чтения, пока на свой вкус положиться ещё не можем. Ежели правил в сочинениях не знаем, ежели своей собственной материи довольно не имеем, то высокоость разума в одно только нас удивление приводит.

— А хотя и подражать отважимся какому ни есть сочинению, что пускай бы нам и удалось, то в продолжении той же материи, или тому подобной, тот час примечено будет наше истощение. И такой Автор никогда ни ровного стиля, ни ровного духа иметь не может: но через час или день труды его снижать свою цену будут.

— Положи основание по правилам Философии практической к благонравию. Пробеги все прочие науки и не кажись в них пришельцем. Научись тем языкам, в которых библиотеку найдёшь тебе учителей. Поступи во глубину чтения книг, найдёшь науку баснословия, которая тебя вразумит к понятию мыслей старинных стихотворцев.

— Ежели из правил политических знаешь уже должность гражданина, должность друга и должность в доме хозяина и все статьи, которых практика в Философии поучает, то стихами богатства мыслей не трудно уже украшать, был бы только дух в тебе стихотворческий.

— Помни, что все народы в употреблении пера и изъявлении мыслей много между собою различаются. И для того береги свойства собственного своего языка. То, что любимо в стиле латинском, «французском» или немецком, смеху достойно иногда бывает в Русском. Не вóвсе себя поработай, но ежели в народе слово испорчено, то старайся оное исправить. Хотя и свой собственный составишь стиль, однако ж был бы он чист в правописании и этимологии, плодоносен в изобретении слов и речей приличных, исправен в точности их разума, в ясном мыслей изображении, в непринуждённой краткости, в удалении от пустого велеречия, в падении по просодии, в периодах незаплетённых союзами, наречиями и междометиями, мысль твою затемняющими.

— Счастлив тот, которого природа одарила. Он, имея талант, часто сам выше своего разума возвышается, тогда как другой без сего таланта, что ни скажет в стихах, ползает и пресмыкается по земле.

— Литература кроме того, что во внутренности её сокровенно, наружной в себе много красоты имеет, которою читатель услаждается.

— Стихотворство должно быть почитаемо за самую труднейшую науку между многими другими. Многих наук совершенство имеет свои пределы, но стихотворство иметь их не может.





Борис ЛУКИН

Рузский район, Московская область



* * *

Проморкло. Скоро снег взойдёт.
Мне снится женщина чужая,
освобождает от тенёт
моё жилище, обживая.

Она не скажет: «...Поделом.
Я от тебя ушла бы тоже».
Хотя бывает суше, строже —
когда в руке моей перо.

...Мы целый день ещё на «вы»;
так до любви который раз;
а от того, что не правы, —
темнее в ямочках у глаз.

Истерику, и ночь, и снег
избегнув — милая, чужая,
всё кутается в сонный смех,
ни словом мысль не нарушая.

* * *

У Бунина на сеновале
мы спим в осенней неготе.
Мы никогда с тобой не спали,
дыханьем возвращая те —
тела растрачивают пламя.

Но слышим, яблони в саду
миг продлевают; знаю, память
с падучей звёздочкой в ладу.

Движеньям вторит шорох сена.
Всё это деется ладком.
И отчего, шепни мне, лень нам
прерваться, выгрести. — Потом.
То мы запомним, тишь порушив,
рассветом сбиты наповал —
среди созвездий вязких кружев
окна проём на сеновал.

Парафраз

За окном метель.
На душе метель.
Неуют для тел,
если порознь те.
Если возле тьма
под окном легла —
неуют в домах
и тоска в углах.
И растёт, как тень,
и ползёт к ногам,
гонит — лучше где,
где нас нет пока.
Там огонь печи
будет тень растить
старых ста причин
на один мотив.
За окном метель...

* * *

Когда тебя, как полную луну,
из темноты вдруг извлекло пространство,
я понял, что в той полынье — тону,
и выплывать, по меньшей мере, странно.
Упругое сияние влекло,
вбирало всё в себя: слух, зренье, память:
рождалася вселенная... легко
само себя вылепливало пламя.



* * *

А снег всё шёл. Он был как та река,
в которую вошёл, и ты вошла.
Я видел — ты брела издалека,
Оттуда, где ты до меня жила.
Там солнце было в полный небосвод,
И детство в нём плескалось, страх тая,
И всё это скрывало божество
По имени «любимая моя».



Мария МАЛИНОВСКАЯ

Гомель, Беларусь



* * *

Ни лишнего слова, ни лишнего жеста —
Попробуй хоть что-то сказать невпопад!
Родное, блаженное, жуткое место
Мой маленький... крохотный... ласковый ад!

Здесь каждый обязан поддерживать пламя
Ладонью! Иначе отныне и впредь
Не с нами! — А если ты будешь не с нами,
Гореть тебе в пламени, ох как гореть!

Со всех семерых прегрешенья снимая,
Ладоней отнять не могу от костра! —
Единственно, неисчислимо восьмая —
Любовница? Гостья? Хозяйка? Сестра?

Здесь каждый Другой — и один Прокажённый,
Фагот перевёрнутый, прежний Сократ...
Не в гости меня и не в сёстры — а в жёны! —
Ждал маленький... крохотный... ласковый ад!

Ни лишнего слова, ни лишнего жеста,
Мой слог не по-девичьи скуп и остёр!
Приветствую ад, нехристова невеста,
И, как на алтарь, восхожу на костёр.

* * *

Передай мои молитвы Богу,
Посмотри, как выслушает их,
А потом расскажешь.
Понемногу
От тебя затеплю новый стих.



Я тебя люблю. И незаконным
Чётким слогом это говорю.
Я тебя люблю — не по канонам,
Этикету или словарю —

По слогам, по звёздам, по ладони,
Лёгшей мне на стих, как на штурвал.
Всё об этом — истинном — каноне
Бог через тебя передавал...



Новелла МАТВЕЕВА

Москва



Юдоль прогресса

Как жаль, что на часах, компáсе, лоте
Да на вещицах — чуть хитрее шила
Спецов изобретательской работе
Никак нельзя *остановиться* было!

Что странная неведомая сила
(Ни дать ни взять — Валькирия в полёте!)
Гнала их *дальше* — где, в конечном счёте,
В план Архимеда вломится... горилла!
Нам навязали скопища глупейшей
Сверхтехники! Величественно-жалкий
Рывок навстречу грозной Нахлобучке!..

Там, где довольно было б Авторучки,
Настольной Лампы, Примуса и Прялки,
Повозки лёгкой да Прогулки пешей.

Медовая липа

Есть липовый мёд. Есть — медовая липа!
В ней птицы мелькают и спорят до хрипа;
У них новостей удивительных кипа!
И терпит их гвалт многолапая липа.

Весенние ночи прозрачны и юны.
А липа — как липа. И только в июне —
В беспечном июне — она зацветает —
И сладостный воздух под листьями тает...

Есть липовый мёд. Есть медовая липа;
К ней липнет оса — луговая Ксантиппа.



Пчела к ней летит — луговая Медора —
Искать меж ветвей для себя коридора.

Есть липовый мёд. Есть медовая липа.
Она, между прочим, спасает от гриппа!
С красиво заваренным липовым чаем —
Без страха мы зимние вьюги встречаем.

Так что ж нам — борей, надувающий щёки, —
На *красного лета* имперском припёке?!
Где рощи рисуют под зеркалом зноя
Своё отраженье — в траве — кружевное?

Гроза ль набежит — и овсом, и осокой
Повеет, летая вокруг липы высокой, —
Листва просветлеет, листва омрачится,
То ниц — то в зенит... И ни с места — и мчится...

Стихия не мёд! И покажется дивом,
Когда перед ливнем, под серым порывом —
Тем слаще задышит цветущее древо! —
Как тот, кто становится лучше от гнева.

Есть липовый мёд. Есть медовая липа.
Но не подпускайте к ней Урию Гипа!¹
Он высосет соты. Он дерево спилит.
Он — весь чудодейственный дол — обессилит!

Но кто бы ни ждал бы от лирики — всхлипа
(Ближайшая рифма — *царевна Подципа*),
Мы будем решать в продолженье июля —
Как вытурить трутня и шершня из улья!

Есть липовый мёд. Есть медовая липа.
И ствол у ней прям — без особого скрипа.
И корни у ней — недоступные сглазу
(Поскольку никто их не видел ни разу).

Двух бурных столетий солдат оловянный —
Я чуть не забыла о липе медвяной!
И, в общем-то, с третьего только захода —
Строфа возвращается к Дереву Мёда...

Под липовой тенью, под липовой сенью
Художник — от зноя — спасается ленью,
И мысли приходят ему того типа,
Что *светится мёдом* зеленая липа.

¹ Речь об одном из диккенсовских злодеев («Дэвид Копперфильд»).

В царстве книг (Страница Купера)

После тягостных трудов
И негладных забот —
От ночных снегов и льдов
К нам на помощь сон идёт.
И заносятся на слайд
(Лицам подлинным взамен)
Добродетель Перибрайт
И дворецкий Бенджамен.

Не дитя и не старик —
Странный крошечный крепыш;
На нём пудренный парик.
И косицу разглядишь.
Этот циник, плут и хват
Несколько мужиковат.
Но по тонкости жабо
Вам тягаться с ним слабо!

Если годы перебрать,
То не знают перемен
Добродетель Перибрайт
И дворецкий Бенджамен.
Экономку там и тут
«Добродетелью» зовут,
Но чепец на ней сидит,
Как на каторге — бандит.

Чопорна и холодна,
В креслах нежится она.
Только б ей не прозевать —
В доме все бразды забрать!
Впрочем, иго тех интриг
Нас касаться не должно;
Это было так давно!
Это было в Царстве книг...

Что же трогает меня?
Что в столетьях веселит?
То, что кофе снят с огня
И по чашечкам разлит.

Три измерения

Есть *женские* стихи. Есть *дамские*. Есть *бабьи*.
И *женские чисты*, как ветерок на дамбе.
И *дамские* — *смешны*. (Хоть и глаза не жабьи.)
Но *бабьи*... те *страшны* в их зверском препохабье!



* * *

О злодеяньях людская молва
Всегда не попад безобидна.
...А кто на Лорку наговорил —
Даже на снимках видно.

Этот завистливо-злобный эстет...
Однако мы умолкаем!
Вымороченный авторитет
Ныне непрерываем.



Сергей МАТЫЦИН

Воронеж



✉ Почта
ДП

Мастер

Мой смех звучит отдельно от веселья,
Отдельно сплю, отдельно вижу сны.
Я мастер слов отдельно от беседы
И мастер битв отдельно от войны.

Меня, как страх, отдельные малюют,
Чтобы отдельно стало им страшней.
Не грустно мне за жизнь мою такую,
Отделена от жизни грусть о ней.

И мне уже практически не больно,
Хотя болят отдельные места.
Отделен я — и этого довольно.
Я — мастер. Мастер с чистого листа.

* * *

Я слушаю Рахманинова стоя.
Потом сажусь и выключаю звук.
И взгляд пронесет мысли сквозь обои
Куда-то в детство... Будто наяву

Я окунаюсь в дни цветные эти,
Где в целом мире нет страшнее слов:
«Достаньте листики двойные, дети.
И уберите книжки со столов...»

Там взрослым стать хотелось поскорее,
Примерно так же, как сейчас — туда.
Я в зеркале лицо себе побрею.
И вроде бы моложе. Как бы да.



Плетётся время сонною коровой,
Жуёт траву как будто важных дел.
Опять проспал: всё ты! — приснилась снова.
Обидочный клубочек потолстел.

В тебя, как в крайность лютую, впадаю.
День-передень. И снова. И опять.
И вот потом не видимся годами.
Так не моря же! Что же волновать...

Включу. Играй, Рахманинов, погромче.
А выключу, так всё равно — играй!
Стою. Готов. Вези меня, паромщик,
За это море. В волны через край.



Дмитрий МИЗГУЛИН

Ханты-Мансийск



Стихи, написанные ко дню рождения

Когда едва-едва светает,
Чуть задымив, светлеет мгла,
И понемногу остывает
Костра полночного зола.

Июль, июль — макушка лета!
Ещё земля тепло хранит,
Но после этого рассвета
Уже короче станут дни.

Но нет и тени увяданья!
Уже светлеют небеса,
И вместе с птичьей песней ранней
Над поймой зазвенит коса.

И чаек раздадутся крики,
И в хороводе, так легки,
Закружат золотые блики
На волнах утренней реки.

Ну а пока во мгле туманной
Встречаю раннюю зарю,
Стою в лесу, как гость незванный,
И ничего не говорю.

* * *

Застыл на распутье — не знаешь —
Проблемы, куда ни пойдешь:
Налево — коня потеряешь
Направо — любовь обретешь...



Но ты молодой и упрямый,
Уверенно выбрал свой путь,
Решаешь — всё прямо и прямо
Вперёд — ни на шаг не свернуть!

Ни недруга рядом, ни друга,
Молчанье — зови не зови.
В тумане промозглом округа,
И нет ни коня, ни любви...

И нет ни привала, ни крова,
И нет ни покрывши, ни дна.
Тебе лишь дорога — основа,
Тебе только вечность дана.

И дали, туманные дали,
Где края достигнешь едва ли...

После охоты

Лишь ветер рассеет тяжёлую мглу,
Покинем лесное болото.
Светает. Устало идём по селу,
Была неудачной охота.
До дома десяток болотистых вёрст,
Идём тяжело и упрямо.
Минуя забытый, унылый погост,
На миг задержались у храма.
Когда-то он был и высок, и велик,
А нынче разграблен, разрушен.
И полуистлевший евангельский лик
Смущает мятежные души...
Высокие липы надсадно скрипят,
Им вторят кусты осторожно,
А ветры в развалинах храма гудят
Неистово, грозно, тревожно.
В пустых колокольнях, в глазницах пустых,
В остёвах разрушенных храмов
Они завывают, как хор бесовских
Неведомых грозных смутьянов.
То зычно смеются, то хищно свистят,
То плачут, то грозно хохочут —
Они над Россией притихшей летят
И тёмное что-то пророчат.
И, кажется, вторят и небо, и лес,
Волнуются тихие воды,
Как будто вселился неистовый бес
В спокойствие русской природы.
И душу охватит смятенье и страх,
А ветер поёт и гуляет.

И вот уж в тяжёлых ружейных стволах
Он песни свои завывает!
А небо подсвечено тусклой луной,
Что в озере сонном дробится...
И нет в поднебесье креста надо мной,
Чтоб смог я перекреститься...

Встреча

Судьба испытывает дважды,
И дважды ты ответ давал.
В Париже Вяземский однажды
Был зван на некий важный бал.

Соображаясь с политесом,
Стоял, как маршал на плацу...
И вдруг, о Господи, с Дантесом
Столкнулся он лицом к лицу.

Под сводами блистали свечи.
Дробился в хрустале огонь.
Дантес обрадовался встрече
И князю протянул ладонь.

О чем подумал князь? — Не знаю.
Быть может, стал припоминать,
Как бедный Пушкин, умирая,
Шептал-просил морошки дать.

А за окном — дождливый вечер,
Парижских улиц мерный гул...
И Пётр Андреевич навстречу,
Помедля, руку протянул.

А пары в танце мимо, мимо.
Бокалов пенных гулкий звон...
Не так уж трудно объяснима
Распавшаяся связь времён.

Мы духом вознеслись в победах,
Окрепил в горе и любви,
Но некого винить нам в бедах,
И в смутах русских, и в крови...

Да, мы обречены на муку,
Нас презирают все вокруг —
Ведь твоего убийцы руку
Смущённо жмёт твой старый друг.



* * *

Вновь устав от жизни бестолковой,
Покидаю шумный Петроград —
Мир мой тополиный и кленовый,
Мой вишнёво-яблоневый сад...

Поднимаюсь по крутым ступеням,
А вокруг такая тишина,
И таким таинственным свеченьем
Комната моя озарена.

Я вздохну немного виновато,
Но уже теперь, на склоне дня,
Кроме Бога и военкомата
Нет теперь начальства у меня.

Подойду к окну — ещё не поздно;
Сонный мир объемлет тишина.
Тихо зреют яблоки и звёзды,
На ветвях качается луна.

Ничего теперь уже не надо...
Тихо шепчет влажная листва,
И плывут во мгле ночного сада
Русские, печальные слова...



Евгений МИНИН

Иерусалим, Израиль



* * *

так и живу, как в воду гляжу
а на воде — круги
а человек похож на баржу —
лишь бурлака впряги
знаем: всему назначен предел
сгинет мир в чехарде
всё угадал — как в воду глядел
да нету правды в воде

Конфискация

Собаку отобрали за долги,
точнее бы сказать — конфисковали.
Среди чиновных очень много швали,
но чтобы так туманило мозги?
А завтра реквизируют детей,
родителей,
продать заставят почку...
Так доведут, что и потом заточку
воткнуть в себя захочешь без затей.
Клин клином выбивают, деньги — злом.
Отвечу с прямою ближневосточной,
что если так пойдёт — то знаю точно —
до атомной войны не доживём.

У врача

Что наше сердце, друг, — беспомощная мышца,
Сам чёрт не разберёт, чем лечится она.
Не разорвать ей круг, чем издавна томишься,



Валерий МИХАЙЛОВ

Алма-Ата, Казахстан



* * *

В черешневом саду, под липой золотой
Мы пировали,
И светлое вино с горчинкой молодой
В бокалы наливали.

Под липой вековой какие-то слова
Зачем-то говорили,
И белоснежный сад, и свежая трава
Куда-то плыли.

Над липою в цвету неслышимы слова,
Лишь пчёл гуденье.
И золотилась мёдом синева
Сквозь кружевное пенье.

Неслышимую песнь затеяли цветы...
В смятенье оробелом
Душа моя плыла — и зрела с высоты
Лишь золотое в белом...

Деркул¹

Там отмели ясною мглой тополиной густели,
Там дёргала цапля рыбёшек птенцам про запас,
Там брачною песнью так жабы под вечер гремели,
Что воду рябило промеж берегов битый час.

Там саблей серебряной путь подрезала стерлядка
И чуяла остро, всем телом, резвясь в глубине,
Как вольно и гладко и как упоительно сладко
Скользить по волне своим светом летящей луне.

Хлебников

Цветы ему степные песни пели,
Лягушки, словно Будды, бронзовели,
Он аист был задумчивый в траве.
Зрачок его пил дальнее пространство,
И ветра кочевое постоянство
Свободное струилось в синеве.

Летели цифры журавлиной стаей,
И смысл времён, как зыбкий клин, растаял,
Но угол зрения счастливо и легко
Пил птичью клинопись веков летучих,
Росу живую спелых звёзд падучих
И облака парное молоко.

Земля дышала глиной сотворенья,
Кузнечиков рассыпчатое пенье
Звенело, словно золотистый зной,
Столпом стояло марево певучье,
И тучей насекомые созвучья
Пронзали — синей, знобкой и сквозной.

Камней язык был будто гул глубокий,
Огня подземного змеились токи,
Ворчали и ворочались хребты
Урала сонного и пылкого Кавказа,
И магма проступала, как проказа,
Сквозь рвущиеся древние пласты.

Наивные и дикие народы
Топтали, как слоны, цветы природы,
Хрипели кони бешеных погонь.
И чёрных солнц цвели протуберанцы,
И девушки летели в брачном танце,
Как бабочки, на ласковый огонь.

Он слушал говор племени родного,
Глубинно отзывались недра слова
В обветренных от времени словах,
И корни родниковые журчали,
И флексии румяно оживали
И таяли на шепчущих губах.

Вздымалось до небес людское море,
Голодное, как зверь, шаталось горе,
И Русь в шальной купалася крови...
Он верил: это муки возрожденья
И всей Земли святое искупленье —
И сеял очи чистые любви.

¹ Деркул — приток реки Урал.



Земля ладью в космосе летела.
Весь мир был слово. Это слово пело.
И волны бились чередой в эфир.
Лишь песня неподвластна злу и тленью,
И по её певучему велению
Избрал он угол сердца, Велимир, —

Земного Шара нищий Председатель,
И волн хвалыньских трепетный вниматель,
Священник пылкий полевых цветов,
Птиц собеседник, облаков избранник,
Небесной воли бескорыстный странник,
Земных не знавший никаких оков.

Паслён

Арбузы, полосатые, как тигры,
Дышали алым сахаром внутри,
Рассыпчатым, как солнечные искры,
Как сгусток пламенеющей зари.

А в дынях жил медовый зной бархана,
Раскосым золотом горел в веках,
Что вывел суры сладкие Корана
На их шершавых, как песок, боках.

И виноград — как радостные слёзы,
Где в глубине зеленоватых вод
Сквозь времени мерцающие грозы,
Биясь, сердечко-косточка плывёт.

Мы услади растительной все — дети,
И радуги, и неги — испокон...
Но первой моей ягодой на свете
Был незаметный, словно жизнь, паслён.

По-за картошкой в нашем огороде,
На самых на задворках, где сарай,
Сам по себе он рос, как тень в природе,
И угощал как будто невзначай.

И гроздочек чёрно-лиловых сладость,
Чуть кисловатых, пряных, как трава,
Такую близкую дарила радость,
Что до сих пор понятна мне едва.

Звон

Как барбариса зимний куст,
В пожухлых листьях сер и пуст,
Сквозит шершавой немотою,

Так и душа его пуста,
И ягод чёрные уста
Молчат под коркой неживою.

Лишь семечки одни не спят,
Под ветром не они ль стучат,
Как в бубен, в мёртвую кожурку?
Им хочется на землю пасть,
Или взойти, или пропасть,
Но всё ж пробить немую шкурку.

И этот невесомый звон
Сквозь бесконечный стылый сон
Летит, летит, куда тихо,
Как эхо мёрзлое крови,
В надежде жизни и любви,
Сквозь времени пустое лихо.

* * *

О ветре о тёмно-зелёном шептались листья,
Воробьишки пышно в пыли придорожной
купались,

И девушки, свежие, как полевые цветы,
Душе своей, дикой, как мёд, глубоко улыбались.

И самозабвенно, великою негой полна,
Начала не ведая и конца-края не зная,
Неостановимая времени шла глубина,
Всё это куда-то с собой навсегда забирая.





Сергей МНАЦАКАНЯН

Москва



Впервые стихи Сергея Мнацаканяна в журнале «Юность» были напечатаны ровно сорок лет назад — в первом номере за 1972 год.

* * *

Под вечер занавески
просвечены насквозь,
вороны в перелеске
чернеют средь берёз.

Дома и лес, а между —
ни птицы, ни ствола,
ни счастья, ни надежды,
ни фальши, ни тепла...

И странная картина
осенних пустырей
вдруг ранит без причины
смирностью своей...

«Юность», № 1, 1972 г.

Прощание с императрицей

Сжимая скипетр в старческой руке —
о ужас! —
царица умирает на горшке —
слегка потужась...

Так вот откуда — зябко трепеща, —
как будто клуша,
стремглав стремится выпорхнуть душа —
долгой, наружу...

С Вольтером переписка... По ночам —
трещит перина...
Ночная ваза — всклень... Прощай, прощай,
Екатерина.

Нимфомания

Трудно поверить,
что этот толстый мужик
в семейных трусах
с пионерским сачком в руках
на склоне горного массива в Альпах —
на старом фото,
которое случайно попало мне на глаза,
не кто иной, как Владимир Набоков —
русско-американский аристократ,
автор знаменитой «Лолиты»,
чьей страстью была ловля
и коллекционирование бабочек.
Что испытывал писатель,
протыкая булавкой
пойманных им
невесомых красавиц,
очевидно, пробуждающих в глубине
его души
мечтания о
недостижимых нимфетках,
от которых
он был отгорожен
женой Верой,
сыном Дмитрием
и мировой литературной славой...
Думаю,
что именно эти легковесные мотыльки
и стали одной из причин
смерти писателя:
увлечённый ловлей бабочек,
он упал,
и травмы,
полученные им при падении,
стали началом болезни,
от которой Набоков
благополучно умер
в ныне знаменитой гостинице
в Монтре...
И здесь снова встаёт
безответный вопрос
о провидении,
недоступном пониманию смертных
и даже временно бессмертных,
о красивых мотыльках,



махаонах,
павлиньем глазе,
торжественном адмирале,
о лимонницах
и капустницах,
которые почему-то
так мучительно
влекут к себе
таинственные умы человечества...

* * *

А ты — пропойца и шут —
прикидывался столько лет,
что за тобою не придут,
что даже и потерян след...
Ан нет, догонят, заметут,
и не поможет парашют,
и не поддержит исполком,
а жизнь несётся кувырком...

Новые времена

Это — Русь, это Тушинский вор,
это доллары, это измена,
и классический ржавый топор
над загривом священника Меня.

Этот вечный топор занесён
над судьбою моей и твоею...
Подставляйте, товарищи, шею
под заклятие новых времён.

Это Русь — колдовская стихия,
воровская! — во веки веков,
это крупная буржуазия
за решётками особняков...

Это алчущий страх олигарха,
это мир, уходящий во тьму,
и растрёпаный томик Плутарха,
что не нужен уже никому...

Это Русь — и топор, и икона,
и проклятие новых времён,
это русский язык Альбиона
и украденный впрок миллион.

Это — Русь, это даль без предела,
это власти больная душа,
это зябкий озноб беспредела,
это красный петух мятежа...

Это Русь — не грядущим ли хамом
покорённая сразу и вдруг —
наши жизни заснеженным храмом
обступает, смыкаясь вокруг...

Отшумели хмельные мессии —
им уже не вернуться назад,
и по всей беспредельной России
иномарки, как свечи, горят...

* * *

Из коммунального уюта
мы прорвались в капитализм...
...и всё понятней почему-то
тоска перемещённых лиц.

* * *

Ваше время прошло, а моё не настало,
потому что, в потёмках руля
и свергая вчерашних богов с пьедестала,
начинает Россия с нуля.

Каждый раз начинает фатально сначала,
каждый раз оступаясь опять,
ах, Россия, зачем ты опять подкачала
и решила по новой качать?

А кукушка в дремучих лесах куковала
и такую накликала жуть,
что навалом в округе питья и товара
да в душе непонятная муть.

А Россия несётся на всех парашютах,
почему-то не дёрнув кольца,
потому что в России всегда промежуток
в роковом ожиданье конца.

Между тем гениальная жизнь отсвистала,
наплевав на подсчёты потерь:
ваше время прошло, а моё не настало —
слава богу, мы квиты теперь...





Дмитрий МУРЗИН

Кемерово



снова и снова пакуются вещи,
к маме — маршрут всем знаком...
что ж, разберёмся, бывало и хлеще,
не западайте на западных женщин,
русским твержу языком.



* * *

Мама, мне снилось поле,
В поле гуляла пуля.
Было ей там раздолье
Было ей там июлье.

Было ей там раздолье,
Было чем поживиться.
Птицы ушли в подполье.
Люди стали как птицы.

Мама, мне снилось лето,
Пчёлы, солнце в зените,
Первая сигарета,
Прожжённый свитер.

Старая радиола.
Бал выпускной и танцы...
Мама, мне снилась школа...
К чему покойники снятся?

* * *

не западайте на западных женщин,
в западных женщинах есть западня,
наши — не мёд, ну а те — ещё хлеще,
не западайте на западных женщин,
слушайтесь, братцы, меня.

сколько на сердце и шрамов, и трещин,
но снова хочется в плен,
к этой — побольше, а к этой поменьше,
не западайте на западных женщин,
всех этих софий лорен.



Валентин НЕРВИН

Воронеж



* * *

Я вовсе не пророк
 и даже не философ —
 на лаврах почивал,
 на нарах ночевал —
 по смутным временам
 доносов и допросов
 в сообществе своих
 сограждан кочевал.
 Я часть моей страны —
 загульной и былинной —
 и часть её любви,
 не знающей границ.
 Наверное, умру —
 и в Книге Голубиной
 добавится одна
 из множества страниц.

* * *

Я жил сомнительно и слепо —
 дороги побоку вели,
 но молния упала с неба,
 а тишина — из-под земли.
 Я понял это напоследок
 и видел молнию во сне,
 когда потомок мой и предок
 ещё не умерли во мне.
 Выходит, есть на свете сила,
 помимо кровного родства,
 которая провозгласила
 свои наследные права.

* * *

...карающего пенья материк.

О. М.

Расколосся во сне материк —
 оторвался от мира кусок.
 Тишина переходит на крик,
 только слёзы уходят в песок.
 Эту землю копытил монгол
 и питала кровавая ржа;
 добрый молодец — гол как сокол —
 красну девицу кормит с ножа.
 Ходит в небе кривая луна,
 получившая на ночь мандат,
 и Кремлёвская стонет стена,
 а под ней — Неизвестный Солдат.

* * *

От немыслимого чуда,
 коему названья нет,
 и до той поры, покуда
 существует белый свет,
 может стать, недалече.
 Но от века — там и тут —
 по этапу русской речи
 нас конвойные ведут.
 Оттого, что уязвимы
 наши души во плоти,
 все пути исповедимы,
 кроме крестного пути.
 Поминай меня, Иуда,
 от угара этих лет
 и до той поры, покуда
 существует белый свет.

* * *

Как будто не спишь,
 но при этом боишься проснуться,
 как будто бежишь,
 но совсем никуда не спеша, —
 и вот наступает пора, наконец, оглянуться,
 и в столп соляной обратится живая душа.
 Бывает и хуже: забудешься и обернёшься,
 душой соляной сатанея в дорожной пыли, —
 как будто не спишь,
 но уже никогда не проснёшься,
 как будто бежишь,
 но уже не касаясь земли.



Галина НЕРПИНА

Москва



* * *

Усталых сосен — корабельных мачт,
 Что держат небо, — не редет строй.
 В траве ночной остался красный мяч
 Зброшенною детскою игрой...
 Плащом широким августовский дождь
 Пускай накроет нас из темноты.
 И ты его уже не переждёшь,
 И в нём со мною растворишься ты...

Венеция

1.

Мысль об иной — быть может, лучшей —
 жизни,

Которую сей город воплотил,
 И гордость, и любовь к своей отчизне,
 И предрасположение светил.

Нет ничего красивой этой смерти,
 Как будто сам Творец нарисовал
 Роскошный праздник: не пугайтесь,
 верьте,
 Жизнь после смерти — тот же карнавал

И свет в окне старинного палаццо.
 Ты хочешь знать, что может быть внутри?
 Всё можно вспомнить, если постараться, —
 Лишь стёкла разноцветные протри!

Чьи тени прихотливо оживают,
 Когда зовёт невидимый звонарь
 Смотреть, как вечерами зажигает
 Венеция волшебный свой фонарь?

2.

Коль жизнь есть дар —
 то будней не бывает.
 Хоть из лагуны время убывает —
 Вода, напротив, наступает. Но
 Венеция опустится на дно
 Не раньше,
 чем дойдут у Бога руки
 Осуществить панические слухи.
 И даже если так случится —
 пусть...
 Здесь часть пейзажа составляет грусть.
 Плывущие дворцы, туман и запах,
 И львы печальные
 на чудных мокрых лапах,
 Как будто долгой смертью
 жизнь поправ,
 Со смертью не кончаются,
 ты прав.

* * *

Как только тьма тебя накроет
 Поскольку прочности не хватит
 Миры развеются как пепел
 Включая звёздные миры

Ты в той же темноте очнёшься
 Но вывернутой наизнанку
 И немигающе глядящей
 На принесённые дары

* * *

...и снег долгожданный
 похожий на чудо
 не падал уже
 но летел отовсюду
 чертил беспощадно
 меняя движенья
 почти нарушая
 закон притяженья
 бессонных небес
 ускоряя вращенье
 он вновь обещал
 и любовь и прощенье
 как будто в полёте
 тревожном печальном
 был отблеск нездешний
 любви изначальной...



Пушкин

Кто-то в шубе старомодной
Вышел рано поутру.
Воротник широкий поднял,
В лисью задышал нору.

Первых заморозков звёзды
Захрустят под каблуком.
Загулять ещё не поздно.
Поздно думать о плохом.

Ты в усадях быстротечных
Позабудешь страшный сон,
Как по самой чёрной речке
Повезёт тебя Харон.

Ты царям — в глазу соринка:
Глаз слезится и болит.
Петербург окутан дымкой,
Алой лентой перевит.

Так сверни-ка в переулоч,
Дверь твою запрём пока.
Как направленное дуло,
Смотрит скважина замка.

Но как только петел старый,
Встрепенувшись, прокричит,
Этот путник запоздалый
К нам в окошко постучит.

То, что сбудется вначале, —
Он нам смолоду сулил.
То, что скажет на прощанье,
Никогда не говорил.

Другу стихотворцу

Елене Исаевой

Весёлый полдень, солнечный укол.
Две лодки возле берега качались —
Когда стаканы ставились на стол
И легкою печалью наполнялись.
Здесь все друзья — и будет пир горой.
Кого зовём, кому сейчас кричим мы?
Уходит прочь лирический герой
И гибнет далеко не без причины.
Пусть не болит об этом голова...
Для всех, кого сегодня повидали,
Мы подберём несрочные слова

Из царскосельской и прекрасной дали.
Все прощены. Пускай не ТАМ, но здесь.
Чего бы жизнь ещё ни причинила,
Мы видим свет, а он, конечно, есть,
Когда к утру сгущаются чернила.
Мы не храним — и всё-таки храним
Всезнающего бреда достоверность,
Не понимая, что стоит за ним —
Упрямство или
непустая верность.

* * *

Вместе с летом внезапно
закончился год...
Неминуемый август смеркается грустно.
Лишь часы — как всегда убегая вперёд —
Остаются на месте
вполне безыскусно.

Ты стекло осторожной рукою протри,
Потому что ничто не напрасно,
не мелко.

Нужно жить — с этим светлым
пространством внутри —
И следить, как взволнованно
прыгает стрелка.





Александр НЕСТРУГИН

*с. Петропавловка, Воронежская
область*



Поля, что вмяты в слякоть по края,
Лесополос то штопка, то прорехи.
И вдаль ведёт, блистая, колея —
И с гусеничной тягой не проехать...



* * *

Мысль сокровенна, а слово — соборно.
Слово живёт то равнинно, то горно.
Помню: одна из его половин —
Камень, что держит стремнины лавин.
Помню: его половина другая —
Губы ожёгшая влага тугая,
Знобкая влага ключа-родника;
Губы всё ищут, изнемогая, —
Камень вслепую находит рука...

* * *

Я жил... Я жил! Душою не кривил —
Не для наград, не для витрин (навынос)...
Я сердце к тонкой веточке привил
Вишнёвой — и рассвет однажды вырос.

А тот, кто боль объехал по кривой,
Себя, себя лишь оберечь желая,
Не знает, как светло болит привой,
И после этой жизни — заживая...

* * *

Дожди проходят садом, как свои.
Скользят оврагом, приминают выгон.
И достают из тёмной колеи
Светящий путь к ночным небесным книгам.

И шелесты листвы стекают ниц...
Рассвет алеет вишеньем, стирая
В небесной книге несколько страниц,
Последних самых... Вместо них до края —



Олеся НИКОЛАЕВА

Москва



Сложный глагол «быть»

Кошки горящий взгляд,
 Птицы тревожный крик.
 Ветер ночной сад
 Пробует на язык.
 Рьяно ему в ответ
 Брешет приبلудный пёс.
 В зелени лунный свет
 Порист, как купорос.

Всё это — «жизнь проста»,
 Как говорится здесь:
 Тяжкая суета,
 Страх, шебуршенье, взвесь.
 Писк средь травы густой,
 Возле кустов — возня.
 Именно что — простой —
 Стать учили меня.

Попросту — выживать,
 Теснить с разных краёв,
 Выдавливать, выживать
 Всяких там воробьёв.
 ...Лучше уж спать, плыть,
 Разрывать у берега сеть,
 Сложный глагол «быть»
 В тесной груди вертеть.

Роза и аскеза

Тугой ошейник из железа.
 Шипы кровавые остры.
 Всё так, ведь роза и аскеза —
 у нас две сводные сестры.

Великопостного наркоза
 вкусив, мутнеет голова.
 Но роза алая, но роза
 в своей реальности трезва.

Когда ж соблазна и надреза
 и тли — угрозы непровоорот,
 одна аскеза, лишь аскеза
 издержки на себя берёт.

...Так всем дадут: ханже — навозу,
 новонаначальному — страду,
 а постнику подарят розу,
 а оглашенному — звезду.

Майор

Говорит сыну майор: сынок,
 отправляйся-ка в армию — там спустят с тебя
 жирок,
 там тебя и вкрутую сварят, и пить дадут кипятком,
 чтоб словил ты кайф от устава, и толк, и ток!

Там тебя научат бриться до синевы
 и повыбьют шалость и дурость из головы,
 обомнут, обстригут, обтешут, отрежут хвост:
 гладкий-гладкий весь — без сучка, без задоринки —
 прям и прост.

А как встанешь навтыяжку, чтобы к ноге нога,
 мышца с мышцею в сговоре, кожа туга-туга,
 так ведь музыку сфер почувешь, и прок, и строй,
 чтоб завяли Гога с Магогой — нардец злой.

Всё-то лучше, чем так — былинкой малой
 балдеть
 да поганкой бледной на пне трухлявом сидеть,
 среди геев шастать, шустрить шестёркой, бабла
 искать,
 гнать пургу, да фуффло шобить, да в сортире
 чужом икать.

Ан — припомнишь после, как что, — как
 маршировал,
 как во мраке на брюхе полз, землю-матушку
 целовал,
 «чёрный ворон» в траншее пел под шрапнельный
 шквал,
 а очнувшись, понял, что Бог тебя «крышевал».



Лиля из Харькова

Лиля из Харькова — миллионерша теперь.
 В Нью-Йорке
 всем заправляет: всем золушкам даст урок.
 Всё у неё — о'кей, да сидит в подкорке
 вредный украинский суслик, российский лютый
 хорёк.

Что-то они там грызут-грызут в темноте
 безвидной,
 вредители, пачкуны... Лиля же — всем назло
 жахнет с таким акцентом американским на мове
 ридной,
 чтобы не повадно было, чтоб знали: ей повезло!

Лиля скупает живопись, крутит и вертит рынком,
 Лиля выходит в дамки, кости её крепки
 фосфором, костным мозгом, волос насыщен
 цинком,
 мышцы богаты магнием и кальцием — позвонки.

Тук пружинист от жира, зубы — сплошь
 из фарфора.
 Жилы её упруги, тельца кровяные — красны.
 Она — в двух шагах от бессмертия, в одном шагу
 от фавора.
 Сдохните ж, крысы позорные! Сгиньте ж,
 проклятые сны!

* * *

Плакальщица Наталья
 плачет, что муж ушёл,
 жизнь не удалась, дочь мала, отец на подъём
 тяжёл,
 бедность, дождь, гололёд...
 Поплачь и обо мне — может, пройдёт.

Плакальщица Наталья
 плачет, что жизнь под откос,
 старость на носу, дочь родила, у отца психоз,
 нужда, зной, смог, пот...
 Поплачь и обо мне — может, пройдёт.

Плакальщица Наталья
 плачет, что всё, конец:
 внучка мала, дочь развелась, умер отец.
 Всё в этом мире — зло, зло и зло.
 Поплачь и обо мне — почти уже и прошло.

Стихопроза

До абсурда довёл Дима Быков
 стихопрозу — в сплошную строку
 стал записывать, рифмой утыкав,
 да в статьях токовать на току.

Журналистики стильной и хлёсткой
 очевиден эффект для ума,
 но в итоге становится плоской
 стихопроза как способ письма...

Я ещё до «лихих девяностых»
 своенравный построила стих
 на таких буераках, наростах,
 на колдобинах, кочках кривых.

Заземлила и к розе навозу
 натаскала, как сквозь решето
 прогоняла сквозь русскую прозу
 и в своё одевала пальто.

И герои пером очевидца —
 разночинцы, и снобы, и сброд —
 имена обретали и лица,
 крест на шею, окно на восход.

Но тогда же на эту затею
 умный критик, провидя разлад,
 умоляя вернуться к Орфею,
 говорил мне: «К Орфею! Назад!»

Ибо не для копания в яме,
 пересудов, расчётов и шей
 эта власть, эта связь меж словами,
 это преображение вещей.





Николай НЫРКОВ

Спас-Клепики, Рязанская область



✉ Почта
ДП

* * *

Остекленела лунная дорога.
Спят до весны и страсти, и цветы...
Слова мои и помыслы чисты,
Как вера в человечество и Бога.

И если б не было падений и утрат
И беды не впивались мне в запястье,
Я б не считал превыше всех наград —
Простое человеческое счастье.



* * *

Заря сочится в краснотал,
Остывший зной осел истомой...
И манит сладкой полудрёмой,
Пахучим сеном и соломой
В лиловом мраке сеновал.

Ночной туман пройдёт по логу,
Сморит деревню чуткий сон.
И месяц жёлтый, как лимон,
Верхом усядется на склон
И на копну закинет ногу.

И в жёлто-розовую тишь
Любовь и грусть придут на пару...
Как по небесному бульвару,
Шагают звёзды по амбару,
Росою скатываясь с крыш.

И будет светлую печаль,
Когда над рощей и садами,
Играя нашими сердцами,
Гармонь расплается ладами
И поплывёт куда-то вдаль.

В луга до самого рассвета,
Где у реки горит огонь
И бродит в травах старый конь,
Уйдёт заплаканной гармонь
В руках кудрявого поэта.



Николай ПЕРЕЯСЛОВ

Москва



Осенние мысли

Небо московское серое-серое,
в тучах — разор и бедлам.
Осень приходит — и полною мерою
всем воздаёт по делам.

Осень вползает в дома холодрыгою,
сеется нудным дождём.
Целое лето, танцуя и прыгая,
что ж мы от осени ждём?!

Не отложив за душою ни зёрнышка,
что будем делать зимой?
Если остынет январское солнышко —
в мир не подашься с сумой.

В школе когда-то учили мы басенку
про стрекозу с муравьём.
Что же мы жили, не слушая классика,
только единственным днём?

Что ж мы скакали, треща, как кузнечики,
не утруждая умы?..
Осень приходит. И ждать больше нечего,
кроме грядущей зимы.

Ну, так достанем потёртые валенки,
шапку-ушанку найдём.
Есть у нас печка да песенки Ваенги —
как-нибудь переживём.

Бог даст, найдутся в чулане и в погребе
редька да пара картох,
в ведра воды наберём в чистой проруби —
будет наш ужин неплох.

Месяца три лишь и надо промаяться
в омуте вязкого сна.
Глядь — уже в окна дыханием мартовским
дышит, вернувшись, весна.

Вызреют нивы. Тугими колосьями
свесьтся долу хлеба...
Бог — милосерден. Лишь помни об осени,
имя которой — судьба.

От белого снега на сердце — бело

От белого снега на сердце — бело
и света в душе — как в берёзовой роще!
Все тёмные мысли пургой замело
и жизнь стала чище, светлее и проще.

И жизнь стала ясной, как день в январе,
наполненный снежным слепящим сияньем.
Мороз на дворе. Сады в серебре.
Весёлые святки с вином и гуляньем...

Не хочешь на холод — себя не неволь,
сиди замурованным в жаркой квартире.
Но белая былль, словно белая боль,
отыщет тебя в заметленном мире!

Ведь ты не медведь, чтоб медлительно сны
листать до весны в полутёмной берлоге,
лишь к маю решив из-под корня сосны
восстать, чтоб размять занемевшие ноги.

Зима для тебя — родовая печать,
твой воздух ментальный, твоя атмосфера.
Ну как же тебе снегопад не встречать
с задором ликующего пионера?

Смотри, как зимою земля хороша!
Бежит санный путь через все расстоянья...
От белого снега — сияет душа.
Попробуй сберечь в себе это сиянье.

2 февраля 2011 года

И вот — приходит к нам
мурлыкою ушастым
китайский Новый год — то ль Кролик, то ли Кот.
А может — Кото-Кроль. Неважно. Лишь бы
счастье
принёс всем этот год, чтоб счастлив был народ.



В Китае в этот день всюду кипят пельмени,
взлетает фейерверк средь мирной синевы,
и празднество — шумит!.. (Для рифмы —
до Тюмени,
а наяву — уже до самой до Москвы.)

Кругом — сплошной Китай! Россия — желтолица,
как солнечный Пекин, Тяньцзинь или Нанкин.
Скажи-ка мне, Москва, ты чья сейчас столица?
В тебе уже лица родного не найти.

Китай-город шумит, творит коловращенье
щебечущих, галдящих птичьих стай.
Кремлёвская стена — всего лишь продолженье
той каменной змеи, что оплела Китай.

Взлетает фейерверк — то высоко, то низко,
от искр уже в глазах — слепящие круги.
Приходит год Кота... Входи, не бойся, киска,
я так люблю, когда ты трёшься у ноги!

Садись на мой диван иль прыгай на колени,
мне нравится твоё домашнее тепло,
мурлыканье твоё, дух беззаботной лени
и детства, что давно куда-то утекло.

Что там грядущий день наутро нам готовит,
когда мир зашумит, проснувшись, как базар?
Моя страна давно уже мышей не ловит,
быть может, хоть на год ты ей вернёшь азарт.

Входи ж скорее в дверь, усатый-полосатый,
и холод за собой поменьше в дом впускай.
Похоже, что, бредя к России по лесам, ты
и сам давно продрог насквозь, до волоска.

* * *

По жанру зима — это проза,
тяжёлых раздумий труды.
Деревья трещат от мороза,
закованы реки во льды.

Сурово листаются главы,
по льду водоёмов скользя...
Написано всё не для славы,
а просто — иначе нельзя.

Иначе ленивая нега,
как водка, весь мир развратит...
Побольше мороза и снега!
Пускай он погуще летит!

Пусть выбелит дали и доли,
леса, города и сады,
плывя над землёй, как гондола,
среди белопенной воды.

Мы тёплые шапки напаялим,
во двор торопясь впопыхах,
где, словно мартышки на пальмах,
вороны сидят на ветвях.

Как с радостью детскою сладить,
когда не во сне — наяву
увидишь вокруг эту сладость,
что издавна снегом зовут?

И сердце замрёт от мороза,
и всё ему станет видней...

...По жанру зима — это проза.
Но сколько поэзии в ней!..





Наталья ПОЛЯКОВА

Москва



* * *

Перетечь в бытие поспешив
без пробелов и пятен,
словно отрок, мир нежен и лжив,
близорук и невнятен.

И дорогой, на ощупь, в ночи,
по примятым сугробам,
волоча свою ношу, молчи,
всяк идущий за Гробом.

Выдыхая клубящийся пар,
и глупец, и мыслитель,
принимай, человек, сей дар,
жизни жалкий проситель.

А истлеешь, тряпичный фетиш,
сколько нитке ни виться,
если ты себя — здесь — не простишь,
там — простится.

* * *

обнимаешь, а смотришь мимо
лежим почти старики
мне уснуть необходимо
на излучине руки

скрипнула и приоткрылась дверца
выпали носки
четыре года живу без сердца
вроде бы пустыки

в жизни моей от природы женской
много делается по-мужски

свет блуждает за занавеской
мечутся светляки

паутинка попала в полосу света
нити её тонки
не надо жалости и совета
не отнимай руки

* * *

В сиротском мире машин и бетона,
Друг друга оставив, кто мы теперь?
Путники, идущие без посоха и хитона
в единстве времени и потерь.

С каждым днём жизнь плотнее и глуше.
Вбираем землю, становясь землёй.
Всепрощающей, всезабывающей сушей —
слежавшейся почвой сырой.

Но судьба прорастает из текста —
как побег из продрогшей земли.
Поэзия — благословенное место,
где мы выжили б, если б смогли.

* * *

День по-февральски одинок и ветрен,
с другими днями он ничем не скреплен.
Темнеющий. Как страшен пустотой.
Он мне — «прощай», а я ему — «постой».

Повремени, пока я не уснула.
Овидия возьму или Катулла,
читаю на забытом языке.
Плывут слова, как льдинки по реке.

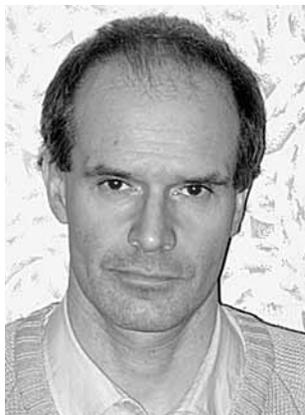
Паромщики сплавляют день вчерашний —
простого бытия осколок зряшный.
Вода качает поплавок луны,
закинутый с обратной стороны.





Сергей ПОПОВ

Воронеж



* * *

кого зовут тот ускользает
что называют исчезает
пуста воздушная волна

сквозной язык пленён добычей
с воловьей волей силой бычьей
он умножает имена

коварством лисьим и крысиным
грозит овинам и осинам
несмелой тверди здешних мест

и речь как вечная пиранья
вне рифм и знаков препинанья
сырое мясо яви ест

* * *

Вчерашний короб гол.
Всегдашний холод лют.
Колотится глагол
о вечный неуют,

увечный этот быт.
И покати шаром...
До доньшка избыт
под стареньким шатром

заснеженных небес
несвежий божий дар...
Возможно жить и без
надежд на гонорар.

Алексей ПУРИН

Санкт-Петербург



* * *

Придут — и скажут с умильем:
«Возьми, Овидий, этих рыб.
Сродни твоим стихотвореньям
краса их благородных глыб:
как строки дивные — упруги,
и серебро их тяжело.
Мы их добыли среди вьюги,
разбив морозное стекло».

И рослый мальчик краснорожий
украдкой глянет из-за спин
дядьёв, укутанных рогожей,
чтоб ты поверил: мир един.
...Мечты! Нет ни метемпсихоза,
ни воздаянья — видит Бог, —
ни слёз, ни рыбного обоза,
ни рослых мальчиков, ни строк.

* * *

Морозный Рыбинск не разбудит
Евтерпу в кварцевом гробу —
и только даром горло студит
Архангельск, дующий в трубу.

У чукчей нет Анакреона,
зырянам хватит и Айги.
Но кто метрического звона
придаст стенаниям пурги?

Кто наш, хмельной от шири водной
и хищный от смешенья рас,
российский мрак порфирородный
вольёт в магический алмаз?



Напрасно ль северные реки
прекрасней всех паросских роз?..
Но вот путём из грязи в греки
скользит полозьями обоз.

Он «Рифмотворныя Псалтири»
тоской нагружен и треской.
И раздвигает тьму всё шире
заря — багряною рукой.



Валентин РЕЗНИК

Москва



* * *

Да разве мы плачемся, разве
На высший надеемся суд.
Из нас выпекается Разин,
Из нас в Пугачёвы идут.
И память у нас не отшибло,
И с честью мы накоротке,
И мы ещё вытащим шило,
Что где-то таится в мешке.

* * *

Отышачив полвека
На родную страну,
Пенсионным калекой
Лямку жизни тяну.
Весь в душевных недугах
И в телесных рубцах,
С неизменной подругой
В сердце и на устах.
В головных размышленьях
О труде и борьбе.
В холостых сожаленьях
О протёкшей судьбе.

* * *

Неизвестной породы собака
На глаза попадается мне,
То в репейных медалях оврага,
В лишаях на облезлой спине.
То крутящейся возле помойки
И гоняющей птичий народ.
То застывши в стремительной стойке
И смотрящей скуляще вперед.



То сидящей под стенами храма,
Где я праздным зевакой стою, —
И глядящей спокойно и прямо
На бесстыжую морду мою.

* * *

...И не вспомнить, какого века
Здесь когда-то стоял собор,
Не узнать того человека,
Что пустил его под топор.
Зарастает чертополохом,
Превращается в трин-траву
То, что было счастливым вздохом,
Сном и сказкою наяву.

* * *

Купол сосны, словно купол собора.
Тихо вхожу я под своды ветвей,
Может быть, главная в жизни опора —
Это деревья Отчизны моей.
Ясени, клёны, берёзы, осины,
Непроходимые чащи лесов —
Вечная «скорая помощь» России.
Детство её городов и лугов.

* * *

Так вот чего недоставало мне,
Вот что явилось для меня спасеньем, —
Виденье в затуманенном окне
Берёз и клёнов в золоте осеннем.
Движение товарняка в ночи,
Мерцающее око семафора,
И пастушонок, что кнутом стучит
По клавишам дощатого забора.

* * *

Г. Р.

О чём бы мы с тобой ни говорили,
Про что бы ни писали мы с тобой,
Мы всё-таки в пределах правды жили,
У совести и чести под рукой.
И на святых ничуть не претендуя,
И в эталоны явно не годясь —
Мы всё-таки, смирясь и негодуя,
Держались, как могли, за эту власть.
Случалось, на три буквы посылали
В досаде на жестокость и враньё,

Но всё-таки себе не представляли
Ни жизни и ни смерти без неё.

* * *

Ноги отнимаются,
Сердце барахлит,
А она старается
Делать светлый вид.
Красится и пудрится,
Формирует бровь,
Каверзная спутница —
Первая любовь.
И не слишком верная,
Что уж тут темнить,
Но с другой, наверное,
Ты не мог бы жить.

* * *

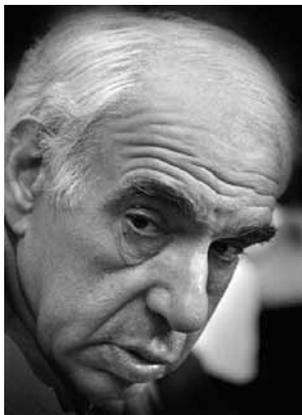
Ради Бога, не гневи ты Бога
И не требуй большего, чем есть.
От тебя отстали мразь и погань,
При тебе остались долг и честь.
Не канючь и не дави на жалость,
Не ломай ты Ваньку, сукин сын,
Ведь не так уж много и осталось
За душою у тебя святынь.





Евгений РЕЙН

Москва



Шарф голубой

Где эта улица, где Пять Углов,
Где я был молод и был бестолков,
Там, где я ждал тебя по вечерам,
Где на Фонтанку ходил по дворам.
Где заведения с кислым вином,
Там, где бутылку делили вдвоём,
Где этот башенный мост Чернышёв,
Где синеватый вечерний покров.
«Крутится-вертится шар голубой...» —
мне никогда не вернуться домой
и никогда не увидеть тебя,
как ты стоишь там, свой шарф теребя,
сгнула, канула в бездну времён,
был же я молод и был же влюблён
в эту улыбку и в эти глаза,
так отчего же сказать мне нельзя:
«Крутится-вертится шарф голубой...»
Где ты теперь? Воротись и постой,
Около булочной, там, на углу,
Честное слово, я снова приду,
Снова нальём по стакану вина,
Времени нету, а есть времена,
Их размывает речная вода,
Их отменяет любая беда.
Если же я не узнаю тебя,
Шарф я узнаю сейчас, как тогда...»
«Крутится-вертится шар голубой...» —
всё то, что было, пошло на убой,
Только остался небесный тот цвет,
Верный вопрос и неверный ответ.

Матч

Гляжу футбол.
Ведь я и сам играл
Центрального защитника когда-то.
Я и штрафной, случалось, отбивал —
Внезапный мяч до самого заката.
Бывало, что играл за вратаря,
Однажды даже я отбил пенальти,
Поэтому и мне благодаря
Мы выиграли первенство на старте.

То было в Териоках. Стадион
«Локомотив» в присутствии мальчишек
Кричал и бесновался, словно он
Намного лет опередил излишек

Положенных от века неудач
Блокаднику, пижону, доходяге,
Когда попавший мне под бутсу мяч
Летел в зенит и пропадал в овраге.

А я стоял, простёрши руку над
Травой пожухлой, стоптанной до корня,
Как Медный всадник, принимал парад
И возвращался сам к себе покорно.

Слуцкий

Помню Слуцкого. Шевиотовый пиджак,
рыжие усы и речь замедленная.
Мне казалось — что-то в нём не так
и повадка вроде самодельная,
Всех он расставлял, чины давал,
помню и партийность, дружелюбие,
Многое он отправлял в отвал,
проходил один среди многолюдия.

Был он мрачен. В долг давал легко,
Это я с ним познакомил Бродского,
На себя похож был самого,
И при этом — очень мало броского.
И, когда остался он один,
Стал вдовцом, закаменел до крайности,
Рыжина исчезла из седина,
И, должно быть, маялся от праздности.
Всё пошло не то, не так, не в лад,
Был он болен, хоть не в крайнем возрасте,
Всё ушло, и выступил талант,
Или гений, говоря по совести.
Не было людей ему под рост,



На доске — как ферзь в игре единственный,
Сам совсем серьёзен, хмур и прост,
Оттого-то был ещё таинственней.

Он вместил эпоху и войну,
Гибель неоправданной утопии,
Взял на плечи правду и вину,
То, что современники прохлопали,
Он им объяснял: «Вот так и так!
Граждане, насильники, товарищи...»
Как поэт, провидец и мастак,
Жертва и пожарный на пожарище.

Призыв

А что если Бог — это высший художник,
Создавший икону, простой подорожник,
И ямб, и хорей, и анапест,
Придумавший кисти, и краски, и слово,
И всё, что для нашего дела готово,
Сложивший всё это крест-накрест.

В такой мастерской подрастает мы вечно,
Старание наше да будет сердечно,
А плата — по лучшим расценкам.
Заказов — довольно, не только монархи,
И те, кто штампует почтовые марки,
И небо рисует на стенке.

Мужайтесь же, братья,
питанья и платья
У нашего Господа хватит,
А если он отбыл по срочному делу,
к иному пространству, к иному пределу,
то время труды нам оплатит.

Народ

От Кронштадта до Владивостока
В пламя, и в мятеж, и в недород
Проживает глухо и жестоко
Вместо населения — народ.

Он — кентавр от солнечной лазури
Скифского походного коня,
Потому-то никакой халтуре
Ни за что не убедить меня

Ни направить к милым вам берёзкам
Или голошенью наших птах,

Он стоит на мраморе поросском,
Ну а мрамор тот — на трёх китах.

Нету никакого умиления,
Пусть он голодает и вопит,
Жалость — это просто умаленье,
Что он стоит и на чём стоит.

Он задуман волей полубога,
Может быть, ему не нужен бог,
Он отринет всякого пророка,
Кто ему помыслит поперёк.

Потому что сам он — тело божье,
Кровь и смерть, ничтожество и высь,
Для чего брести по бездорожью,
Ангел говорит: «Остановись!»

Посреди земли и мироздания,
Между всех разбойничьих ватаг,
Матерно гудящий перед бранью,
Вечность зажимающий в кулак.





Владимир РЕШЕТНИКОВ

пос. Сухобезводье,
Нижегородская область



✉ Почта
ДП

Довелось верёвке бельевой
Выполнять и чёрную работу:
Как-то раз, рискуя головой,
Намотал её на шею кто-то.

Как же люди подвести могли! —
От стыда верёвка проскрипела,
Что пришлось ей в качестве петли
Чью-то душу выжимать из тела.



* * *

Осень голая, сырая,
Словно жаба, холодна,
Что замёрзла у сарая,
Не уснувшая, одна.

Проморгала, не успела
В землю врыться на покой...
Хорошо калине спелой,
Огнедышащей такой.

Но сгорит она и сбросит
Красны ягоды на снег,
Многим сокращает осень
Без того короткий век...

Потому на сердце горше,
Потому витают сны
И сгоревших, и замёрзших,
Не дождавшихся весны.

Верёвка

Было в радость для верёвки той
Веники вязать для русской бани,
Лазать по колодцам за водой,
Волочить нагруженные сани.

На верёвке плакало бельё,
Застывая в ранние морозы,
И окружность с помощью её
На лугу не раз чертили козы.



Наталья РОЖКОВА

Москва



* * *

Хорошо бы проснуться и знать,
 Что никто не подложит подянки,
 Хорошо с антресолей достать
 Свои старые детские санки.
 И, катаясь, глядеть в небеса,
 Поискать там местечко для духа...
 Что-то вдруг обожгло, как оса,
 Это пуля царапнула ухо.

* * *

Вселенная была
 Оранжевым цветком,
 И звёздная пыльца
 на стебель оседала.
 Я снова нахожу
 Её в своих карманах.
 Серебряно блеснёт
 Среди табачных крошек
 Подсолнечной трухи
 Знакомая песчинка.

Признание

Люблю тебя, Петра творенье...

А. С. Пушкин

Я тебя не люблю, Петербург — Ленинград —
 Петроград,
 Потому что сидит на игле золотой, непогоде
 по-прежнему рад,
 Серый грозный орёл; он за каждым движеньем
 следит,

Здесь Есенин вошёл в «Англетер», здесь был
 Пушкин убит.
 Перья влажны от сырости вечной, и клёкот
 пугает людей,
 Убежать бы от страшных квадратов твоих
 ледяных площадей!
 Чутко дремлет корабль, что бабахнул тогда
 холостым,
 Столько судеб сгубил, превратив их в две строчки
 и дым!
 Отчего-то носил имя древней прекрасной зари,
 Хоть на Запад смотрели стеклянные очи твои.
 Плотник-царь, усмехаясь жестоко, здесь пот
 утирал,
 Здесь монархов взлетали куски, караул караулить
 устал,
 Если что-то осталось в душе моей и в голове,
 Я щекой припадаю к любимой растрёпе-Москве.

В парке Боровска

Юный ослик
 Мягким носом
 Ткнулся мне в ладонь,
 И скудный
 Он пучок травы жевал.
 Так Божественный младенец
 Ощущал щекою нежной
 Это тёплое дыханье
 Под звездою Вифлеема.

Масленица

Как дрова в печи пылают!
 Круглобоки и пышны,
 Гордой горкой восседают
 Бело-жёлтые блины.
 Пряник рыжий, сочный, длинный
 Шкуркой сахарной блеснит,
 Пёстрый царь тетеревиный
 Тост весёлый говорит.
 Хоровод летит кругами,
 И меня он вдаль унёс,
 Нету тверди под ногами,
 И лечу я под откос.
 Сколько жить мне? Я не струшу,
 Пусть кукушка пропоёт,
 И хмельную примет душу
 Белоснежный самолёт,
 Пусть от Кушки до Игарки



Он крутой прочертит след,
Где пускают на сигарки
Батьки-идола портрет.
Потону я в море снега,
Захохочут небеса,
Пропадай, моя телега,
Все четыре колеса!



Андрей РОМАНОВ

Санкт-Петербург



* * *

Мы с тобою в тринадцатом классе,
После долгой блокадной войны,
Осознали на свадебной трассе,
Что друг в друга навек влюблены,

Ну, так горькие знания отсей-ка
Там, где ленты свисают с венка,
Чтоб твою красоту Маросейка
Оценила ещё до звонка...

Тривиальный покррой маркизета,
Сладкий благовест школьных котлет...
Твой дневник публикует газета
Через триста бессмысленных лет!

Пусть цветёт винегрет на тарелке,
Ведь, устав от сомнений и муз,
Наши правнуки, стоя на Стрелке,
Заклучают внебрачный Союз.

Отступи от проверенной схемы,
Нам с тобою она ни к чему,
Наплевать, что не сдали ЕГЭ мы,
Совершая полёт на Луну,

Нам неведомы райские кущи
И времён бесшабашная плеть,
Мы с тобою гордимся грядущим,
О котором не стоит жалеть.



* * *

Получив импозантные знания
В непривычной к свободе стране,
Ты ждала пробужденья сознания,
Неспроста сомневаясь во мне,

Ведь, пока в подвенечном наряде
Шла весна, хоть святых выноси,
Я-то знал, что батрачить у дяди
Не желает никто на Руси.

Голоси, или стой истуканом,
Иль рыдай над распятым Христом,
Всё кончается праздным стаканом
И похмельем в пиру холостом.

Мостопоезд отчалит с разъезда;
И тебе на планете опять
Не найдётся свободного места
Вслед ему на носочек привстать.

Растворяясь в ночном перестуке,
Не чураясь ручного труда,
Ты поймёшь: утомлённые руки
Не воспрянут в зенит никогда.

Но планета, устав от погони
За кометой, скользнувшей в овёс,
На твоей засыпает ладони
Вопреки расстоянью до звёзд.

* * *

Ты встряла в спор,
но вряд ли сунешься
В круговорот ростральных чувств.
Скажи, зачем ты вновь рисуешься,
Привстав на площади Искусств?

Зачем — воздав поэту сторицей
Вблизи музейной лепоты —
Тебе — когда любовь не спорится —
Дружить со мной до хрипоты?

Но в пику аргументу вескому,
Мол, бес в ребро — седым на вид,
Мы в третий раз
пойдём по Невскому,
И нас Господь благословит!

И в третьесортной забегаловочке,
Где лишь бомжи не поддают,

Нам эскимо несут на палочке,
Нектар в бокалах подают.

Потом, вползая в сумрак розовый,
Мы оседлаем горний свет,
И памятник, от злости бронзовый,
Нам позавидует вослед.

Не верь ему: тебе простор — жених!
Лети до млечного котла,
Среди бумажных звёзд
восторженных,
Испепеляющих дотла.

Путевой романс

Не святым, православным зачатьем,
Не языческой верой в Грааль,
Я считал одиночество — счастьем,
Без которого замуж едва ль...

Расставанье входило в привычку;
Но космическим взмахом руки
Ты вгоняла меня в электричку,
Привокзальной молве вопреки.

...Сумрак жёг светофорные взоры,
Притворяясь то добрым, то злым,
И, метлу оседлав, ревизоры
Собирали весёлый калым,

Не подвластны ни ахам, ни охам,
Предпочтя верховую езду,
Вдохновенно щипали по крохам
Проездную капустную мзду.

Вслед за ними — зимою и летом —
Пассажиров спасая от слёз,
Мы тащились вокальным дуэтом
В неподкованном стук колес —

Я мусолил скрипичное сальто,
Ты в Рамбове брала передых
И своё испитое контральто
Не меняла на пару гнедых...

* * *

Ни холщовой девки, ни заначки,
В общем, ни двора и ни кола,
Вот и всё... И песня ждёт подачки
От гостей с десертного стола.



Тлеют люстры, вечностью калечась,
На подобострастных потолках;
Прячет стыд компьютерная нечисть
В Интернете, сплетнях и долгах!

Ни в метро, ни даже в чистом поле
Нет любви, чтоб вслед сойти с ума.
Мне твой адрес подсказали в школе,
Где служил апостолом Фома.

Там, не веря Бронной и Расстанной
И треской космической давясь,
Я — Андрей,
 твой вечный Первозванный,
С прошлым восстанавливаю связь.

Пусть согнула Лиговку сутулость,
Прочь с дороги, доктор Айболит, —
Жизнь прошла,
 но молодость вернулась
На просторы тротуарных плит,

На дворы, погрязшие в утиле,
Где трава блокадных дров не съест.
Там, где мы под стол пешком ходили,
Чтоб не тратить деньги на проезд.



Дмитрий РУМЯНЦЕВ

Омск



Цирк

Я сызнова люблю простые вещи,
о мудрости не знаю ничего.
А в цирке слон — индийский бог Ганеша —
старается для сына моего.

И широко раскрытыми глазами
сын смотрит, как в лучах прожекторов
слон крутит обруч, вскидывает знамя,
на тумбу поднимается — без слов

и, трубный звук насадно исторгая,
как человек, на задние встаёт.
Сын спрашивает: — Папа, он — поёт?
— Да, он играет с нами. Он — Играет!..

А впрочем, я не знаю, знать не вправе
того, что открывается тебе.
Слон Индии играет на трубе,
куда на детства крошечной шикаре

ты уплываешь. Там — иные вещи:
любовь и смех растут из живота,
судьба чревата замыслом, густа,
и с маленьким, с тобою ищет встречи.

...Свет гаснет. Растекается толпа.
— Скажи мне, сын, что жизнь не так зловеща,
как кажется...

Читая сыну Барто

Ты разгваздал мой давний оберег —
хрустального слона. Его я склеил.



Судьбу ж не склеишь. Жизнь брала разбег,
но лайнер не взлетел — уткнулся в клевер.
Теперь на пепелище моего
полёта неудавшегося, кроха,
ты в жизнь вступил. Что хорошо, что плохо —
не знаю я, — зачем и для чего?

И потому мне страшно наблюдать,
как ты растёшь, и первые вопросы
слетают с губ. А я не Маяковский,
чтоб выдавать ответы. Страшно знать
про мрак галактик, про духовный космос,
где заблудились Юнг и Циолковский,
куда и я посмел тебя позвать.

А здесь на счастье не хватает сил,
а здесь за хлеб, за жизнь — до смерти биться.
Но ты сюда откуда-то явился,
в свою ладошку детскую схватил
мой палец указательный. Повёл
меня в игру, в распахнутые двери.
И надо ж так, что я тебе поверил,
и то, что потерял, опять обрёл.

...До половины выбрав жизнь свою,
я в лес попал к моральному зверью,
но вышел на знакомый оклик: «Папа!»
И то, что *оторвали мышке лапу*
и сердцем истрепался косолапый, —
ещё не горе — он ещё в строю.

* * *

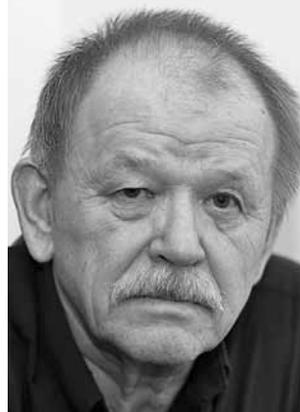
Порхает синица: опустится, в небо уйдёт.
И где помещается воля? Крыло, оперенье,
немного тепла — вот и всё. Но какое терпенье!
И сколько труда прилагает небесный народ:
здесь — пекло, там — холод, порывистый ветер
и град.

Нельзя зазеваться, нельзя оглянуться назад.
Нерайская птичка, чуть вправо, чуть влево — и ад!

Здесь — пропасть, там — пасть. Но откуда берётся
тогда
свечение ровного пламени в каждой пичуге?
Ведь это они, залетав во дворцы и лачуги,
твердили о том, что Небесные есть Города.
Откроется звёздная бездна. И будет незрим,
другим измерением задан, Иерусалим.
Но теплится свечка-синичка в горячей ладони.
Рябиновый куст разгорается, неопалим.

Геннадий РУСАКОВ

Москва



* * *

Опять гремят восторженные грозы,
опять они размером с целый дом.
И пролетают, спарившись, стрекозы.
И мошкара дымится над прудом.
Всё оказалось, наконец, понятно,
и стала жизнь осмысленно проста:
то раскачнутся солнечные пятна,
то пропиточит птица из куста.
Привычка жить даётся нам с годами.
А до неё — расходов на пятак:
всё веселит и всё как в новой раме —
стрекозы, грозы... Даром, просто так.
И ничего не помнится как будто,
а всё уже на матрицу легло:
и как пчела по-старчески обута,
и мёда диастазное число.
Прости мне, жизнь, бывшее небреженье.
Теперь мне всё дано в конце поры:
плесканье, порх, качанье и скольженье...
И редкий дым бездомной мошкары.

* * *

Когда в апреле верба зацветает
и машет в окна веткой налитой,
душа так тихо, так печально тает
перед её недолгой красотой.
А дни легки и пасмурны без грусти.
Непрочен сон. Несуетны дела.
...Мне славно выросталось в захолустье,
покуда верба пенилась-цвела.
За мехзаводом было видно с Горки
свечение загаженных прудов,
собес, вокзал, мордовские задворки,



базары с копошением рядов.
На танцплощадке бились смертным боем
«студенты» с мелекесскою шпаной.
А утром снова небо голубое
и снова утешает тишиной.
И не хотелось ничего на свете.
И не было, признаться, ничего.
Лишь верба усыхала в самом цвете
неряшливого детства моего.

* * *

Семь книг я написал, пытаюсь разобратся,
зачем я на земле. Я не был в них умней
других, писавших книги. Только я
в них не учил, как жить, — я этого не знаю.
Я там писал, как нашатырный воздух
мне достаёт дыханием до горла,
как ахает от взрывов наш карьер,
летит, пыля позёмкой, электричка
и плачет женщина счастливыми слезами,
не выдержав превратностей любви.
Короче, я писал о мелочах —
о том, что каждый знает от рождения...
Но всё-таки зачем я на земле?
Я этого не знал и не узнаю.
Скорей всего, чтоб дописать стихи
и в тамбуре на запотевших стёклах
поспешным пальцем вывести кружок,
две точки и улыбку (нос не нужен),
придумать жизнь, потом прожить её.
А женщина, что плакала от счастья,
в ней будет возвращаться, возвращаться...
И вытирать намокшие глаза.

* * *

Без нас решат литературоведы,
кому куда, когда и кто есть ху...
И наши бесполезные победы
окажутся у мира на слуху.
Вон стали разновидностью наркоза,
но облегчают лишь от сих до сих
Набокова прозекторская проза
и Бродского патрицианский стих.
Простого хочется! Простого, словно время
в его раскладе возрастных полос.
Простое — чтобы вместе и со всеми,
чтоб сердце над строкой оборвалось.
Чтоб не уму, а непременно чувству.
Чтоб слово не ходило королём,
учило состраданью, не искусству,

само себя разглядывая в нём.
Чтоб не казались так уныло голы,
косясь на неразменное «вчера»,
и катехизис петербургской школы,
и строфики голштинская муштра.

* * *

Я в детстве был отъявленным лжецом:
врал о себе немислимые вещи, от которых
немела мелкосортная шпана
спас-клепиковского детдома. Нынче
мне кажется, что в них никто не верил. Но неважно:
в июле я сбежал.
Торфяники горели. Это было страшно:
на первый взгляд, как будто просто дым —
ну стелется, ну застревает в горле.
Но глянешь в сторону, а там в провале, в топке,
вращается неслышимый огонь.
И молча проседает вдруг дорога,
летит в разлом — ух! Искры на лету.
И смерть в лицо дохнула.
А на разъезде били цыганят.
Они кружили, бегали, вились
вокруг детины в рваной гимнастёрке,
а тот держал за шкуру на весу
задрипанного шкета. Я прошёл.
Во мне закрылось сердце для обиды.
Я разучился помнить зло и боль,
гудел внутри, как будто свежим тёмсом,
который долго держит каждый звук,
но слышит сам себя. Мне было десять.
Всё начиналось с этой нищеты.

* * *

Ты вернёшься из долгой отлучки,
а в дому так отрадны полы!
И дверные прохладные ручки,
и гардины венчально белы.

Скинешь платье — и, ёжась, босою,
с щекотаньем волос на плечах,
пробежишь световой полосой,
чтобы к душу, где тюбик запах.

И, следя за кружением слива,
будешь думать, плескаясь водой:
— Ну и что, если вправду красива?
Полюблю и умру молодой.



И ликующе глянешь из дома,
протирая в окошке стекло,
за поля, за смещение объёма,
за горячее в солнце село.

* * *

Пора бросать стихи. Пора в блудливой прозе
гримасничать, острить и мудрствовать вприщур,
вещая о себе и о почивших в бозе —
как водится, приврав, хотя не чересчур.
Пора бы поумнеть, да страшно с непривычки.
Опять метут снега, ночами скрип в саду.
А утром дерева стоят на перекличке
и, Господи, дрожмя дрожат на холоду.
Недуги бытия с годами всё больше.
Неужто так оно и поведётся впредь?
На прозу перейду. Покойней как-то с нею.
От прозы мне пока не страшно помереть.
За сутки намело почти на ползабора.
В проулке до бровей засыпаны кусты.
И этот шаткий порх божественного сора,
летающего оттуда, с высоты!



Ольга РЫЧКОВА

Москва



Август

Державный Август — римский лев
Стоит у самого порога.
Его тяжёлый гордый гнев
Пурпурная не скроет тога.

Обходит царствие своё,
Творя расправу или милость, —
И воет робкое зверьё,
Не постигая, что случилось.

Державный Август у дверей —
Предтеча близкого распада.
Святых языческих зверей —
Послов эпохи листопада

Влекут на жертвенный алтарь
Жрецы в покрове белоснежном
И по полёту птиц, как встарь,
Гадают вслух о неизбежном.

Каждый охотник

Каждый охотник
имеет ружьё,
пёсика Джека,
четыре жены
и речку, в которой
стирать бельё
с одной стороны —
и с другой стороны.



Каждый охотник
имеет нож —
Джека верней
и острей стекла.
Им пополам
рассекает дождь
и в лезвия смотрит,
как в зеркала.

Каждый охотник,
прикрыв глаза
и погружаясь
в пучины сна,
желает знать:
а) где сидит фазан,
и б) с кем изменит
вторая жена.

Каждый захочет
умом постичь,
слушая песню
«Шумел камыш»,
кто ты — охотник,
собака, дичь?
И на какой
стороне стоишь?

* * *

Неким утром — летним, неприметным,
От других ничем не отличимым
Царь, докучный сон перевозмогая,
Пробудился, хмуриться изволил
И уже в дурном расположенье
Вышел из своей опочивальни.

Он прошёл по гулкой анфиладе
Из конца в конец, шаги считая,
А когда обратно воротился —
С предыдущим не сошёлся счёт.
Не сошёлся счёт — и знак недобрый
В этом усмотрел великий царь.

Долго б он унынью предавался
У окна, глядящего на север,
Словно разрешить хотел загадку
Или тайну некую узнать,
А в окно лишь видя парк и лето,
Парк и лето — больше ничего;

И никто б не смел его тревожить...
Но пришли советники и слуги:

Новые им надобны указы,
Перемирья, казни и поместья.
Царь вздохнул и, бросив все загадки,
К государственным делам вернулся.

Отогнал предчувствия и страхи,
А в окно и не взглянул ни разу —
Всё казнил, и миловал, и правил,
Как и должно мудрому царю.
За окном меж тем густело лето,
Тихо становилось и темно.

Тенью белой облако мелькнуло,
Облако мелькнуло — и пропало.
В полумраке длинной анфиладой
Кто-то шёл, шаги считал украдкой,
Сбившись, начинал опять сначала
И шептал заветное число...

Октябрь

По листьям правит тризну
Древесная толпа.
Младенчески капризна,
Старушечьи скупа

Погода... И в такую —
Куда, зачем, к кому?
И всяк себе кукует
В зашторенном дому.

За гранью листопада
Восходит призрак тьмы,
Витает дух распада
И медленной зимы.

Серое время

Вечер на землю. Снег на дома.
Серые лица.
Тысячи вёрст вековая зима
Длится и длится.

Тысячи лет от сумы до тюрьмы —
Вдаль до погоста —
Серого времени серой зимы
Лишние гости.

Серое время по лицам людей —
Серой рукою...
Тише, ямщик, не гони лошадей —
Время такое...



Рим

Сто тысяч раз взлетали птицы
 С Капитолийского холма.
 И боги отвращали лица,
 И люди прятались в дома,

Пока росла и тяжелела
 Громада камня и огня.
 Она сжигала, не жалела
 Волчонка глупого — меня.

Что знает вещей археолог
 Про волчий коготь, волчий клык?
 Он зрит лишь мраморный осколок,
 Он чтит лишь мраморный язык,

Не замечая ключев пены,
 Что с губ роняла волчья пасть...
 Не для того я шёл сквозь стены,
 Чтоб в прах к ногам его упасть.

И берега далёкой Леты,
 Где я бродил, угрюм и слаб,
 Хранят не пыльные монеты,
 Но отпечатки волчьих лап!



Ирина РЯБИЙ

Ханты-Мансийск



✉ Почта
ДП

* * *

Две реки в моей судьбе: Амур и Иртыш —
 Вас не переплыть мне никогда,
 И я с печалью смотрю на противоположный
 берег

Иртыша, по волнам которого можно лишь
 мысленно скользить,

Не касаясь мутной воды,
 Воды, которую травят все, кому не лень,
 И в Амуре, и в Иртыше...

Две реки в моей судьбе: Амур и Иртыш —
 Они, как две крепкие мужские руки,
 Несут и несут по жизни куда-то,
 Не спрашивая моего желания,
 Куда-то к невидимой цели, ведомой только им...
 А я трепыхаюсь, как детстве, попав в мощный поток
 посередине Амурского
 Захлебываюсь и карабкаюсь на спасительный
 островок.

Две реки моей судьбы: Амур и Иртыш —
 Волны их высоки, течение быстро,
 Пути их схожи, имена их созвучны.
 Реки моей судьбы, вы, словно линии на моей
 ладони, —
 Никогда не кончайтесь!

* * *

Хочется быть маленькой,
 Чтобы мама хлопотала вокруг тебя:
 Немного бранила, но в основном радовалась...



Хочется быть маленькой,
Чтобы видеть её юное лицо,
И платье, напоминающее далёкое лето...

Хочется быть маленькой,
Чтобы у мамы впереди были годы,
Счастливые, полные любви и желаний.



Борис РЯБУХИН

Москва



Аз воздам

Жизнь идёт, и я иду.
Вместе — веселее.
Встречу радость иль беду —
Всё преодолею.

Взять бы, что судьба даёт.
Больше — и не надо.
Хорошо, ещё поёт
Мне душа-отрада.

Ну а цели? Как у всех.
А мечты? Пустое!
Поважнее — не успех,
А не быть в простое.

А не быть, не стыть, не выть,
Словно в поле ветер, —
Всем воздать, всех победить,
Всех простить на свете.

Было

Что это было? Было! Было,
На Волге, на полу, на дне:
Баркас волнение знобило
И распласталась ты на мне.

Мне щёки мяла, жадно горбясь,
Пыталась губы уловить,
Но мне мешали страх и гордость
Освоить поцелуй любви.



А кто-то в дверь кричал-ломился
И выгонял нас на причал?..
Как знал, что наш союз разбился,
Когда рождаться начинал.

Вечерний звон

О чём скорбит душа моя,
О чём томится?
О том, что вскрыет вешний лёд
Волнение вод?
О том, что вознесётся дух
До неба птицей
И беззащитно всем ветрам
Грудь распахнет?

О чём грустит душа моя
И что так ропщет?
В глазах скрывает божий страх
Или испуг?
Бойтся обнажить себя
Осенней рощей,
Подставив наготу ветвей
Хлестанью вьюг?

О чём болит душа моя
В потёмках тайных?
О том, что через этот лес —
Дорога в ад?
Где топи похоти и грез,
Пороков стаи,
Где хищный клюв, змеиный яд
И волчий взгляд.

О чём скорбит душа моя
До гула в сердце?
Не от того ль со всех сторон
Вечерний звон?
За скорбь всех радостей земных
Я натерпелся,
За радость всех земных скорбей —
Вознаграждён.

Качается мир

Висячим мостом через жизнь
Протянут зелёный путь.
На палубе зыбкой держись
Потвёрже, подольше будь.

Пусть в бездне — кровь и тоска,
В разломах страна и кров —
Всё также Сизифом река
Катит валун ледников.

Качается тяжко Земля,
Как тот подвешенный мост.
Поэтому ходишь, юля,
Враскачку, вечный матрос.

Взлетят качели, навскрик, —
Лови ликующий страх.
Но слышишь — ржавеющий скрип?
Мир держится на цепях.

Под скрежет молний кривых
Увидишь радуги цепь.
Ты к качке с рожденья привык,
И зыбки и жизнь, и цель.

* * *

Те женщины, с которыми общался
И мыкаюсь поныне, — мой гарем.
С пришельцами думал я о счастье,
Но в пониманье счастья погорел.

Каких мужских наук ни изучал я —
Язык общенья с ними не понять.
Лишь сердце жгут манящими лучами,
Лишь мечут в гневе молнии в меня.

За их измены, траты и тиранство
На божество поднимется ль рука?
Я днём старался к милым притираться,
Чтоб ночью возноситься к облакам.

Вселенский Лесбос не исчезнет с карты.
Он держит под пятой — земных царей.
И разве амазонки виноваты,
Что пуповина крепче всех цепей?





Юрий РЯШЕНЦЕВ

Москва



* * *

Опустевший террариум рая.
Безопасные фрукты цветут.
Предъюньская ясность сырая...
Как с тобой оказались мы тут?

Одержимые хворью познания,
преступившие умный наказ,
беспощадные, словно пиранья, —
кто пустил нас сюда в этот раз?

Непонятно радушье Господне,
странен вохровский сон ключаря.
Мы не завтра — сегодня, сегодня
согрешим, никого не коря:

ни змеи, не прощённой доньне,
ни крылатой охраны слепой.
Там, внизу, в безысходной долине,
в нас грехом нашим тычет любой.

Там любой на запретах зациклен
и прищурен, как храбрый Вьетнам.
И один лишь Господь беспринципен
и опять улыбается нам.

* * *

Ты живёшь под этим деревом столько лет,
так и не зная, осина это или ольха.
Между тем, это ясень, несущий весь месяц бред,
что будто бы он — Микула. Но он — Вольга.

Здесь вообще князей поболее, чем крестьян.
Такова роковая действительность наших дней,

у которых, может быть, самый большой изъян —
поиск каждым стручком могучих своих корней.

Тот, кому корней своих мало, стучит ребром
маломощной ладони по древней доске стола,
полагая, что всё может кончиться и добром
в неизбежном, как жизнь, столкновенье добра
и зла.

А счастливые книги стоят в старинном шкафу,
равнодушные, как природа (со слов Певца),
совершенно не понимая, зачем кунг-фу
при такой вседоступности пороха и свинца.

Дай-ка чаю. Подвинь-ка кресло. Открой окно:
пусть вползёт, профильтрован листвою, голубой
бензин...

А гнездо, недоступное вроде, — разорено,
ибо нет недоступных гнёзд у родных осин.

* * *

Газон с мандрагорой подстрижен. Но как-то
неровно.

Свет окон слетает, как голубь, крыло наклона.
Ты должен признать: обаяние ночи огромно.
Огромно! Куда до него обаянию дня...

Ты жил, как и все здесь: «раскинулось море
широко...»

Мы оба искали на кухнях бессмертья черты.
Я чуда вовек не просил — я просил лишь намёка.
Господь не виновен, что я недогадлив, как ты.

Фома — наш апостол. Вот с кем я бы выпил
сегодня.

Он скептик побольше, чем оба мы. Тем и хорош.
Но даже и этот уверовал. Рана Господня?
Всем смертным по ране Господней — ты этого
ждёшь?..

Я думаю, этот июль, как и жизнь, бесконечен.
А август начнется — ну что ж, бесконечен и он.
Все правильно: вечность стремительна... Ах, как
беспечен
вон тот угловой полный розовым светом балкон!

Там кто-то, дитя широты и беззлобного мата,
посредством законного мага и в свой выходной,
как Стенька свою персияночку за борт когда-то, —
вот так же швыряет «цыганочку» в омут ночной.



* * *

Осенний Симеиз печален на закате.
Доходные дома другой, не нашей стати
глядят из тёмных кущ, унынья не тая,
на жалкий новострой, на толевый, досочный,
построенный на час, а вышло, что бессрочный
неповторимый хлам советского жилья.

Сегодняшний закат чем дальше, тем алее.
И грек полунагой на призрачной аллее
растерян посреди живых нагих девиц.
И редкие авто, по большей части «трёшки»,
ползут туда-сюда. И медленные кошки
проходят с простотой египетских цариц.

Как это мило всё и как забавно это:
и то, что лучший вид как раз из туалета
нам отданной внаём обители пустой,
и то, с какой тоской приезжие чертовки
здесь слышат тихий смех на голубой тусовке
и горько чебурек вкушают золотой.

А улочек кривых живая паутина
и скользкая ступень крутого серпантина
не хочет умирать, как все в моей стране:
как старый кипарис, последний в их шеренге,
как бабочка в тени, на гипсовой коленке,
как мой последний друг в моём последнем сне.

* * *

Сад раздался и вырос. За садом сопит Сиваш.
Как похож на папирус твой пресный местный
лаваш.

Вытри след от томата, печальный наш тамада.
Радость не виновата, что тезка её — беда.
Их обеих любовью мы кличем в краю маслин,
где звездой голубую щебёнку метёт павлин.
Как попал он в Тавриду, чьим промыслом
сыт он — но
не почуять обиду во вскриках его грешно.

Радость звали любовью. И так же зовут беду..
В тот подвал бы — гурьбою! Да я его не найду.
А подвальчик — что надо: не пластик и не металл —
вольный дух винограда столешницу пропитал,
и янтарное древо и гладко, и тяжело,
всё — для духа и чрева, во благо и не во зло.

Радость не виновата. И розовый тамариск
не исчез, как когда-то с кастильской земли
мориск.

Он, как дух Авиценны, целебен, печален, сух..
С крыш татарских антенны воруют чужих марух:
мексиканских, бразильских — держа в пылевом
плени
жёлтых ветров восточных западную волну.
Радость не виновата, что тезка её — беда..
Возвратись хоть когда-то, когда-нибудь, никогда..

* * *

А зиме-то конец, отвечаю своей головой.
У малиновой церкви большой разговор с голубой.

В небесах, как салют, зависает заряд голубей.
Неохота считать, сколько лет впереди, хоть убей!

На весенней реке, там, где раньше купальня была,
зародили в воде колыхание колокола.

И цветная реклама в волне завияляла хвостом,
как невиданный в здешних местах то ли угрь,
то ли сом.

Дальше будет весна. Дальше лето. А дальше..
Дыши!
Эх, седому пропойце, тебе ли считать барыши?

Что гадать о грядущем... Молчим, сомневаемся, но
лишь секунду спустя — вот грядущее, вот же оно!

Лишь секунду спустя, а не где-то, когда-то,
поздней..
Помолись о снегурочке лёгкой, седой берендей.





Владимир СЕМЕНЧИК

о. Сахалин



* * *

В какие мы годы росли, как пили крепко!
Столы по общагам ставили, как мосты.
Бутылки соединяли нас, будто скрепки —
Едва только начатых повестей листы.

Ночами мы разбредались по коридорам,
Целовались до одури с кем-то, не видя глаз.
Входили в сонные комнаты, словно воры,
И женщины воровато любили нас.

Но странное дело: те, с кем мы расставались
И чьих имён по утрам не помнили мы,
С тоской и смутной нежностью вспоминались
На наших новых пирах во время чумы.

Но сытых подонков мы запросто различали
И сторонились, почуяв в душах гнильё.
А как же гордо мы «неуды» получали
У тех, кто с кафедр нам подносил враньё!

Беспутная наша, хмельная, чумная юность
Такие болотные вынесла времена!
Быть может, ночами орали мы, чтоб очнулась
Докладами убаюканная страна.

И чудилось — не взросли мы, а старели...
И точно зная: будет жизнь коротка,
Мы так спешили всё изведать скорее —
Не даром же спускать её с молотка!

А жизнь оказалась как полоса прилива.
Покруче волны к берегу подошли.
И всё дороже каждый след торопливый
На каждой горстке обжитой нами земли.

* * *

Слушая звуки российской окраины,
Дикого моря, горбатой земли,
Вышел он — тощий, работой исправленный,
Шиш в чемодане, душа на мели.

Вроде безгрешен, а всё не отвяжутся
В суетной дрёме вокзальных ночей
Гул лесопилки, брань трёхэтажная,
Окрик охранника, гром кирзачей...

Господи! Что же теперь — подневольному
Век доживать, коли раз согрешил?
В тамбуре — тесно. Горька «беломорина».
Плюнул — и спрыгнул в безвестной глуши.

И закружились под тучами рваными,
Затрепетали в дорожной пыли
Вольные звуки российской окраины,
Дикого моря, горбатой земли.

Родина! Что за проклятье наложено
На безответных твоих сыновей —
Слушать в неволе дыханье тревожное
Вольных просторов и вольных морей?

Снег ли плывёт над озябшею пожнею,
Солнце ли плавит асфальт в городах —
Рвётся из горла дыханье тревожное,
Сдавленным криком кипит на губах.

Где ж она — воля?! Мы все не безгрешные,
Все отбываем пожизненный срок.
Лишь долетают ночами крошечными
Вольные звуки — будто в острог.

* * *

Такое небо снится по ночам,
Что ты кричишь, себя не узнавая.
А рядом — море бьётся о причал,
Созвездья на плечах вздымая.
И ты один. Впечатавшись в песок,
Стоишь с такою ясностью во взоре,
Что горизонта нет — и небо с морем
Смыкаются у самых ног.





Владимир СИЛКИН

Москва



Рождественский рассвет

Ряжск. Рождество Христово.
Мне только десять лет,
Но захватило слово,
Спасу от слова нет.

Вновь просыпаюсь рано,
Звёзды глядят в окно,
Только вот, как ни странно,
Но на дворе темно.

Где-то скрипят ворота,
Где-то звенит ведро,
И наполняет кто-то
Счастьем моё перо.

Лодка

Лодку качает, качает, качает,
Вот уже лодку на мель занесло.
Что ж это взгляд-то мой не замечает,
Что потерялось второе весло?

Это бывает, бывает, бывает —
Радость куда-то относит волной.
Что же тебя от земли отрывает,
Что заставляет остаться одной?

Перед грозой

Заматерели берёзы,
Соком исходят всю ночь,
Но собираются грозы
Ливнями землю толочь.

Душно на улице, душно,
Запах весенних цветов,
И засыпают послушно
Листья на ветках кустов.

Даже собаки не лают,
Нет до прохожего дел.
Годы летят, пролетают.
Вот и свои проглядел.

Молитва

Пусть не кончается жизнь на земле,
В доме не гаснут лампадки,
Пусть будет хлеб у людей на столе,
Пусть будет соли в достатке.

Пусть будет чистой в кувшине вода,
Пусть будет сердце спокойно,
Пусть ни за что никогда-никогда
Нас не касаются войны.

Пусть будет в доме бело от снегов,
Пусть будут добрыми люди,
Пусть у России не будет врагов,
Пусть у меня их не будет.

Пусть будет небо, а звёзды во мгле
Светят и морю, и полю...
Боже, даруй моей милой земле
Самую лучшую долю.

Пусть её счастьем не будет конца,
Так она вынесла много.
Дай ей покоя во имя Отца,
Сына и Духа святого.

В Петровском парке

В Петровском парке листья сбились в кучу,
Как ни суди, а вместе им теплей.
Но если солнце выглянет сквозь тучу,
Бери его и становись светлей.

Бери его, запас еды не просит,
Кому мешает лишнее тепло?!
И не листву сбивает в кучи осень,
А это счастье ветром намело.



Владимир СКВОРЦОВ

Санкт-Петербург



В юности

Коровка божья на руке
и стрекоза на шляпе Верки,
кувшинка светится в реке
огнём из газовой горелки.

Цветы и солнце на лугу,
и пенье птиц на всю округу...
А мы сидим на берегу
и улыбаемся друг другу.

* * *

Душа тоской, как льдами, скована!
Боль без причины, невзначай...
Где для печали нету повода,
Поэт придумает печаль.

А там, где холод, мрак, насилие,
удушье, пошлость — вновь и вновь
едва живой, покрытый инеем,
Поэт придумает любовь!

Служа закону мироздания,
пронзая сам себя строкой,
он любит в пламени страдания,
страдает в праздности людской...

* * *

Каждый гений в чём-то хулиган,
их пустить опасно даже в сени...
Кто сегодня знал бы про Дункан,
если б не любил её Есенин?!

Все порой срываются на крик,
многие прошли кабаки московский...
Кто сегодня вспомнил бы про Брик,
если б не влюбился Маяковский?!

Жил я в мире, голову сломя,
и почти не расставался с болью...
Кто сегодня знал бы про меня,
если б не спасли меня любовью...

* * *

Да разве я ходил бы по пирушкам,
когда бы знал, что забредаю в ад!
Уж лучше посвятить себя игрушкам:
копить машины, разводить свой сад...

И разве я ходил бы за грибами,
когда бы знал, что мало впереди
осталось жизни!
Лучше бы делами
я наполнял последние пути.

Но если б не ходил я по пирушкам,
то где познал страдания души?!
И деньги б не раздаривал старушкам,
пока их не пропили алкаши.

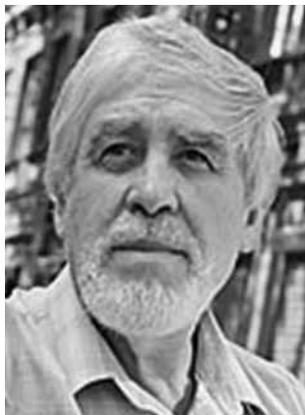
И если б не ходил я за грибами,
то где узнал о прелести земной:
как муравьи струятся под ногами
и белка пролетает надо мной?!





Владимир СКИФ

Иркутск



✉ Почта
ДП

* * *

Под оловянную луну
Видны дороги белые.
Залиты тёмной тишиной
Поля заледенелые.

Снегами запечатал лес
Чащобы непролазные,
И звёзды сеются с небес,
Как семена алмазные.

Душа потянется к звезде
Среди пространства голого.
Чугунный ворон на кресте
Луны проглотит олово.

Земля и небо надо мной
Поделят вечность поровну.
Ничто не вечно под луной,
И только вечны — вороны!

* * *

Что струсилось на земле — не постичь!
Мчит по ней заблудившийся поезд.
Вон мелькнул цепенеющий бич,
В насыпь будто зарытый по пояс.

Полустанки, гнилые мосты,
Уходящие в прошлое тропы,
И кресты над землёю, кресты,
И пустые дома, и сугробы...

Там уже не наступит пора
Сеять хлеб, ждать в печи каравая,

Там — постылые ходят ветра
Вдоль пустынного русского края.

Там — в осколки разбившийся день,
И на фермах — разбитые окна,
И печаль, и среди деревень
Наркоман, теребящий волокна

Ожиревшей в полях конопли,
Да забытая слава солдата...
А ведь мы среди этой земли
Колос счастья лушили когда-то...

Осень

С утра стремится по лесам
Осенний день-облётых.
И по дырявым небесам
Плывёт косяк-заглотых.

Непостижимая печаль
Дожди в клубок мотает.
Звенит прожорливая даль
И журавлей глотает.

Уже не слышно лягушат,
И плещет надо мною
Ночь — опрокинутый ушат
С водою ледяною.

* * *

Кто знает тайну бытия?
Ни вы, ни я, никто не знает.
Дымятся космоса края,
Как рана чёрная, сквозная.

Куда, разлуками дыша,
Спешит душа в полёте кратком?
С бессмертьем встретится душа,
Но не приблизит нас к разгадкам.



**Василию Попову,
молодому ангарскому
(ныне московскому) поэту**

*Дорогому Владимиру Петровичу Скифу
на память. Первому человеку, который
назвал меня поэтом, взволновал и заставил
поверить в себя. 9.04.2009*

Автограф Василия Попова
на его первой книге «Голос тишины»

Узорочье слова русского
Пусть сияет в добрый час.
Для юнца — поэта русого —
Проведу свой мастер-класс,

Чтобы острая, как лезвие,
Чтобы ясная, как день,
Душу тронула поэзия,
Убрала из сердца лень.

Поведу рукой — метафора
Вмиг жар-птицей полыхнёт.
Аллегория, как амфора,
Сном мистическим мигнёт.

Ямб закружит над опушкою,
К сердцу кинется с высот:
На санях мечты — до Пушкина
С Баратынским — донесёт...

Будем мчать дорогой верною
Под чинары и под ель:
Там хорей, как желчный Лермонтов,
Пули всаживает в цель.

Юный друг, вернёмся к северу,
Упадём на поле ржи,
Позовём из туч Есенина,
Где к нему летят стрижи.

Но ему не хватит такта ли,
Панибратства ль не простит,
Погрозит, но терпким дактилем,
Как дроблёной, угостит.

Где же Блок
суровый, ласковый?
Он среди российских гроз

Возлежит под «Снежной маскою»
В белом венчике из роз,

Окружённый олеандрами,
Менделеевской семьёй...
Александр Александрович,
Поднимайся над землёй!

Отвечает Блок неистовый:
— Слово смерть, стихи метут...
Вон мои двенадцать выстрелов
До сих пор во тьме идут.

...Со двора уйдём московского,
Неуютного двора,
Не дождавшись Маяковского...
Юный друг, домой пора!

Нам история потрафила,
Словно выстудила кровь...
...Ах, вернула бы метафора
Честь, и верность, и любовь!

Вот взяла бы и погрезила,
Оживила русский ряд:
И поэтов, и поэзию —
Лучших не было б наград.

Но молчит моя метафора,
Слёзы льёт не напоказ...
Юный друг, прости мечтателя!
Закрываю мастер-класс.





Виктор СЛИПЕНЧУК

Москва



✉ Почта
ДП

* * *

Пора домой! Звезду родимых весей
Мне не сберечь на дальнем берегу.
Со сладкой мукой слышу звуки песен,
Но повторять их больше не могу.

Пора домой! Где дымчатый орешник,
Как кружевами, окаймляет лес,
Где пламенеют склоны сопки вешних
В багульнике, как в зареве небес.

Пора домой! Где царствуют муссоны,
Но Тихий океан по-океански тих,
Где в бухте Диамида робинзоны
У пирса ждут спасителей своих.

Пора домой! Пора домой — в Приморье,
Душа моя окрепнет только там,
Где в первый раз я встретился с любовью,
Что прикоснулась вдруг к моим устам.

Пора домой! Родной туманный берег,
Здесь я познал полёт и силу крыл.
Да, я желал открытия Америк,
Но счастлив тем, что Родину открыл.

* * *

Черниговке

Синеют сопки, даль дымится,
И птичий гомон у ручья.
Вода искрится, серебрится. —
Здесь начиналась жизнь моя.

Аэродром и автострада,
И лес, и трели соловья,
Шатры из листьев винограда. —
Здесь начиналась жизнь моя.

Как много солнца у колодца?!
Мы обливаемся — друзья.
А сердце бьётся и смеётся. —
Здесь начиналась жизнь моя.

В прогалах лунных лукоморье —
Плывёт волшебная ладья.
И даль, и близь сошлись — Приморье. —
Здесь начиналась жизнь моя.

Алеет небо, звёзды гаснут,
Вновь птички трели у ручья.
И верю, что не понапрасну —
Здесь начиналась жизнь моя.

Она

Какая ночь — буран и стужа,
И завывания в трубе.
Сегодня ты встречаешь мужа —
Надолго ль он летит к тебе?!

Нет ничего, чтоб мужа встретить —
Порвало ветром провода.
Весёлый, в краповом берете,
Он будет рад тебе всегда.

И ты, конечно, будешь рада
Припасть к его родной груди.
На ней награды и парады —
Но что-то ждёт вас впереди.

Темно и холодно на даче —
В энергетической стране.
И ты стоишь и молча плачешь,
Что жизнь проходит в стороне.

* * *

В Литинституте, под плафоном,
На подоконник опершись,
Советовал мне Эрнст Сафонов¹:
«Что бы там ни было — держись».

¹Руководитель семинара прозы на Высших литературных курсах (1983–1985).



Тут дело не в прокуратуре,
А креатуре дел. И впредь —
Приходит волк в овечьей шкуре,
А ты его в тигровой встреть.

О, эти суды-пересуды!
Отчаиваться не спеши —
Не по предательству Иуды
Несём мы крест своей души.

Поэт всегда как искупление,
Поэт всегда один, как перст.
К нему нисходит вдохновенье,
Когда несёт он Божий крест.

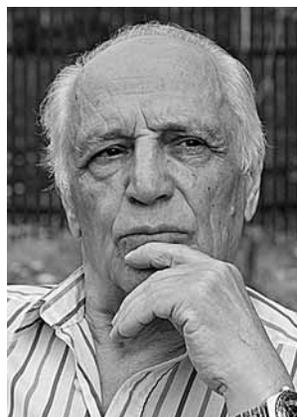
Не надо никогда сдаваться —
Путь вышний неисповедим.
Поэту надо состояться,
И он тогда — непобедим».

Ничто в том не было мне внове —
Я был один, один, как перст,
Но приходили силы в слове,
Что приводил Сафонов Эрнст.



Валентин СОРОКИН

Москва



Из цикла «Я свободен...»

* * *

Мне в России жить — словно с милой быть,
А о счастье петь — как по Волге плыть.

Не топчись, беда, вокруг да около,
Испытай меня, смела сокола!

Я швырял грома-стрелы в лешего,
Змей Горыныча бил воскресшего.

Сбор трубил в ночи, в небе стражничал,
На Москве-реке с братом бражничал...

Пусть-ко ворог лют под берёзою
Проклянет судьбу да тверёзую!

Мне в России жить — словно с милой быть,
А о счастье петь — как по Волге плыть.

Ты идёшь

Сколько неправд, сколько обид, сколько боли —
Со дня
Рождения
До часа
Креста,
А я-то хотел, чтобы, как белоснежное поле,
Судьба моя
Была бы
Чиста.



А я-то хотел нараспашку, весь, весь нараспашку:
— Здравствуй,
Брат,
Садись,
Я рад! —
Но маками огненными брызнули на рубашку
Жизни горе
И раны
Утрат.

Зачем говоришь: «Ты дерзкий, невыносимый!»
Зачем, когда
В груди
Давно у меня чернее, чем на пустыре Хиросимы,
Прошу
Тебя,
Угли
Не бери.

Закрою глаза я, кричащий и непокорный,
И вижу —
Сквозь мрак
И дождь
По улицам чёрным, в одежде, печальной
и чёрной,
Ко мне
Из грядущего
Ты
Идёшь.

Ты идёшь, совесть, заплаканная от боли,
Идёшь,
Заперев
Уста.
А я-то хотел, чтобы, как белое снежное поле,
Судьба
Моя
Была бы
Чиста.

Осмысление

Какую б ни выпил я чашу
Из маетных рек и морей,
Не вспыхнет на Родину нашу
И капли обиды моей.

Чем сердцу больней и печальней,
Тем праведней чувствуешь ты:
Отчизна, ну что величальней
И громче её высоты?

Спокойствием осени веет,
Сады на заре ледяней.
И кто же подняться посмеет
До бурь, что клубились над ней?

За нежность языческой сини
Кровавый ордынец не раз
На гордых курганах России
Топтал и расстреливал нас.

Могилами считаны вёрсты.
Легендами полны леса.
И светятся горько не звёзды,
А их, убиенных, глаза.
Гудящих просторов безмерность

Крылато я вновь обрету.
Да,

только

бессмертье

и верность

Восходят на ту высоту.

Надежда она и основа,
И предков недрёмный завет.
Предавшее слово — не слово,
Предавший поэт —
не поэт!

Я свободен

Я свободен, как сильная
Дикая птица, как ветер,
Я, кружась над землёю,
Ни разу границы не встретил!
Не боюсь я дождей,
Не боюсь ураганов могучих,
Закалённым крылом
Разбиваю тяжёлые тучи.

Мне Отчизна дала
Эту вольную гордость и смелость,
Чтобы сердцу тревожней
Дышалось,

стучалось

и пелось!

Жить нельзя без высот,
Без просторов для мысли и ока,
Много чувствую, слышу
И вижу далёко-далёко!



Со свинцом и песком,
Чернозёмом и солью планета
В руки нам отдана,
И давно понимаю я это.
Не скрывая лица,
Я порой заменяю свой ранец,
Средь арабов араб,
Средь храбрейших вьетнамцев
вьетнамец!

Но люблю я родимую музыку,
Песни и говор
До безумья, до слёз
И вовек не желаю другого!
Пусть тунисцу Тунис,
Англичанину Англия будет,
А Россия моя
Не обидит меня,
не забудет.

Пахарь и космонавт,
Рудознавец и первопроходец,
Не мутите чужой
Родниковый и светлый колодец!
Понимать, принимать
И хранить к себе верность — искусство,
Ведь на поле едином
Цветёт разнотравие густо...



Наталья СТРУЧКОВА

Кстово, Нижегородская область



* * *

Прекрасен мир в семнадцать лет!
Дни золотые, в самом деле:
Мы знали, что ученье — свет,
Который гас в конце недели.
И все спешили по домам,
Трамваи торопя на помощь.
Вкус жизни открывался нам,
И ты не раз об этом вспомнишь:
Как вздрагивает снежный наст
Под крепкою рукой мороза.
Как звёзды сыплются на нас.
И шеи вытянув, бёрезы
Стоят в озябшей тишине
И ни черта не понимают,
Как радостно тебе и мне
Бежать к последнему трамваю.
Как зимний вечер нем и глух,
И отражается в сознание —
Нет, не мельканье белых мух,
А белых бабочек дыханье.

Гжель и хохлома

Хохлома — это лето и осень,
Россыпь ягод и лист золотой.
Гжель — январская дивная просинь
Над снегами морозной зимой.

Завиток к завитку — ярко-красным,
Чтобы стало душе веселей,
Хохлома — это радость и праздник,
Это щедрость России моей!



Детство плывёт
по гремучим волнам,
Словно кораблик
из школьной тетради!
Месяц Апрель!
Молодая заря
Сумрак берёт за серебряный локоть,
Словно веснушки,
заклёпки горят
На остроносом лице самолёта.
Я совершенно забыл о годах
И широко растворил двери в сени.
И до конца ощутил на губах
Горькие почки соседской сирени.
Аисты. Астры.
Аккорды. Айва.
Арки. Ассоль.
Облака. Абрикосы...
Самые лучшие в мире слова
Я заплетал, как цветы, в твои косы...
Клинья журавушек, в сини застыв
Над бездорожьем степной колыбели, —
Как разведённые на ночь мосты...
Только весной,
Только в Апреле!

* * *

Осенний лес.
Гудит, как ГЭС.
И журавли, как провода,
провисли над просторами,
И родниковая вода
целует зной просёлочный.
И на полях солнцепёк
Теснился тенями,
передавая жёлтый ток
И птицам, и растениям,
Земле и мне
на много лет,
Чтоб с темнотой схватиться...
И если лес гудит, как ГЭС,
Как мне не светиться?!

* * *

У самой последней ограды,
Где спят до зари облака,
Шли кони гривастые рядом —
Лоснились крутые бока.
Полночные птицы вещали

Какие-то песни без слов...
Над чёрной травой нависали,
Как месяцы, восемь подков!
И, словно каждому,
Отвесила верба поклон.
Шли кони.
Красиво и важно,
Ничей не нарушив покой.
Среди васильков и польни
Степная тянулась верста.
Шли кони.
Шли так, словно плыли,
Могуче тела распластав.
Минуя курганы волнистые,
Исчезли,
растаяв, как дым...
Вы слышите, кони?
Вернитесь,
В обиду мы вас не дадим!..
Курень же смотрел молчаливо
Сквозь пыльную мглу миража...
Шли кони.
Вослед волочилась
Тропы
деревенской
вожжа.

* * *

Всё улетает! Ну и пусть.
И сад представится
оленем,
И сквозь кору
услышу пульс
Румяных
яблокобиений!
Ещё синё. Толпится лето
Дождём у водосточных труб...
Кропает сторож заявленье,
Чтоб
выдали ему тулуп!
И, распахнув подвал,
мгновенно
Седеют, ахнув, мудрецы:
Ведь на жилплощадь Диогена
Вселились нагло огурцы!

* * *

На окне огонь герани,
У крыльца свирепый дог,
Уезжает сын в Германию



В славный город Дюссельдорф.
 Никуда уже не денешься,
 Только помни, дорогой,
 Мой отец — твой смелый дедушка
 Насмерть бился с немчурой.
 На закат уйдёт рассвет,
 Дни спешат на нерест...
 А по матери твой дед —
 Настоящий немец!
 Жизнь нас мчит во весь опор,
 Выбирая стойбище...
 Оба дедушки, Егор,
 Мужики стоящие!
 Дюссельдорф, Дюссельдорф,
 От фонтанов брызги...
 Не давайте денег в долг
 Даже самым близким.
 Дюссельдорф, Дюссельдорф —
 Свет реклам яркий,
 Поселились десять дроф
 В центре зоопарка.
 Дюссельдорф, Дюссельдорф,
 Сколько лет лгали нам!
 Наломали столько дров,
 Чтоб дружить с Германией.
 В мире тишь да благодать,
 Как в ночном Кувейте,
 Мы не будем воевать
 В двадцать первом веке.



Александр ФИГАРЕВ

Нижний Новгород



✉ Почта
ДП

Изба

Плотник царство разбудил лесное,
 Грянул топором — кругом слышать.
 Сосны с золотистой слезою,
 Ахая, ложились отдыхать.

Дед умелый в силе был и славе,
 Став примером юному отцу.
 Как рубил он избу, как он ставил
 Тесно к пазу паз, венец к венцу.

Словно дятел стучал, спозаранок
 Дотемна звенел тогда топор.
 И красивей даже, чем рубанок,
 На подзорах выводил узор.

Львы, русалки грелись возле солнца,
 Пели павы в жёлтых лепестках
 На резных наличниках оконцев,
 Оживая в деловых руках.

Вся изба цвела резьбой узорной,
 Среди стружек — в золоте листва.
 И конёк ко корою задорной,
 Словно конь, над крышей привставал.

В нём была стремительная сила,
 Он бы вёз за тридевять земель.
 Но изба уже детей растила —
 Кораблём качала колыбель.

Дети выросли и упорней
 Устремлялись к солнышку взлетать.
 И тогда изба пустила корни —
 Ей хотелось лесом снова стать.



* * *

Зачем-то ухожу лесной дорогой,
Вот оглянусь — деревни больше нет.
А мать опять у тёмного порога
Через дожди глядит мне долго вслед.

Там позади полнеба стало мрачным,
А надо мной сияет синева.
Я отражусь в реке такой прозрачной,
Где золотая плавает листва.

А вот осина с кроной раскалённой,
Рябина в алом, словно держит флаг.
Костром пылают в тёмной чаще клёны,
И тает первым снегом березняк.

Приеду в город, залитый огнями,
Там над домами звёзды не видны.
И буду думать о далёкой маме —
Она одна живёт среди тишины.

* * *

Небо ливнями простирано —
Стало сине-голубым.
Ты, любимая, прости меня,
Что пока ещё любим.

Что моей зовёшься суженой
Среди бедности простой.
Что люблюсь незаслуженно
Я твоею красотой.

Награждённый, словно орденом,
Я тобою навсегда.
Я храню тебя и Родину,
Чтоб не грянула беда.



Владимир ФИРСОВ

1937–2011

Москва



Поэт

Перед грозой
Ветра неторопливы,
Как и поэтов мудрые глаза,
Чьи музы терпеливы,
Словно ивы,
Когда их гнёт
Пришедшая гроза...

Под вечным солнцем
И под лунным светом,
В тиши
Ещё живых материков
Мне по душе
Терпение поэтов,
Что рождено
Терпением веков.

Душа поэта,
Как Земля, — нетленна,
Не терпящая суеты сует.
Поэт — не гость Земли,
Он — сын Вселенной,
Неторопливо-истинный поэт.

Не гость Земли,
Не сын её приبلудный.
И, блудных презирая сыновей,
Живёт поэт, лишь совести подсудный,
Великодушной
Совести своей.

Рассветы гаснут,
Вечера



И ночи,
Уставшие от медленной борьбы...
Поэт — своей судьбы
Чернорабочий,
И он не раб
Изменчивой судьбы.

Певец народа,
Подлинный мечтатель
И ревностный хранитель языка,
Он — совести своей
Работодатель,
Той совести,
Что проживёт века!

Запечатлевший радости,
Невзгоды,
Дни памятных утрат и дни побед,
Поэт — простите прозу —
Сын народа,
Народу пригодившийся поэт.

Живёт поэт всегда
Своей мечтою,
Взирает с сожалением на тех,
Кто совокупно
С мелкой суетою
Свой каждодневный празднует успех.

И, силе вдохновенья
Благодарный,
Он с болью видит каждый день,
Как в лад
Творит
Трудолюбивая бездарность
И подменяет
Подлинный талант.

Творит бездушно,
Переняв основу
Стихов,
Забытых в нынешние дни.
Стихосложенцы
Сеют
Серость слова,
Что столь духовной серости
Сродни!..

Не так уж много
Я бродил по свету,
Но истину познал
В конце концов:

Неторопливость —
Только у поэтов,
Нетерпеливость —
Только у дельцов.

Но, к счастью,
Побеждает вдохновенье
И совесть
С сердцем пламенным в груди,
Что одаряют словом
И терпением
Поэтов,
Чьё бессмертье — впереди.

Земля... Земля...

Юрию Гагарину

На стартовой черте ракетодрома,
Ступив на трап,
Впервые ты поймёшь,
Как дороги тебе
Раскаты грома,
Снега гречих
И молодая рожь.

Ты вспомнишь
Тёплых дождиков капли
И мокрый луг, где ты косил с отцом,
И трап
Уже покажется не трапом,
А деревенским
Стёсаным крыльцом.

Потом...
Потом ты скажешь: «До свиданья!» —
И под ракетой
Вспыхнет яркий дым.
Нахлынувшие вдруг воспоминанья
Уступят место формулам сухим.

Но кто сказал, что формулы — сухие?
Они к тебе издалека пришли:
В них синь озер
И даль твоей России,
В них все цвета и запахи Земли.

Постой!
Ещё не поздно отказаться.

Земля, Земля, не отпускай его!
Он должен жить,



Губами трав касаться,
Водю умытья ключевой,
Встречать свои закаты и рассветы...

Но манит,
Манит дальняя звезда,
И глухи стены огненной ракеты.
Когда мы снова встретимся,
Когда?

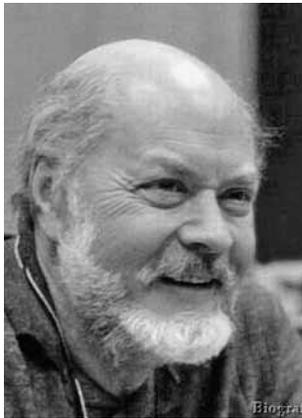
Ты самой яркой искрою промчишься
В безветренной и бесконечной мгле
И всё-таки на Землю
Возвратишься,
Чтоб плакать над стихами
О Земле.





Лев АННИНСКИЙ

Москва



«ТАК НЕЖНО НЕНАВИЖУ И ТАК ЯЗВИТЕЛЬНО ЛЮБЛЮ»

К 125-летию Владислава Ходасевича

Летом 1907 года московский студент, проводящий каникулы в имении дядюшки своей молодой жены (первой), наблюдает из окна полевые работы, а также лесные досуги окрестных крестьян; он пишет шесть строф, с которых начинается интересующий нас сюжет.

Сюжет, в герое которого его жена (третья) увидит вечного скитальца, чья изначальная неприкаянность предопределяет все его мучения. В том числе литературные. Примкнул к символистам, но не стал их настоящим приверженцем. Мог бы (а по возрасту, по вкусам, по стиховому почерку, казалось, и должен бы) примкнуть к парнасцам-акмеистам — не примкнул. Ни туманных чаяний Блока не разделил, ни имперской твердости Гумилёва, ни клюевской веры в избяной рай, ни есенинской веры в «Русь», святую и советскую разом.

Встретив его впервые незадолго до изгнания, Нина Берберова думает: вот человек, который не принадлежит в прошлом никому и ничему, он весь — из «нового времени». Потом становится

понятно, *что* это за новое: «холод и мрак грядущих дней». Ибо ни за что «современное» он тоже не может «зацепиться»: ни за планетарную утопию Хлебникова, ни за социальную — Маяковского, не говоря уже о северянинском душистом модерне.

Вкус пепла ещё не мучает его в 1907 году. Молодённый студент наблюдает из дачного окна картины полевых работ, как во времена Державина. Или даже Ломоносова.

Доучиться студенту, однако, не суждено. Сменив юридический факультет на историко-филологический (поближе к поэзии), он оставит университет ради литературной работы, чем обречёт себя до конца жизни на тайную свободу, то есть на явную бедность.

Семейное счастье тоже не состоится: жена — громкая красавица — вскоре увлечётся другим; союз распадется; за разводом последует второй брак и второй развод, затем — третий...

Прочны окажутся только строфы. Стихотворение, написанное тогда в имении Лидино на Новгородчине, навсегда войдёт в летопись Серебряного века русской лирики и сделается чем-то вроде эпиграфа к творчеству поэта; им откроется его первая книга, выпущенная в 1908 году в символистском «Гриффе», им же откроется и итоговое собрание Ходасевича в «Большой библиотеке поэта» восемьдесят лет спустя, и многотомник 90-х годов. Всякое сколько-нибудь полное собрание его стихов принято открывать этим стихотворением, в нём — что-то вроде присяги на верность русской теме:

*Мои поля сыпучий пепел кроет.
В моей стране печален страдальный день.
Сухую пыль соха со скрипом роет,
И ноги жжёт затянутый ремень.*

Голос едва устанавливается, палитра едва определяется. Но уже пойманы запахи, звуки, цвета. Сухой скрип, жгучая боль. Серый цвет.

Где тут Россия?

А вот:



*В моей стране уродливые дети
Рождаются, на смерть обречены.
От их отцов несуг вам песни эти.
Я к вам пришёл из мертвенной страны.*

Учтём, что это — 1907 год. Начало «позорного десятилетия», спёртый воздух реакции, столыпинские галстуки. Безнадёга и ужас интеллигенции, нравственное мародёрство на поле литературы. Я употребляю бывшие тогда в ходу выражения, потому что и молодой поэт вписывается именно в эти кодовые системы, говорит на тогдашнем поэтическом языке. «Яростная похоть» женщин, которые отдаются в «шалашах», «царапаясь, кусаясь и визжа», — оттуда. И «постыдный блуд» матерей, которые каждый год выкидывают недоносков, — оттуда же. И скотская покорность мужиков, не столько сеющих, сколько втапывающих зёрна. Поэт, принятый в круг «младших символистов», чутко передаёт общественные настроения. Арцыбашевские времена!

Так где же тут Россия?

Неощутимо. Ощутимо место, окаймлённое общественными язвами. Место обозначено — «моя страна». Врезаются в память детали. Зоркость Ходасевича феноменальна.

Голографична зоркость. Это не жизнь, растушая из глубины, а реальность, оптически наведённая. Мираж, вакуум, очерченный с краёв. Энергия, которая не рождается из центра, не поднимается от корня, а окаймляет центр, разряжает его, создавая ощущение пустоты, пропасти. Отрицательный, опрокинутый, зазеркальный мир.

*В моей стране — ни зим, ни лет, ни вёсен,
Ни дней, ни зорь, ни голубых ночей.
Там круглый год владычествует осень,
Там — серый цвет бессолнечных лучей.*

России «нет» — но есть место, где она «должна быть».

Это мироощущение может быть объяснено по неожиданной аналогии с мироощущением поэтессы прошлого века Евдокии Ростопчиной, некогда блиставшей в столичном свете и в поэзии, затем разруганной ревдемократами, а затем забытой: ей, царице балов, незачем было писать и думать о России; она вспомнила о ней, когда вокруг явилось нечто раздражающе-чуждое. Тогда она разглядела своих недругов: «германисты, реалисты, грязисты...» И ещё: «коммунисты, анархисты, злодеи» (то есть, по-нашему, натуральная

школа, гоголевский период, наступивший в российской словесности при свете немецкой классической философии). Понадобилось прийти «немцам», чтобы «пустое место» обозначилось как «русское».

Что общего между светской львицей 1830-х годов и молодым послушником символизма 1900-х? А то, что этот сюжет пережит и описан именно им, Ходасевичем, в статье о Ростопчиной, и статья появляется на свет тогда же, на пороге «позорного десятилетия». Так что тут отчасти и автобиографический мотив. Россия — загадка, зияние, морок. Нечто, обозначающее себя отсутствием. Тоской отсутствия. Неутоленной жаждой.

Ходасевич — «пасынок России».

Спустя полтора десятилетия, покидая её в товарном вагоне и въезжая в Польшу, он прочтёт своей спутнице набросок — что-то недописанное, незавершённое, как не завершена сама реальность под его пристальным и желчным взглядом:

*Я родился в Москве. Я дыма
Над польской кровлей не видал,
И ладанки с землёй родимой
Мне мой отец не завещал.
России пасынок, о Польше
Не знаю сам, кто Польше я,
Но восемь томиков, не больше,
И в них вся родина моя.
Вам под ярмо подставить выю
И жить в изгнании, в тоске,
А я с собой мою Россию
В дорожном уношу мешке...*

Поляки, носившие родину в походных ранцах, скрестились с иудеями, носившими родину в томиках Торы. Только у отпрыска вместо Торы — томики русской поэзии.

Остальное — по Завету.

Ни распятие, ни сострадание — ничто не может помочь человеку в этом мире. Дитя двух гонимых в России народов, он не только смешивает в жилах их кровь, он соединяет в себе их хорошо осознанную проклятость. Польское воспитание, польский дух в семье, и притом — непрерывное сиротское ощущение. Еврейское начало? О да: дед — не кто иной, как знаменитый Яков Брафман. Но знаменитый именно тем, что оставил отчуждую веру и всю жизнь разоблачал «мудрецов» кагала и предавал гласности их коварные «протоколы». В ходе чего и сделался знаменосцем русского антисемитизма.



Есть от чего смутиться духу, не правда ли? В наследии Ходасевича (в переводческой его части) Красиньский и Мицкевич культурно и мирно соседствуют с Черниковским и Фихманом, но в душе поэта эти начала сосуществуют отнюдь не мирно: история им не даёт мирно сосуществовать.

*На новом, радостном пути,
Поляк, не унижай еврея!
Ты был, как он, ты стал сильнее —
Своё минувшее в нём чтить.*

И уж без обиняков — в письме Борису Садовскому от 9 ноября 1914 года: «*Мы, поляки, кажется, уже немного рождем нас, евреев*».

Двойная беспочвенность. Гоньба. Бездомье. Бесприют.

Символистская идея духовной одержимости, обретаемой сквозь шаткие и зыбкие очертания, если и находит в Ходасевиче первоначального приверженца, то именно как идея скитанья, сквожения. На этом он и формируется. Везде — пасынок, везде — гость, везде — чужой.

Лейтмотивы. Мир — скучен. Скука, как тощий пёс, взывающий к луне, наполняет душу. Нудно тянется время. «О, как мне скучно, скучно, скучно!»

Всё повторяется, всё одурающе повторяется в этом мире. Будет то же, что всегда. То, что теперь, — уже было. «*Проходит сеятель по ровным бороздам. / Отец и дед его по тем же или путям*». Всё живое умрёт, пойдёт слепым червям. Всё, что случится, наперёд известно. Всё возвращается на круги своя. Тоска.

Но вот что страшно: возвращаясь, никто себя не узнает. Это — важнейший трагический мотив Ходасевича. Душа живёт как бы «сквозь» реальность, не зная ни своей судьбы, ни своего прошлого, ни будущего. *Своего* вообще нет: всё — равно далёкое. Жизнь — с трудом припоминаемый бред. «*В заботах каждого дня / живу, а душа под спудом / каким-то пламенным чудом / живёт помимо меня*».

Это пламя — не горение жизни, а, скорее, истлевание, обугливание, саморазъедание. Середины нет: или мрак преисподней, или недоступная высь небес. Середина — тот самый мир «забот», сквозь которые душа проходит, не видя, не слыша, не желая знать. Серединный мир — это вовсе не спасенье, это ожидание беды. Апокалипсис предстаёт в будничных, ясных, каждодневных контурах. «*Всё жду: кого-нибудь задавит / взбесившийся ав-*

томобиль, / зевака бедный окровавит / торцовую сухую пыль». Смерть пахнет карболкой и йодом, адская сера дозирована в аптеке, кислота не низвергается с небес, а проливается из склянки на скатерть. Ангел Зла, неотличимый, проходит меж людей, и лишь экзема на лбу метит его.

Медицинский привкус придаёт стихам Ходасевича какую-то диагностическую достоверность. Автопортрет лирического героя: худой, бледный, жёлтый, седой человек, утонувший в диване, с потухшей папиросой меж пальцев. Всегдашняя зрительная точность побуждает связать этот образ с реальным обликом Владислава Фелициановича, который с детства страдал от болезней (слабенький, выпадал из окна, кормилица выхаживала), да в конце концов и не перешёл намного пятидесятилетнего рубежа, — но дело не в этом, вернее, не только в этом: не в точности рисунка. Дело в том, что этот пепельно-серый, выжженный облик соответствует духовному сюжету: образу вечного скитальца, волокущего своё тело по чужим дорогам.

Поражает точность его предчувствий и безжалостность приговоров. Горький ещё едва задумывается в Европе о «пробном» путешествии в СССР, когда Ходасевич предрекает: «Нобелевской премии ему не дадут. Зиновьева уберут, и он вернётся в Россию». За пару лет до этого в Россию собирается Андрей Белый. Отъезжая, он заявляет собравшимся с ним попрощаться братьям-эмигрантам, что в СССР его распнут и он примет смерть за всех, кто останется в изгнании. «Только не за меня, — холодно замечает Ходасевич. — Я вам этого не поручаю». С Белым истерика, он кричит, что рвёт с Ходасевичем навсегда, потому что тот своим скепсисом «всю жизнь» отравляет его лучшие мгновенья и пресекает благороднейшие поступки. Побледневший Ходасевич молчит, ибо Белый угадывает его настоящие мысли.

Ад равен Раю, и Рай — всё тот же Ад. Что свет, что мгла, что добро, что зло, что жизнь, что смерть — всё едино. Смерть — такой же путь бытия. В этом смысле символистская мифология, традиционно уравнивающая Бога и Дьявола, Христа и Пилата, падает в случае Ходасевича на органичную почву: в его воспалённой демономании не меньше убедительности, чем в холодном, рациональном, «вождистском» демонизме Брюсова: только тот в своём «аморализме» — доктринёр, теоретик и жрец, а этот — колченогий беженец, впадающий «то в жизнь, то в смерть», «то в отвращение, то в восторг», то в «благословенье», то в «проклятье».



Проходя сквозь полный страстей и борений человеческий мир, он вечно оказывается «меж двух враждебных светов». И — «замирает». Музы не разрешают ему присоединиться ни к тем, ни к этим. Они велят ему две вещи. «Победителей не славить... Побеждённых не жалеть».

Победителей не славить — это понятно... Но — побеждённых не жалеть?! Какой контраст с Максимилианом Волошиным, который, пластаясь меж красными и белыми, именно *жалует* тех и этих, душой разрывается.

Ходасевич — другой. На его счёт тем же Брюсовым замечено: тут всё сквозь зубы и с сухими глазами. Он минует эту жизнь стороной. Проходит, не оборачиваясь.

Что говорить о той сетке подробностей, ячеей которой он минует, не задевая? Это не плоть жизни — это видения. Их голографическая выписанность потрясает именно потому, что она — на грани небытия.

В одной из статей о Пушкине Ходасевич восхищается гениальной способностью последнего совмещать планы, показывать предмет с разных точек зрения, решать ряды параллельных заданий. Понятно, почему именно *это* завораживает Ходасевича в Пушкине, но понятно и то, что эта способность Пушкина остаётся для Ходасевича недостижимой. Недостижимо гармоническое сопряжение, которое позволяет Пушкину равно любоваться и казаком, и Делибашем. Ходасевич никогда не достигает гармонии. Он не любит. Он не умеет отдавать дань каждому. Для него правота и неправота равно бессмысленны. И подробности жизни равно безрадостны.

Это не просто предчувствия — это непрерывный страх. Нина Берберова на исходе десятилетия, прожитого с Ходасевичем в Западной Европе, пишет: «Он боится мира... Он боится будущего... Он боится нищеты... боится грозы, толпы, пожара, землетрясения. Он говорит, что чувствует, когда земля трясётся в Австралии, и правда: сегодня в газетах о том, что вчера вечером тряслась земля на другом конце земного шара, вчера он говорил мне об этом. Мне всё равно, что где-то землетрясение, для меня, по правде сказать, земля трясётся всё время, грозы бояться — для меня всё равно что бояться дождика. Пожар? Ну, так возьмём под мышку кое-какие книги и бумаги (он — свои, я — свои) и выйдем на улицу. Что касается толпы, то так как я не ношу ни перьев, ни фруктов на шляпе, ни накрахмаленных юбок, то я не боюсь, что меня

сомнут. Я сама — часть толпы...» (Нина Николаевна прожила девяносто лет).

А он?

«Страх его... переходит в ужас... и я замечаю, что этот ужас по своей силе совершенно непропорционален тому, что его порождает. Все мелочи вдруг начинают приобретать космическое значение. Залихватский мотив в радиоприёмнике среди ночи, запущенный кем-то назло соседям, или запах зажаренной рыбы, несущийся со двора в открытое окно, приводит его в отчаяние, которому нет ни меры, ни конца. Он его тащит за собой сквозь дни и ночи. И оно растёт и душит его».

На фоне этого глобального отчаяния контуры судьбы того или иного народа не так существенны: они вытесняются тошнотворным запахом соседской кухни или ударом радиоволны с того конца света. Катастрофичность бытия несопоставима с подробностями геополитики.

Притом в стихи вмещено огромное количество реалий. Выросши и проживя треть века в Москве, Ходасевич смолodu много ездит по Европе и привыкает к её мелькающим городам и народам. Полтора питерских года не делают его петроградцем — это, скорее, литературный эпизод (в Питере «каждое его новое стихотворение воспринимается как событие», отмечает биограф). Окончательный отъезд в Европу в 1923 году не делает его осёдлым жителем: Берлин, Прага, Мариенбад, Венеция, Турин, Лондон, Париж — вот его приюты. Накануне Второй мировой войны обрывается скитанье: за гробом идёт маленькая группа таких же эмигрантов.

Где умер? Неважно. Где скитался? Не играет роли. Душа проходит сквозь миры и страны. Средиземноморье. Ручей бежит от водопада, щёлкают бичи пастухов. Британия. Опрятные домики, аккуратные кладбища. Германия. Ночные трамваи, каменные тротуары. Франция. Грошовое казино, граммофон в дешёвом жилье, синематограф...

Синематограф Ходасевича, кажется, особенно раздражает, может быть, из ревности: призраки — слишком серьёзная вещь, чтобы торговать ими, как в балагане.

Тут — не балаган. Тут нечто более серьёзное. Сон. Сны. Могут появиться «томагавки, копыта и навахи» — в индейском сне. Или покачивающийся на слоне магараджа — во сне индийском. Или Кармен, прикусившая зубами розу, — в испанском. Не говоря уже о «певучих шагах венецианок» и о «скалах и агавах», обрамляющих «сор-



рентийские фотографии». А за многопестреньем всё тот же вопрос: «Где мы?»

И точно так же душа уходит скитаться — во мрак истории. Во тьму библейскую, где плачет Рахиль, а Мария и Иосиф бегут из Вифлеема. Во тьму античную, где Александр преследует Дария, и Дарий, вчера ещё владыка Персии, задержавшись на секунду, пьёт на четвереньках из придорожной лужи. Так проходит слава мира. Никакой специфической приверженности к тому или иному историческому слою у Ходасевича нет. Во тьме средневековой мечутся пажи и шуты... Омир, Тасова лампада, Вахх, Вергилий и Тартар возникают не столько как знаки исторической концепции, сколько как знаки общепозитической условности, освобождающей стих от диктата низкой правды. Иногда это просто псевдонимы, взятые случайно, с единственным правилом: не ломать стихового ритма: под «Темирой» скрывается Татьяна, под «Хлоей» — Анна...

Есть, впрочем, исторический слой, в который Ходасевич входит с заметным увлечением, — это русский XVIII век: Державин, «допотопные» ямбы... Однако характерно, что и тут «реальности» нет, а есть словесная амальгама, тоненький слой языка, цепочка традиционных аллегорий, удерживающих мелодию: «Спит спондей, поёт пэон...»

И всё-таки московское детство впечатывается в сознание, и именно московские сценки обретаются под пером Ходасевича магию «ощутимости». Картинка почти фотографична: «Сергей Иванович. Он в полушубке, в валенках. Дрова вокруг него раскиданы по снегу... Звук поглощают.

— С праздником, сосед.

— А, здравствуйте!..

— Постойте-ка минутку, как будто музыка?..

Сергей Иванович перестаёт работать, голову слегка приподымает, ничего не слышит, но слушает старательно.

— Должно быть, вам показалось, — говорит он.

— Что вы, да вы прислушайтесь...»

И эта достоверная картинка «у Благовещенья на Бережках» нарисована только для того, чтобы её смыло неслышной ангельской музыкой. Музыка — всё; реальность — ничто. Отсутствие России не просто обозначено музыкой, которой она не слышит, — отсутствие обрисовано голографически. Может, только у Набокова (в прозе) небытие прорисовано так же зорко. Это зоркость шахтера, видящего, как ползут по стене трещины. Зоркость авгура, предрекающего бедствие:

Портной тачает, плотник строит:

Швы расползутся, рухнет дом...

И всё-таки когда стропила затрещала реально, авгур дрогнул. Это было в феврале 1917 года. Тайный ужас от сиротства прорвался в стих, и великий русский поэт, в котором не было ни капли русской крови, воззвал к судьбе:

Не матерью, но тульской крестьянкой

Еленой Кузиной я выкормлен...

И не дописал.

На общем угольно-пепельном фоне яркий портрет русской женщины, царственно великодушной и иночески самоотверженной, был — как вспышка очистительного света.

Что высветилось во тьме?

Ничего. Во тьме семнадцатого года остались эти стихи неоконченными, чтобы ожить пять лет спустя, когда после гражданской войны, голода и безнадёги жизнь вроде бы начала оттаивать. «Начало весны», — помечает это время Ходасевич на книге, которую дарит Берберовой (впервые называя её просто Ниной). Он пробует жить. Он отправляется в Дом учёных за селёдочным пайком (при его болезненности каждое такое путешествие — преодоление себя). Потом на Сенном рынке выменивает на селёдку галоши, однако от волнения берёт на номер больше. Чтобы галоши не сваливались, он пихает в них завалявшиеся в кармане листки.

Эти листки — только что дописанное стихотворение о Елене Кузиной:

...И вот, Россия, «громкая держава»,

Её сосцы губами теребя,

Я высосал мучительное право

Тебя любить и проклинать тебя.

В том честном подвиге,

в том счастье песнопений,

Которому служу я в каждый миг,

Учитель мой — твой чудотворный гений,

И поприще — волшебный твой язык...

Извлечённые из галош стихи читаются «той весной» в литературных кружках, вызывая шок и восторг слушающих. Живое полное воспоминание гениально столкнуто в нём с горечью безнадежности. Любить Россию и проклинать её — какая тоненькая стенка



между двумя этими состояниями! Рушится от любого прикосновения. Истончается до тоненькой эфемерной плёночки — до «языка». Всё-то счастье — «счастье песнопений». Музыка слов. Паутинка знаков.

Помянув Елену Кузину, Ходасевич Россию покидает. В последний раз оглядывается на Петербург:

*И каждый стих гоня сквозь прозу,
Вывихивая каждую строку,
Привил-таки классическую розу
К советскому дичку.*

Поразительные строки. Задержимся и мы на этой точке слома.

Странно для Ходасевича прежде всего ощущение насилия над стихом. На самом деле «сквозь прозу» стих Ходасевича проходит, не задевая. Ничего общего ни с Маяковским, становившимся на горло собственной песне, ни с Цветаевой, перенапрягавшей стих непосильной ношей, ни с Пастернаком, силившимся передать непере译имое косноязычие реальности.

«Вывихивая каждую строку»? Но во всём наследии Ходасевича вы не найдёте ни одной вывихнутой строки; это не Мандельштам, у которого стихи действительно «вывихиваются». В том-то и состоит магическая сила Ходасевича, что, даже соприкасаясь с ломающей реальностью, он сохраняет чеканную, упрямую, несломленную «пушкинскую» чистоту стиха.

«Привил-таки классическую розу»? Да и не надеялся! Это Мандельштам пытался. Это у Мандельштама классический канон обретает программные черты и, соотносённый с «иудео-христианской» системой, вступает в смертельное столкновение с реальностью — что особенно ясно в свете тех комментариев, которые оставила нам на этот счёт Надежда Яковлевна Мандельштам. А Ходасевич — не «прививает», он мимо «советского дичка» проходит, «в упор не видя». И само слово «советский» в его поэзии отсутствует начисто, в данном стихотворении мы имеем первое и последнее — единственное его употребление.

По стихам Ходасевича, по отразившимся в них реалиям можно, конечно, почувствовать его жизнь при советской власти — «клокочущие чайники», «сгорающие на печках» валенки и даже следы работы в «советских учреждениях». Но нигде в стихах Ходасевича феномен со-

ветской власти и советской жизни не предстаёт как целостный объект анализа или хотя бы отрицания. Он эту власть не отрицает, он её не замечает, он даже не от неё бежит за границу, а от бедности и безнадёги, и даже не бежит, а едет «на время», надеясь вернуться. И за эту свою лояльность даже получает от Бориса Садовского прозвище «большевик». И отвечает на это (в декабре 1917 года): *«Быть большевиком не плохо и не стыдно. Говорю прямо: многое в большевизме мне глубоко по сердцу»*.

До 1925 года он остаётся в этой нейтральной, или, во всяком случае, в объективной позиции. Потом эмигрантская нужда, невозможность выжить толкает его в антисоветские издания, где публикует Ходасевич множество публицистических статей и заметок о советской жизни (уже сталинской эпохи). Эта деятельность, в которой много злости, много блеска и много правды, окончательно закрывает ему путь на родину.

В стихах же — в отличие от публицистики — понятие «советский» не встречается. Да стихи и не пишутся в 30-е годы. Действует публицист — поэт замолкает: *«Здесь не могу, не могу, не могу жить и писать, там не могу, не могу, не могу жить и писать»*.

Так что прощальный взгляд на «Петербург», брошенный из «европейской ночи» в декабре 1925 года (роковой час: Есенин в это время гибнет в гостинице «Англетер»), — эта прощальная песнь остаётся в поэзии Ходасевича как что-то странное, неожиданное и потому незабываемое. Может, потому и незабываемое, что неожиданное и странное. Врезающееся в память. Обрывающее нить. Рассекающее жизнь.

Эти строки — из тех, что, отрываясь от автора, становятся крылатыми. В моём читательском сознании по странной аберрации памяти (и, как я теперь понимаю, по содержательной аберрации материала тоже) они однажды перелетели-таки от Ходасевича Мандельштаму. Я этот ляпсус в спешке и по небрежности впахнул в одну из своих статей и тиснул в паре «местных» газет (одна из них, впрочем, была парижская). За это меня справедливо линчевали братья-критики, и, слабый человек, в отчаянии от случившегося я думал: как же это меня бес попутал, а Всевышний попустил на такую дикую оплошность? Не для того ли, чтобы подвигнуть к покаянному труду: перечитать великих поэтов Серебряного века под углом зрения их отношения к России?

Если так, то с радостью исполняю урок.



Итак, Ходасевич уезжает. Хотя вроде бы и не хочет. Но чувствует, что всё равно не удержится. Предчувствие подтверждено, когда из России на Запад идёт «пароход философов»: выясняется, что в списках на высылку есть и имя Ходасевича. Но это выясняется — потом. А пока он едет «подлечиться». И ещё потому, что «стали давать паспорта».

Нина Берберова вспоминает: «А в апреле... сказал, что перед ним две задачи: быть вместе и уцелеть. Или, может быть, уцелеть и быть вместе».

Всего полгода назад — смерть Блока и казнь Гумилёва. Неясно: этот ужас — в прошлом, или это предвестье? Никто ещё не боится ночных звонков и стуков в дверь. Но — смутное предчувствие какого-то «зажима» души. Словом, предстоит «уцелеть».

Портрет поэта в это мгновение: «Несмотря на свои тридцать пять лет — как он ещё молод!.. Ни вкуса пепла во рту (он говорил потом: у меня вкус пепла во рту даже от рубленых котлет!), ни горьких лет нужды и изгнания, ни чувства страха, который скручивает узлом... У него, как у всех нас, была ещё родина, был город, была профессия, было имя. Безднадёжность только изредка... тенью набегала на душу, мелодия ещё звучала внутри, намекая, что не из всех людей хорошо делать гвозди, иные могут пригодиться и в другом своём качестве. И в этом другом качестве казалось возможным организовать — не Россию, не революцию, не мир, но прежде всего самого себя».

Берберова попадает в самый нерв. «Организовать самого себя» — тут вся драма Ходасевича. «Порядок внутри себя, важность смысла за фактом». Потому что ни Россию, ни мир «организовать» невозможно. Но что значит: организовать «себя» вне России и вне мира? Что можно спасти на таком пепелище? Разве что «язык»...

За полвека предвещена Ходасевичем трагедия другого великого поэта русского небытия — Иосифа Бродского. У которого тоже оставался — «только язык».

Накануне отъезда Берберова просит Ходасевича записать для неё основные события его завершающейся русской биографии. Перечень набросан тотчас: все тридцать пять прожитых лет, по годам. Завершает список строка: «1921... Катастрофа».

Это написано полным сил и надежд человеком, который едет — «подлечиться».

Ещё восемнадцать лет лечится Ходасевич от неизлечимой болезни, ревниво вглядываясь в оставленную в России словесность, оценивая её в критических статьях. Что не сказано в стихах — сказано в статьях. Есть смысл вчитаться.

В статье 1928 года — любопытное сопоставление стихов Пастернака и Цветаевой: «Дневниковое бормотание Цветаевой глубже, значительнее, чем дневниковое бормотание Пастернака; читая Цветаеву... досадуешь: зачем это сказано так темно? ...Читая Пастернака, за него по человечеству радуешься: слава Богу, что всё это так темно: если словесный туман Пастернака развеять — станет видно, что за бормотанием ничего или ничего нет».

Стилистика «полубредовых записей» в принципе чужда Ходасевичу и у Пастернака, и у Цветаевой: он не признаёт «одержимости словом» — только «владение словом». Однако у Цветаевой всё-таки что-то «есть».

Что же именно есть у Цветаевой? Можно догадаться: реальность *потерь*. И это Ходасевича с ней примиряет. А у Пастернака? Ирреальность *обладания*. И это Ходасевича бесит. У Пастернака есть то, чего Ходасевич лишился. И даже если это (у Пастернака) иллюзия — всё равно нестерпимо, невыносимо!

Вообще странные вести доходят «оттуда». Например, что Есенин буйнит и поносит советскую власть, а советская власть его не трогает. Ходасевич комментирует: за десятую часть того, что певец «Москвы кабацкой» выкрикивает против коммунистов, любого другого давно бы поставили к стенке. А Есенина бережно препровождают в вытрезвитель и заминают скандал.

Самоубийство кабацкого соловья заставляет Ходасевича ещё раз задуматься о том, что их связывало. Было несколько литературных встреч на людях, была одна с глазу на глаз: долгая ночная прогулка по Москве весной 1918 года. Хотели встретиться ещё — не встретились: Ходасевич уклонился — ему было противно есенинское окружение.

Это окружение он описывает так: пламенная вера пополам с пламенным кощунством. Пьяные философы, готовые пристрелить каждого, на кого укажет «революция». Чернобородые идеологи в кожанках. Светлокудрые нестеровские отроки, прославившиеся впоследствии в основном как исполнители приговоров.

Насчёт «отроков» — намёк на самого Есенина. Однако при всей несовместимости скеп-



тического, желчного Ходасевича и разгульно-весёлого, распахнутого Есенина — эти два великих поэта Серебряного века почему-то друг другу нравятся. Может быть, потому, что Ходасевич чует в Есенине змеиную хитрость, спрятанную под херувимским простодушием, а Есенин в Ходасевиче под змеиной ядовитостью чует ту самую тоску, которая съедает его самого и для которой нет у него имени?

Есенин был очень ритмичен, отмечает Ходасевич: «Смотрел прямо в глаза и производил впечатление человека с правдивым сердцем, наверное — отличного товарища».

Человек был, разумеется, именно таким, а вот товарищ лихо отыгрывал роли: ангелоподобного Леля, хулигана с большой дороги, большевика, врага большевиков, европейца в цилиндре, соловья, влюблённого в розу.

Когда, отыграв, Есенин повесился, Ходасевич задумался о том, что же такое было в товарище, который в десяти разных обличьях прошёл по родине, и все обличьья были ложными, а стихи между тем — сплошная правда?

Ходасевич бьётся над этой загадкой: «Горе его было в том, что он не сумел назвать её». Он воспевал Русь бревенчатую, Русь мужицкую, воспевал социалистическую Инонию и азиатскую Расею, он пытался принять даже СССР...

«Одно лишь верное имя ему не пришло на уста: Россия».

А Ходасевичу — пришло?

Пришло. Более того: всегда было. На устах и в сердце: «Россия». Имя. Не было только за ним — реальности. Никогда.

Отпрыск двух народов, лишённых родины и мучительно тоскующих по ней, он изначально обрёл себя на пепелище, «во уродище», в мертвенном месте. Ни у кого из великих поэтов Серебряного века не было такой изначальной опустошённости; так или иначе они Россию теряли, но им было что терять. У Ходасевича её «нет». Мучительное, невыносимое отсутствие.

Россия не просто «отсутствует» у него, как «отсутствует» всякая объективно данная реальность, сквозь которую отчуждённо проходит душа в поисках «совсем иного бытия». Россия — зияет. Её словесный облик горестно бесплотен, она удержана только в «слове», в «стихе», в «песнопении».

В 1938 году долго молчавший Ходасевич на мгновение обретает голос и пишет стихотворение к юбилею ломоносовской «Оды на взятие Хотина»:

*Из памяти изгрызли годы,
За что и кто в Хотине пал,
Но первый звук Хотинской оды
Нам первым звуком жизни стал.*

Он стал последним звуком лиры Ходасевича в последний миг его жизни.

Когда эти стихи появились в парижских «Современных записках», Ходасевич умер.

Его схоронили парижане под гимн российскому ямбу.





Владимир ХОХЛЕВ

Санкт-Петербург



✉ Почта
ДП

Бог в Питере

В Таврический упало солнце,
Повис на ветках жаркий день...
Малец за бабочкой несётся,
Панамку сдвинув набекрень.

От зноя пожелтели травы,
Вода в протоках зацвела,
Не помнят о минутах славы
Три позолоченных крыла.

А крылья птиц от пыли серы,
Под куст метнулся воробей.
Жара палит... палит без меры
Совсем потерянных людей.

Бог вышел на откос прибрежный,
Присел в горячую траву,
Откинул прядь волос небрежно
И начал новую главу.

Бог в быту

Две туфли в углу, словно лодки у пирса.
Стакан на молу подлокотника. Скисла
Капуста, заквашенная для зимы,
Дожившая в рамках до ранней весны.
Классический стиль тепловой батареи,

Под шпоном дубовым сосновые двери,
Бесплодный лимон — никуда не привит,
Объевшийся кот под газетами спит,
Какой-то чудак зазывает с экрана,
Напомнила снова забытая рана,
В окно синевою автобусный смог...
И дышит за всем перечисленным Бог.

Лунная ночь

Света нет, деревья плоски,
Красит серебром луна
Две бегущие полосы
От платформы полотна.

Звуков нет, лишь лай собачий
Будит тишину окрест,
Голову в сиянье прячет
Разметавший руки крест.

Звёзды смотрят друг на друга
В неба чёрной глубине.
Борозда ночного плуга —
Млечный Путь в упругом сне.

Над деревней Бог хлопочет,
Льёт серебряный покой
В душу каждому, кто хочет
Жизни чистой и простой.

* * *

Лист ладонью ярко-красной
К моему окну приник,
За стеклом, на зорьке ясной
Вижу строгий Божий лик.

Смотрит Боженька на тучи.
На полупрозрачный лес,
На сопревших листьев кучи
Под зонтом сырых небес.

В доме холодно. Спросонья
Утро кажется концом.
Я к стеклу прижмусь ладонью,
Поздоровуюсь с Творцом.



Светлана ХРОМОВА

Москва



Но это становится больше меня —
И вот я
По ту сторону тебя.

Когда ты сказал, улыбаясь: «Е-8, ранен, убит» —
Поняла — мой корабль на дне лежит,
По утрам видит солнце,
Вечерами звёзды из-под воды —

Её пальцы ломали цветы и ломали льды,
Я боюсь этих пальцев, но страшнее их и меня
Та сторона тебя.



* * *

Вместо того, чтобы найти слова,
Она открывает почту, пишет: «Привет. Как дела?»
От него приходит ответ: «Всё хорошо. Дел
никаких нет».

Она набирает: «Дождь за окном моросит».
Не пишет: «Хочу видеть тебя, нет больше сил».
Открывает его письмо: «Может, гулять пойдём?»
«Да, — отвечает, — да», я же лёгкая на подъём
И на спуск, так пальцы бросают курок,
Летит мотылёк на запад, облако на восток,
Перелётная птица роняет под ноги перо,
Словно в последний круг, она заходит в метро,
Не говорит: «Отпусти меня, отпусти,
Я хотела бежать, опять не хватило сил...»
Он не ищет, но находит слова: «Да, —
говорит он, — да».

Они оба слышали голос: «Этот поезд идёт в депо»,
Выплывают в город и видят: тут что-то не то,
Всё смешалось в доме Облонских,
Они не верят своим глазам, проходят привычные
перекрёстки,
К знакомым идут мостам, а мосты их не узнают.
Они оба знают, сколько стоит уют.
Как стекает небо за воротник.
Думаешь — никогда не привыкнешь —
уже привык,
И тогда не ищешь, да и не помнишь слова.
Они оставляют следы, течёт под мостом вода.

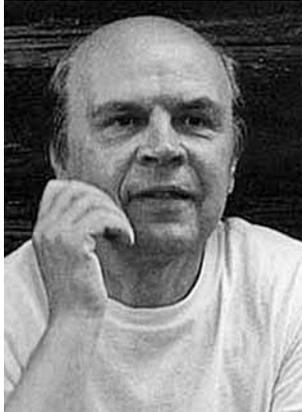
* * *

А начиналось, как начиналось всегда:
Живая вода, весна, города.



Валерий ШАМШУРИН

Нижний Новгород



* * *

Тот путь или не тот —
Шагай, мой Росинант,
Туда, куда ведёт
Бесхитростный талант.

Какого нам рожна,
Что сбудется в конце?
Едва ль она нужна —
Указанная цель.

Ни план и ни проект
В наитье ни при чём.
Зачем судить свой век,
Тень подпирать плечом?

Рассвет или закат,
Стило или кайло?..
Мы едем наугад,
Чтоб вышло набело!

Русская поэзия

Обойду все веси я,
Выселки и грады:
Русская поэзия,
Тебе всюду рады.

Ты мила мне издавна,
Пылких строк дружина.
Высь твоя не вызнана.
Глубь непостижима.

Есть к чему причалиться,
Чтобы душу грело.
Чтоб она — страдалица
Боль перетерпела.

Чтобы в непогодину
Никакая сила
Цвет лазорев — Родину
Напрочь не скосила.

* * *

Вот горе от ума,
Что вроде стал излишним:
Жгут старые дома
В благословенном Нижнем.

И жалость не нужна,
И горечи не видно.
Родная сторона
Сгорает беззащитно.

Глядишь, плеснёт бензин
Детина некий дерзкий —
И плакал Карамзин
Да Мельников-Печерский

От суетного зла,
От благодушной дрёмы,
Когда сгорят дотла
Их скромные хоромы.

То здесь, то там огни.
Но что-то нет тревоги.
Кому ж милы они,
«Случайные» поджоги?

Не на далёкой стрит —
У нас перед глазами
Заветное горит,
И мы пылаем сами.

Такие ныне дни,
Что напрягает жилы
Дух мерзкой суетни
И выгодной поживы.

Что будет? Мрак и стынь.
И даже, может статься,
Придётся без святынь
И без души остаться.



* * *

Для Отечества в сердце всегда было место,
Где не знала любовь никаких берегов.
И Россия нам виделась словно невеста
Среди пышных черёмух и светлых лугов.

Ничего не забылось, что душу спасало,
Что в решительный час от беды берегло.
Ни вселенской грозы, ни девятого вала
Не пугались мы всем предреканьям назло.

Шли на нас тьмы и тьмы и чумой, и войною,
Но всегда нам защитой был оберег —
Это память святая о том, как весною
Голосят соловьи у разлиvistых рек.

Как росой омывало нам ноги босые
И поили живою водой родники..
Что же ныне не держимся мы за Россию,
Как держались за веру в скитах кержаки?

То ли мужества нам, то ль сплочённости мало?
С каждым днём всё наглее орёт вороньё.
Ни на что нас Россия вовек не меняла.
На кого ж мы теперь оставляем её?

* * *

Георгию Рунову

Деревенька в поле Асино,
Дремота да глухота.
Золотые кроны ясеня
Осеняют те места.

К ним сентябрьскими дорогами
(Боже, ты уж нас прости!)
Даже с думами высокими
Ни проехать, ни пройти.

Ох ты, вся с резными ставнями,
Со скворечниками сплошь
На саму себя оставлена
И сама собой живёшь.

Ситуация обычная
В гробовые времена:
Доживаешь, горемычная,
Словно брошенка-жена.

Никому ты не угодная —
Ни продать, ни обобрать.

И никто тебе, свободная,
Не мешает умирать.

Стонет каждая балясина,
Стынет каждое жильё.
Золотые кроны ясеня —
Всё наследие твоё.

* * *

Вот и подходят последние сроки.
Даль различима, распахнута высь.
Ты не спеши, погоди на дороге,
В чутком безмолвии остановись.

Зимним ли вечером, полднем ли летним
Там, где азарт твою жизнь торопил,
Не был ты первым, не будешь последним,
Только, как все, ты страдал и любил.

Благо, что солнечный свет не потушен.
Что не сгорает надежда в мольбе.
Значит, ты Богу и миру был нужен
И потому-то был нужен себе.





Андрей ШАЦКОВ

Москва



Письмо

Сединки тумана в заре,
Леса цвета Курочки Рябы...
Вот рыжим котом на дворе
Улёгся погожий сентябрь.

Прозрачные дали легки,
Звенят, как перо над строкою...
Я там собирал васильки
В уснувших полях за рекою.

Ушедшего лета привет.
Приказ о забвенье суровый.
Недаром в глазах твоих свет —
Как сполох в полях васильковый!

Свинцовые капли дождя
Танцуют на зонтиках грубо...
Я снова кричу, не найдя
Твои незабвенные губы.

Недавно шальная гроза
Терзала меня вдохновенно.
Остались с прищуром глаза
Да тонкие синие вены!

Я снова встаю тяжело,
Но знаю, до первого снега
Мне вряд ли усесться в седло,
Чтоб мчать в упоенье набега.

А впрочем, преданье старо.
Всё нынче обыденно просто.
От станции «Март» на метро
Доеду до станции «Росстань».

Сентябрь... И ты далека —
Как в небе косяк журавлиный.
Прощай, ухожу сквозь века
Туда, где слагают былины.

Шумят за окошком боры.
И чаша идёт круговая...
Ты слышишь, поют гусяры,
Твою красоту воспевая!

Ноябрьская исповедь

В ноябре упало на листву
Сердце
и зашло от лютой стужи.
Ты не нужен больше никому,
И давно сам себе не нужен.

Что хмельное лето вспоминать?
Подставлять лицо бывлой капели?
Маму звать, а любящая мать
Растворилась в солнечном апреле!

Что там за стеною — хмурь и глад?
Что там впереди — зимы оскома,
Тапочки и байковый халат:
Хорошо бы не в больнице — дома.

Да любимой женщины спина:
Строгая, колючая, чужая.
С совестью бессонная война,
От обиды — рана ножевая.

И в друзей разорванном кругу
Лепестки кафизм на аналое.
Сколько их споткнулось на бегу?!
Сколько проросло плакун-травую?!

Надо жить, а как без света жить?
Темнота копится за порогом.
Камень бел-горюч во мгле лежит.
Без призора брошенный Сварогом.

Это твой последний оберег.
Твой последний луч дневного света...
Холода... Ноябрь... Первый снег...
Исповедь печальная поэта.



Волчья песня

Привольно волку в матерых снегах.
На зимней свадьбе загулял матёрый.
Темно в бору, лишь снегириный птах
Горит на хвое свечкой краснопёрой.

Намёты и сугробы глубоки.
Бескрайни дали сумрачной России.
Опять, как в Смуту, волчьи огоньки
Рассыпаны на белой парусине.

Опять свистит метель над головой —
Взъерошенную леса головою.
Близка беда, и обернётся вой
Заклятьем стаи — песней боевою!

Приветствую тебя, земля волков,
Напружившая лапы в гиблом веке,
Перед последним из своих прыжков,
Чтоб смежил ворог панцирные веки —

Навек!

И пробуждаясь ото сна,
Взломав дождём коросту ледостава,
Из поднебесья хлынула весна,
Из чернозёма — возродилась слава

Твоих сынов, твоих святых чудес.
И таинств заповедного причастья...

Рождённый волком — сбережёт свой лес,
Где он на свет явился в одночасье!

* * *

Я в сказки Рождества не верю...
Но вот приснилось этой ночью:
Как будто ты стоишь за дверью.
А за окошком — снега клочья.

У нас с тобою, мама, тихо.
В сочельник свет уходит рано.
И дремлет, притаившись, лихо
На самом краешке дивана.

Погасли поздние зарницы
В глазах твоей любимой кошки.
Скрипят паркета половицы.
Качаются у кресла ножки.

Квартира эта четверть века
Ремонт не ведала, однако...
В ней заменила человека
Голубоглазая собака.

Она была б тебе послушна
И облизала жарко руки.
И было нам — втроём — не скучно,
Когда бы не было разлуки.

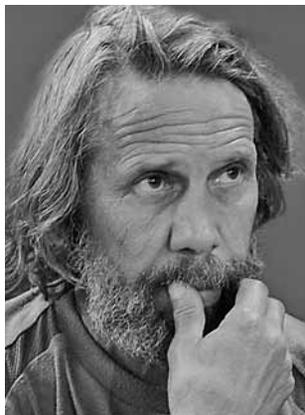
Когда бы не было печали.
И встреч никчёмных Новолетий.
И зеркала не замечали
Скупые слёзы на рассвете.





Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Санкт-Петербург



* * *

Хотел обнять полмира,
Да руки коротки.
Я метил в командиры,
А вышел в штрафники.

Я не плету сонеты
И не хожу в строю.
Заплечных дел поэты
Меня не признают.

А я всё хмурю брови
И лезу напролом —
Поэзия без крови
Зовётся ремеслом.

* * *

Полжизни спалил — ошарашен итогом.
Всерьёз негодую на праздных гостей.
Чернильная туча ползёт осьминогом
И звёзды глотает...

Измята постель,
Как мёртворождённое стихотворенье.
Погода меняется — ноет плечо.
Ещё две строфы, и, как муха в варенье,
Увязну...

Поэзия здесь ни при чём.
Вот плюну на всё и уйду без оглядки,
И жизнь, что всегда оставлял на потом,
Взахлёб стану пить, буду в чистой тетрадке
Писать очень просто об очень простом.
И брошусь с разбега в беззвёздную полночь,
Чтоб хоть на секунду приблизить рассвет.
Свисти, не смолкай, соловьиная сволочь!
Сбивай с беззащитной черёмухи цвет!

* * *

Светилась яблоня в саду
За три минуты до рассвета.
В тени ракиит купало лето
Кувшинки жёлтые в пруду.
Играла рыба в глубине
На перламутровой свирели,
И камыши чуть слышно пели,
И подпевать хотелось мне.
Звенел комарик у виска
О чём-то бесконечно важном,
И так бывало не однажды,
И те же плыли облака...
Упало яблоко — пора —
И ветка, охнув, распрямилась...
И, торжествуя, жизнь продлилась
За три минуты до утра.

* * *

Меня спросили: «Кем ты был?»
Я не ответил — я забыл.
Меня спросили: «Кем ты стал?»
Я не ответил — я устал.

Меня спросили: «Чем ты жил,
Какому богу ты служил,
Какого сына воспитал,
О чём несбыточном мечтал?»

Жена в глаза взглянула мне:
«Как страшно ты стонал во сне...»

Марине

Скрипит под ногами ледок.
Чирикает воробьишка.
Меняет и наш городок
На плащик худое пальтишко.
Любимая, вот и весна!
Снега уползают в овраги...
Вот брякну в сердцах: «Не до сна!»
И двину из греков в варяги,
Минуя весёлый Париж,
В котором полно чернокожих,
И хищники снежные с крыш
Не падают на прохожих,
И каждый пугливый сугроб
Сметанен и даже — творожен,
И каждый любовный микроб
Опознан и уничтожен,



И веник у них не цветёт,
А наш, посмотри, расцветает..
Любимая, я — идиот —
Европа стихов не читает!
Не смейся, родная, прошу!
И пусть непростительно трушу,
Я лучше тебя напишу —
Слушай...

Другу

Как много в городе снега —
Бери и стихи пиши!
В вагоны метро с разбега
Прыгай, буянь, греши.
До хрипоты с судьбою
Спорь — не теряй лица.
За женщину — только стоя!
За Родину — до конца!
И пусть второму — корона,
А третьему — соловьи..
Ты первый! Крылья грифона —
Твои!
Взлетай и лети — так надо,
Не возвращайся назад —
Писательские загранотряды
Поэзию не щадят.

* * *

Из небесной реки пьют небесные кони
И копытами бьют... Звёзды сыплются вниз..
Открываю окно. Окунаю ладони
В тёмно-синюю ночь и встаю на карниз.

Не желаю стихи, как жаркое на блюде,
Господам подавать, демонстрируя прыть.
Если я упаду, ничего мне не будет,
Между небом и мной — неразрывная нить.



Виктор ШИРОКОВ

Москва



Две памяти

Я хочу поделиться сегодня, друзья,
что слаба виртуальная память моя;
как ни бился, увы, ни за что не смогу
ни послать, ни прочесть, ни бе-бе, ни гу-гу.

Я не знаю, что делать, кого попросить,
чтобы снова общаться, встречаться, любить;
чтобы, полон витальных таинственных сил,
я уже ни о чём никого не просил.

Улыбался бы только в седые усы,
а компьютер работал как будто часы;
и, программу сменяя программой другой,
прогонял бы я прочь виртуальный покой.

Только выразил разум нежданный протест:
ты, дружище, не носишь положенный крест;
что ты спрятался, чувства живые тая,
неужели сломалась реальность твоя?

Блок недаром сказал, что без дела мертвец
человек, вот и ты приближаешь конец,
погрузившись в компьютер, фальшивым трудом
обживая усердно свой призрачный дом.

Я согласен с поэтом, но что я могу,
только честь, как мне кажется, я берегу;
только часть моя лучшая, высшая — честь
позволяет прочесть или же предпочесть...

Я готов отодвинуть придуманный мир;
нет, компьютер ничуть для меня не кумир;
я со стула вскочил, я за дверь побегу;
я — живой, я — живой, доказать я смогу.



Да и память моя не подводит меня,
я готов наизусть, ещё с детства храня,
вам часами читать дорогие стихи,
и не надо ха-ха, и не надо хи-хи.

Но оставьте мне этот придуманный мир,
он мне мил, он как бы тренировочный тир,
где решаю я ребус судьбы, бытия,
чтоб продлилась подольше моя колея.

Чтобы письма пришли из диковинных мест;
это не надоест, это не надоест;
чтобы полон витальных таинственных сил
я уже ни о чём никого не просил.

Сочувствие

Опять внутри раздраз и драка!
Конечно, полный идиот!
Спешу домой, к своей собаке.
Она — единственная — ждёт.

Она — единственная — верит,
что я вернусь, что не предам.
Она — единственная — мерит
отрезки жизни по шагам.

Она безмолвно ждёт в прихожей,
неразличимая во тьме.
Мы в этом с ней настолько схожи,
что стало даже страшно мне.

Не так ли ждал я возвращенья
то дочери, а то жены,
готов всегда просить прощенья,
хоть и не чувствовал вины.

Был завывать готов, не так ли,
заброшенный, полуживой,
когда они после спектакля
являлись за полночь домой.

Сегодня вспоминаю часто
тот быт, который не ценил...
Наверно, это было счастье,
спасти лишь не хватило сил.

Так сбрасывает наважденье
лишь проигравшийся игрок,
так я живу в оцепененье,
поскольку снова одинок.

Есть два сочувствия, однако,
пока не стала жизнь темней:
моё — душевное — к собаке,
её — ответное — ко мне.

* * *

В этом мире, давно полинявшем
от неистовой стирки дождей,
никогда я не жил настоящим,
сочинитель, игрок, лицедей.

Редко в юности кланялся Богу,
ещё реже влюблялся в вождя;
я без зонтика вышел в дорогу,
не боясь ни грозы, ни дождя.

И сухой оставался остаток
от эмоций по мере пути;
разменяю девятый десяток,
чтоб вперёд как возможно пройти.

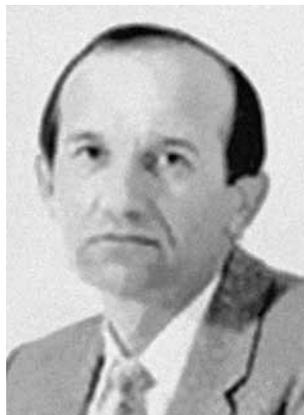
И увидеть всё ту же картину
на исходе библейского дня,
как рябина склоняется к тыну,
одинокая, вроде меня.





Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ

Москва



* * *

Холмы — на месте!
Дом — на месте.
Река течёт,
и каждый куст
приносит радостные вести:
— Здесь всё на месте, всё на месте.

* * *

Было всё впереди!
Все мои невозможные дали.
Моросили дожди,
и колёса за лесом стучали.

В слуховое окно чердака
заплывала берёза,
и звучал из ДК
упоительный вальс Берлиоза.

* * *

В городе ночью шумят листопады.
Воздух трещит за стеклянной стеной.
Я засыпаю, лечу под канаты
И, просыпаясь, трясую головой.
Тренер не спит — финалисты продули.
Лучшую муху, как ветром, смахнули.
Тяж разучился удары держать.
Очень страдает. А мне наплевать.
Радостей жизнь для меня не избыла.
Что мне какой-то проигранный бой?
Вечером слава меня обделила,
Утром уже окрылила любовь!
Юноши дуют в спортивные трубы.

Кружится мусор весёлого дня.
Листья летят. И в разбитые губы
Рыжая Майя целует меня.

* * *

Суббота — в девятнадцать лет!
Моя рабочая суббота.
Она была просторней года.
В ней было всё: горел рассвет,
дымила чёрная литейка,
сверкал закат, блестел паркет,
смеялась рыженькая Ленка.
Грустил кларнет. Буянил альт.
Худая лошадь у причала
жевала лист и на асфальт
слону зелёную роняла.
Суббота — шесть часов труда.
Часы исканий и раздумий.

Часы любви и полнолуний.
Травой заросшая вода.
А лодка тихо по теченью
плыла навстречу воскресенью.
Сады ревели, как моря,
все в светляках, в холодной пене...
Простор, как первый день творенья.
Суббота — молодость моя!

* * *

Не торопись трещать, будильник:
Дай сон весёлый досмотреть.
Опять в углу, как холодильник,
маячит северный медведь.
Сегодня он какой-то грустный,
Заволокло звериный взгляд.
На лапах у него, как люстра,
сосульки звонкие горят!
Прощанье! Порт обледенелый.
Грохочет флюгер. Ночь светла.
А я стою, как обалделый, —
посылка из дому пришла.
Беру посылочку. Вздыхаю.
И запах яблок узнаю.
Друзей-матросов угощаю.
Своё медведю отдаю.
Теперь буди меня, будильник,
пора на родину лететь,
корми бродягу, холодильник.
Мне надо многое успеть!



* * *

Какое счастье — разлюбить!
Забывать бессмысленную муку,
как будто сломанную руку
в ручей холодный опустить.

* * *

Когда делили Землю племена,
достались нам печальные равнины,
достались реки, тёмные от глины,
и от мороза страшная луна.
А на душе то холодно, то гадко,
и с ненавистью мы в себя глядим.
Не жаль, что нас не обласкал Гольфстрим,
но древний Рим периода упадка,
о, этот древний Рим...

* * *

Прозрачная вечность течёт
в кувшин Бенвенуто Челлини,
старее на стенах эмаль...

А мне расставаться не жаль!
И что мне Франческа, Лючия?

Я только в звучанье имён,
в названия улиц влюблён,
в пьядца делла Синьория.

* * *

Стоят в руинах Рима облака,
и, ни о чём уже не сожалея,
коснусь стены шершавой Колизея.
И под рукой она — так далёка!

* * *

Старый тополь стоит!
Старый мост удержался!
Под напором воды устоял.

Сколько раз уезжал
и не помню, что я уезжал.
Помню, как возвращался...

* * *

Как завораживает взгляд
костра магического пламя...

И только провода звенят,
о времени напоминая.
И только отблески огня,
ещё не названного словом,
дрожат на камне ледниковом.

Здесь долго не было меня.

* * *

Два облака белых плывут по лазури.
Стоит ослепительный зной.
Ну вот мы и встретились после разлуки,
Невечной разлуки земной..
Над жизнью, в которой мы прочно забыты,
Над синим холодным Днепром,
Над кладбищем, где мы не рядом зарыты,
Сегодня мы рядом плывём.
Два облака белых... Одно розовеет,
Над миром приветствуя день.
Другое опять отдалиться не смеет,
Лежит на нём первого тень.
Нам встретится дым! И о юности милой
Ты вспомнишь и нежно взгрустнёшь.
Я ливень пролью над твоею могилой..
А ты над моей не пролжёшь.
Ты первой иссякнешь в пылающем небе,
Рванусь за тобою, звеня!
Но в клевере, в глине, в полыни и в хлебе
Ты разве дождёшься меня?
Два облака белых плывут по лазури.
Стоит ослепительный зной.
А может, и не было вовсе разлуки,
Невечной разлуки земной?





Маргарита ШУВАЛОВА

Кстово, Нижегородская область



Молясь за них, живя надеждами,
Не нам ли с ними рядом быть
И в трудный час руками нежными
С тобою раны их обмыть.



* * *

Убегает река, с небесами сливаясь.
Две лазури, два зеркала в вечном сближении.
Снизу вверх в эту синь, с головой окунаясь,
Забываешь, где сам,
Где твоё отражение.

В чистоте отражается самое лучшее.
И, пытаясь увидеть его продолжение,
Совершаешь свой путь по скользящей излучине
Этих двух бесконечностей —
К точке сближения.

России

Не сетуй на меня, родимая,
Что для тебя я не смогла
Найти слова необходимые,
Глаголом жгущие слова.

Пусть впереди громкоголосые
Мужи достойные идут.
Да будут светлыми их помыслы
И верным набранный маршрут.

Родная, верь, в години тяжкие
Они, ликуя и скорбя,
Металлом Слова, словно шашками,
Рубиться будут за тебя.

И обернутся копыта острые
Пером в недрогнувшей руке.
На поле брани, в годы грозные:
Плечом к плечу, строкой к строке.



Андрей ЩЕРБАК-ЖУКОВ

Москва



Без названия

Поселились у реки
Непонятные зверьки...
Без какого-то названья
Нам, двуногим, в назиданье.
Основательные самки
В небесах возводят замки,
А беспечные самцы
Строят под водой дворцы...
В глубине ли, в высоте —
Рушатся и те, и те.

Палеонтологическое

Любит,
Любит
трилобит,
Чтобы был пролом пробит.
Любит лбом долбить пролом он —
Всё долбит, долбит, долбит...
А троглодит
на всех сердит
И выглядит —
Ну как бандит —
Он три дня траншею роет, а четвёртый в ней
сидит.

Вот бы кто-то из светил
Сих феноменов скрестил.
То-то вышел бы гибрид
Он — то роет, то долбит.

* * *

Ну что же делать — не о чем писать!
Весь мир до раздражения понятен.
В нём больше не осталось белых пятен —
Ни тайну вскрыть, ни надломить печать.

Мир словно вырезан из дерева ножом...
Зимой холодно, а летом — потеплее;
Мы осенью гуляем по аллее,
Весною пиво на пригорке пьём.

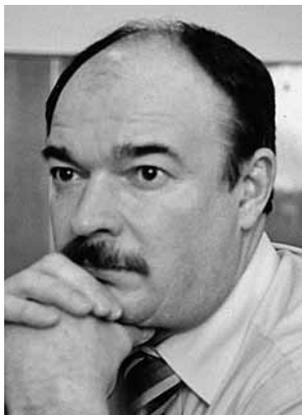
Он однороден — центр ли, верх ли, низ...
Не различить края и середину.
И Бог покинул древнюю машину,
Оставив тикать глупый механизм.





Иван ЩЁЛОКОВ

Воронеж



Свидание с Петербургом

1.

Я с наскоку к тебе, Петербург.
Заскучал, как мальчишка влюблённый.
Десять лет — словно десять разлук
За плечами судьбы притомлённой.

Под размеренный, звонкий, стальной
Перестук учащённое сердце,
Чтоб ускорить свиданье с тобой,
Билось чайкой в вагонную дверцу.

На Исакии снег, на Неве,
На державных Петровых заплечьях.
В снеговейном небесном родстве
Торжествуют Разлука и Встреча.

Десять лет — десять дымчатых вьюг
Закружили в обряде причастья...
Я к тебе на полдня, Петербург,
И на годы продлённого счастья!

2.

По дорогам большим и известным,
По глухим полустанкам страны
Я промчусь на коняге железном
С ощущением странной вины.

Промелькнёт Петербург огоньками
Сквозь балтийскую мглу маеты.
Разведутся опять между нами
Редких-редких свиданий мосты.

В зимнем небе над древнею Тверью
Проблеснёт золотая звезда.
Я по-прежнему в Родину верю,
Почему же она — не всегда?

Разбегаются дали, столицу
Обогнув по стальному кольцу.
Буду помнить любимые лица —
Это чувство нам больше к лицу!

Поворачивай к югу, коняга!
Там донские раздолья вольны.
Я в вагонах твоих не бродяга —
Очарованный странник вины.

* * *

Здравствуй, ветер — мой вольный товарищ
небесный,
Ливнем хлёстанный, валенный в знойной пыли!
Что ты видел — шепни! — за речным перелеском?
Что за странные люди околицей шли?

Раскалённые пятки босого июля
Прорываются к сердцу зудящим огнём.
Может, с ними мне надо? Вот только смогу ли,
Как лазутчик, околичным шастать путём?

Мы, не прячась, знакомым отправимся бродом.
Дунь порезче, възграйся речною волной!
Что-то много заблудшего ходит народа
Непонятно куда, неизвестно какой стороной.

* * *

Увези меня, молодость, в Прагу,
Но сперва погости со мной в Брно.
Там студенческой шумной ватагой
Пили мы золотое вино.

Милку с Яркой найди. Я тоскую
По девочкам, зачем — не пойму.
Если встречу я их, расцелую
И от радости к сердцу прижму.

Симпатия, лицо универа,
Гиды сверстников из СССР...
Заблудилась славянская вера
В плотных сумерках брненских пещер.

Мы поедем за город купаться,
Рвать черешню вдоль сельских дорог.



Время косточкой выплюнет братство
За автобусный узкий порог.

Нет ни стран у нас прежних, ни флагов.
В погребках пьют другие вино...
Всё равно увези меня в Прагу
И сначала, конечно же, в Брно!

* * *

Молодёжь живёт прикольно.
Старики живут постыдно.
Новый крест на колокольне
Далеко в округе видно.

Молодёжь балдеет классно.
Старики вздыхают больно.
Крест взирает ежечасно
На их жизни с колокольни.

Все — под Богом, все — у тайны
И рабы, и слуги равно:
Молодёжь с душой ментальной,
Старики с душевной раной.

Слушаю Бетховена

Вьюга метёт — волнуется.
Дышит сквозняк в дюраль.
Школьниками кучкуются
Улица и фонарь.

Чист ли душой, греховен ли,
Вечному присно быть...
Музыкою Бетховена
Зимняя дышит зыбь.

За переулком, к пристани,
В краешек бытия
Душу, как гамму, втиснула
Партия февраля.

Снежная мгла пуховая,
В каждую щель входи!
Слушаю я Бетховена —
Буря в моей груди.

* * *

Снега обступают. Ах, если б снега —
Трёхдневная злая колдунья-пурга!

Не просто метёт — по-звериному рыщет.
Тоскует по ком ли? Кого-нибудь ищет?

Всех умных и добрых до крыш замело,
Всем алчным и злым, как всегда, повезло.

Лишь сердце с пургой не желает мириться
И тычется в грудь, как в окошко синица.

* * *

Ты скажи мне, какое нам время по вкусу
И бывает ли вкус вообще у времён,
Если люди, подобно болотному гнусу,
Облепляют его изнутри испокон?

Я давно усомнился в своих ощущениях.
От любви — лишь тоска, от восторга — лишь
вздых.

Виновато ли время в моих превращениях?
По-другому хотел, но, наверно, не смог!

Я себя отдаю на потребу то дням, то годинам.
Перемешано всё и утерян отточенный вкус.
И гуляет луна по отглаженным фалдам гардины,
Будто пробует сердце на новый искус.

И гнусавит по телику поздний ведущий.
Надрывается в песне любви соловей...
В этом времени кто я — зовущий, поющий
Или просто бредущий дорогой своей?





Евгений ЮШИН

Москва



Летом 2010-го

Как шмель огромный, влажный глаз коня
Последнего, быть может, на Мещёре,
Вдруг отразил клокочущее море
Рассудок потерявшего огня.

Привычно у ограды стог дремал.
Но сердце встрепенулось, придушило,
И кровь пошла ознобом, и заржал,
Зверья, конь,
и задышали жилы.

И люди выбегали из дворов
С иконами, с детишками, с узлами...
Утробное мычание коров,
Как польмя, стелилось над домами.

И зарычали ветер и огонь,
Когтями золотыми небо рыли.
И полетел дымами старый конь,
Опережая огненные крылья.

И ни луны, ни солнца над землей!
И в небо поднимается деревня,
И оседает чёрною золой
На пажити и серые деревья.

Но конь летит! Последний, может быть!
Уж он-то должен вырваться из плена!
Горит в Мещёре... Прошлый век горит.
И роет землю огненная пена.

Густое пламя сходится в кольцо
И нет нигде спасения на суше.

И оседает на мое лицо
Горячий пепел горестной Криуши.

Смотрю на неживые небеса,
Но ржание далёкое, родное,
Я слышу, слышу.

Душит дым глаза
И меркнет смертный мир передо мною.

На реке Пре

Здесь пахнет Севером и Русью,
И у мостов, волной хрипя,
Проходит Пра и, словно бусы,
Озера нижет на себя.

Здесь, накренься, сосна-калека
Земную зацепила ось.
Стоянку каменного века
Скопа оглядывает вскользь.

Толпятся дикие угоры
И белой искрой — там и тут —
Мерцают, словно волчьи взоры,
По темноте костры бредут.

Теснятся струги со снастями,
И комариный пляшет гуд,
И деревянными костями
Телеги тяжкие трясут.

Спасая жизнь, спасая веру,
К груди прижавши топоры,
Уходят топью старOVERы
В молитвословные боры.

Рычат века. Всё ближе, ближе
Гармонь колхозной городьбы.
А Пра плывёт и нижет, нижет
Туманы, судьбы и гробы.

И город давний, деревянный —
Сады, песок да лебеда —
Встречает улочкою пьяной,
Туда петляющей, сюда.

На рынке — солнце с новостями
И тополиный пляшет пух,
И шуки с гладкими хвостами
Уныло плятятся на мух.



Улыбки, встречи... Душу пели
Мы под гармошку, под баян.
Какие войны одолели!
Какие жизни пролетели
И в сизый канули туман!

То гром ружейный, то небесный.
То стяг Победы, то полон.
Неужто были бесполезны
Все жертвы прожитых времён?!

Зачем всё это было, было,
Зачем терзало и трясло,
И всё, что гены прозобило,
Травой тяжёлой поросло?!

И для чего от века к веку
Мы ищем смысл бытия?
Вполне достойно человеку
Жить незлобливо и любя.

Любя, как есть! Не тщась, не мучась!
Душой открытою принять
Полей родительскую участь,
Лесов напевных благодать.

Вот эту даль — с рекой и песней,
Вот этот серенький мосток
Любить, как любишь в поднебесье
Звезды рождественской росток.

Любить, как мать, любить, как Бога,
Как жизнь случайную свою, —
Сырую от кровей дорогу
И в ней — родную колею.

* * *

Гудят молодые меды и надломлены соты,
И солнце густеет на блюде в кружении ос.
Лесными просёлками, лугом померкшим, болотом
Качается грузного августа пламенный воз.

Выносят сады в подолах разноцветие яблок.
Темнеет по лужам берёзовых листьев настой.
Озябши под вечер, к стожку прибивается зяблик,
И гнёздами пряные грузди лежат под листвою.

Уже кабаны нажрались желудей и крапивы,
Над лугом далёким в одышке застыла гроза.
О чём-то прощальном лепечут поречные ивы,
И щурят избушки свои голубые глаза.

Маслята молочные с верхом корзину укрыли.
По тёплой хвоинке ползёт золотой муравей.
Стрекозы роняют почти что стеклянные крылья,
И пенится горькое солнце в изгибах ветвей.

Возьму это солнышко, эту бруснику щекастую,
На губы её положу — и закрою глаза:
То жизнь моя, жизнь — удивлённая, терпкая,
красная,
То песня родная — скользнувшая небом слеза.

Душой обниму эту вольную, светлую, сизую,
Дощатую родину, чтобы и сыну расти.
И весь этот август, всю песню пуцу по карнизу,
Чтоб в белую зиму ему зеленеть и цвести.

Ещё не сентябрь, но прощайте, пролётные гуси!
Я вас провожу — улетайте — храни вас Господь!
Всё катится воз. И всё катится небо над Русью.
Сжимается сердце, сжимаются пальцы в щепоть.





Игорь МИХАЙЛОВ

Москва



«И КОРАБЛЬ ПЛЫВЁТ...»

Очередной поэтический ковчег — альманах «День поэзии» — отправился в плавание по бурным житейским волнам. Новелла Матвеева берёт с собою в дорогу компас и лот; торопится Лилия Газизова, словно бегущая по волнам; «через реку времен устало / Гонит лодку Харон седой» (автор строк Александр Городницкий); «Там сицилиец жил и скиф, богемец и литвин, / Троянский конь летел сквозь миф, персидский спал павлин. Там вод живых и мёртвых вод не кончен разговор / И освещает смерти ход недвижимый метеор», — вторит ему Наталья Гранцева; «Выйду к озеру случайно, / Где зима со всех сторон...» — путается в пространстве, словно в словах, Елена Исаева, а Инна Кабыш пророчествует: «Прощай, эпоха романтизма — / цветов, свиданий и разлук... / Да будет дом, семья, отчизна. / Да будет Бог! Пора, мой друг...»

Но море гневливо, «на море чёрная буря: / Так и вздулись сердитые волны, / Так и ходят, так воем и воют...»

Как вы думаете, кому ближе пушкинская метафора: Феллини или Рембо?

Если Рембо, то компас явно клонит в сторону «Пьяного корабля»:

*Я знаю рвущееся небо, и глубины,
И смерчи, и бурун, я знаю ночи тьму,
И зори трепетнее стаи голубиной,
И то, что не дано увидеть никому...*

Если Феллини, то всё ещё более загадочно. Существует вариант перевода названия фильма *E la nave va* («И корабль плывёт...»), который предложили французы: *Et vogue le navire*, буквально — «Плыла-качалась лодочка».

Ну а если «лодочка», то всё уже и не так страшно:

*Берёзы подмосковные
Шумели вдалеке.
Плыла-качалась лодочка
По Яузе-реке...*

«Верные друзья», связанные общим делом, устремляются в путешествие по морям, по волнам. Сегодня здесь, а завтра там.

Поэтическая лодочка отправляется в путь из сегодня в завтра:

*Я мечтала о морях и кораллах.
Я поесть хотела суп черепаший.
Я шагнула на корабль, а кораблик
Оказался из газеты вчерашней...*

Ничего страшного. Рукописи не только не горят, но и не тонут. В больничной книге в момент кончины Рембо кто-то сделал такую надпись: «10 ноября 1891 года в возрасте 37 лет скончался негодник Рембо». По иронии судьбы останки Рембо были отправлены на баке уходящего на Восток фрегата с выставленной из гроба и указующей путь в Эфиопию десницей. Говорят, он якобы занимался работоторговлей.

Но ведь мы-то знаем его как поэта, а про рабов ничего не знаем. Поэтому не важно — кто, не важно — как, не важно — на чём, газете вчерашней, старом тазу по морю в грозу, важно, чтобы все добрались, целы и невредимы. И чтобы их голос был услышан. Там, в счастливом завтра. Из не менее счастливого сегодня.

Что за идиотизм? Разве сегодня мы счастливы?

Ну да. Пока стихи случаются, пишутся, выдываются, выдуваются, словно шаманское камлание из нутра, высасываются из пальца, это — чудо и счастье!

И поэтому поэтический корабль плывёт...

Попутного ветра и семь футов ему под килем, лопни моя селезёнка!

Указатель имен

☞ *вместо пролога* ☞

Белла АХМАДУЛИНА 3

☞ *стихи* ☞

Ирина АЛЕКСЕЕВА 7

Николай АЛЕШКИН 8

Анатолий АВРУТИН 9

Александр АНАШКИН 11

Юрий БЕЛИКОВ 12

Сергей БЕЛОРУСЕЦ 14

Любовь БЕРЗИНА 16

Дмитрий БОБЫЛЕВ 17

Алексей БОРЫЧЕВ 18

Юрий БОЧКОВ 20

Владимир БОЯРИНОВ 21

Виктор БРЮХОВЕЦКИЙ 29

Константин ВАНШЕНКИН 31

Лариса ВАСИЛЬЕВА 32

Дмитрий ВЕДЕНЯПИН 34

Владимир ВИШНЕВСКИЙ 36

Владимир ВОЛКОВЕЦ 37

Лилия ГАЗИЗОВА 38

Наталья ГАЛКИНА 39

Галина ГАМПЕР 41

Александр ГОЛУБЕВ 43

Глеб ГОРБОВСКИЙ 44

Сергей ГОРБУНОВ 46

Надежда ГОРЛОВА 47

Александр ГОРОДНИЦКИЙ 48

Наталья ГРАНЦЕВА 50

Геннадий КРАСНИКОВ 101

Валерий ДУДАРЕВ 61

Анастасия ЕРМАКОВА 62

Александр ЗАЙЦЕВ 64

Максим ЗАМШЕВ 65

Геннадий ИВАНОВ 72

Александр ИВУШКИН 73

Егор ИСАЕВ 74

Елена ИСАЕВА 76

Инна КАБЫШ 78

Евгений КАМИНСКИЙ 79

Бахытжан КАНАПЬЯНОВ 81

Валентин КАРАСЁВ 83

Светлана КЕКОВА 84

Виктор КИРЮШИН 86

Александр КЛИМОВ-ЮЖИН 89

Александр М. КОБРИНСКИЙ 90

Кирилл КОВАЛЬДЖИ 91

Кирилл КОЗЛОВ 92

Сергей КОЗЛОВ 93

Леонид КОЛГАНОВ 95

Надежда КОНДАКОВА 96

Владимир КОСТРОВ 99

Марина КУДИМОВА 103

Татьяна КУЗОВЛЕВА 105

Александр КУШНЕР 107

Олег ЛАПШИН 109

Евгений ЛЕСИН 110

Валерий МИХАЙЛОВ 133

Ярослав ЛИТВИНЕНКО 115

Валерий ЛОБАНОВ 116

Игорь ЛОГВИНОВ 117

Борис ЛУКИН 124

Мария МАЛИНОВСКАЯ 125

Новелла МАТВЕЕВА 126

Сергей МАТЫЦИН 128

Дмитрий МИЗГУЛИН 129

Евгений МИНИН 131

Сергей МНАЦАКАНЯН 135

Дмитрий МУРЗИН 137

Валентин НЕРВИН 138

Галина НЕРПИНА 139

Александр НЕСТРУГИН 141

Олеся НИКОЛАЕВА 142

Николай ПЕРЕЯСЛОВ 145

Наталья ПОЛЯКОВА 147

Сергей ПОПОВ 148

Алексей ПУРИН 148

Валентин РЕЗНИК 149

Евгений РЕЙН 151

Наталья РОЖКОВА 154

Андрей РОМАНОВ 155

Дмитрий РУМЯНЦЕВ 157

Геннадий РУСАКОВ 158

Ольга РЫЧКОВА 160

Борис РЯБУХИН 163

Юрий РЯШЕНЦЕВ 165

Владимир СЕМЕНЧИК 167

Владимир СИЛКИН 168

Владимир СКВОРЦОВ 169

Валентин СОРОКИН 173

Наталья СТРУЧКОВА 175

Аршак ТЕР-МАРКАРЬЯН 176

Владимир ФИРСОВ 179

Светлана ХРОМОВА 191

Валерий ШАМШУРИН 192

Андрей ШАЦКОВ 194

Владимир ШЕМШУЧЕНКО 196

Виктор ШИРОКОВ 197

Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ 199

Маргарита ШУВАЛОВА 201

Андрей ЩЕРБАК-ЖУКОВ 202

Иван ЩЁЛОКОВ 203

Евгений ЮШИН 205

☞ *критика и литературоведение* ☞

Станислав КУНЯЕВ 23

Геннадий КРАСНИКОВ 53

Геннадий ИВАНОВ 68

Валерий МИХАЙЛОВ 112

Наталья ГРАНЦЕВА 118

Лев АННИНСКИЙ 182

☞ *почта ДП* ☞

Людмила ЗЛАЧЕВСКАЯ 67

Валентина КОРОСТЕЛЁВА 98

Николай НЫРКОВ 144

Владимир РЕШЕТНИКОВ 153

Ирина РЯБИЙ 162

Владимир СКИФ 170

Виктор СЛИПЕНЧУК 172

Александр ФИГАРЕВ 178

Владимир ХОХЛЕВ 190

☞ *вместо эпилога* ☞

Игорь МИХАЙЛОВ 207

☞ *стихокраски* ☞

Анна ДУДЯКОВА, вклейка,
2–3-я стр. обложки